

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



В. В. Крестовский

# ДЕДЫ



# Всеволод Владимирович Крестовский

## Деды

(Школьная библиотека (Детская литература))

В исторической повести «Деды» широко известного во второй половине XIX века русского писателя Всеволода Владимировича Крестовского (1839–1895) описывается время правления Павла I. Основная идея книги – осветить личность этого императора, изобразить его правление не в мрачных красках, показать, что негативные стороны деятельности Павла были преувеличены как современниками, так и последующими историками. В книге ярко обрисованы образы представителей дворянских сословий – вельмож, офицеров, помещиков.

Последние главы посвящены генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову, Итальянскому и Швейцарскому походам русских войск в 1799 году под его командованием, переходу через Альпы суворовских чудо-богатырей.

Для среднего и старшего школьного возраста.

# Содержание

#1 . . . . .	0006
Всеволод Владимирович Крестовский . . . . .	0007
Деды Историческая повесть из времени императора Павла I . . . . .	0015
#1 . . . . .	0015
I. Концы и начала . . . . .	0015
II. Первые дни императора Павла . . . . .	0037
III. Опальный . . . . .	0062
IV. Сон в руку . . . . .	0077
V. Под приветливой кровлей . . . . .	0089
VI. Усладушка . . . . .	0099
VII. Перемена декорации . . . . .	0136
VIII. По дороге . . . . .	0145
IX. Петербург того времени . . . . .	0163
X. У государя . . . . .	0187
XI. Похороны императорской четы . . . . .	0210
XII. Новая фрейлина . . . . .	0224
XIII. Екатерининская гвардия . . . . .	0235
XIV. Заветный червонец . . . . .	0249
XV. Коронация императора Павла . . . . .	0294
XVI. «Звезда московска небосвода» . . . . .	0319
XVII. В Английском клубе . . . . .	0328
XVIII. Масонская ложа . . . . .	0338
XIX. Общественная жизнь в Петербурге при императоре Павле . . . . .	0362

XX. «Справа повзводно, в Сибирь на поселение!» . . . . .	0377
XXI. «Налево кругом!» . . . . .	0391
XXII. Из-за тупея . . . . .	0404
XXIII. В Италии . . . . .	0422
XXIV. Перед Альпами . . . . .	0452
XXV. Чёртов мост . . . . .	0469
XXVI. В «царстве ужасов» . . . . .	0488
XXVII. Царственный сват . . . . .	0525
XXVIII. Лучи бессмертия и славы . . . . .	0539
XXIX. Смерть великого деда . . . . .	0554

**Всеволод Владимирович  
Крестовский  
Деды**



**В. В. Крестовский**

*1839–1895*

# Всеволод Владимирович Крестовский



**И**сторическая повесть «Деды» принадлежит перу Всеволода Владимировича Крестовского – писателя, автора многих романов и повестей, офицера и военного корреспондента. Его книги во второй половине XIX века бы-

ли очень популярны, постоянно переиздавались, и читатели с нетерпением ожидали новых, поскольку в них затрагивались острые, животрепещущие проблемы того времени. В 1899–1900 годах вышло собрание его сочинений в восьми томах.

К сожалению, в XX веке имя В. В. Крестовского оказалось незаслуженно забытым. Но в 1994 году на телеэкранах России был показан сериал «Петербургские тайны», снятый по роману В. В. Крестовского «Петербургские трущобы». Сериал вызвал огромный интерес зрителя не только к этому произведению (в 1990 году роман был переиздан тиражом в 300 тысяч экземпляров издательством «Художественная литература»), но и к личности и творчеству автора.

В. В. Крестовский родился 11 февраля 1839 года в селе Малая Березайка Тарашанского уезда Киевской губернии в обедневшей дворянской семье. В 1857 году он закончил учебу в Первой петербургской гимназии и поступил на юридический факультет Петербургского университета. Еще гимназистом Крестовский начал писать стихи, подражая Н. А. Некрасо-



ву, а также рассказы, которые публиковались в журналах «Сын Отечества», «Русское слово», «Русский мир», «Время» и других.

Занятия литературным творчеством поглощали слишком много времени студента Крестовского. Он решил посвятить себя литературному творчеству и поэтому ушел с третьего курса университета. Уже в 1862 году увидел свет его поэтический двухтомник, и вскоре многие стихи молодого поэта были положены на музыку.

В. В. Крестовский целиком посвятил себя литературной деятельности. Он стал членом литературного кружка Ф. М. и М. М. Достоевских при редакции журналов «Свечки» и «Время». Крестовский преклонялся перед личностью и творчеством Федора Михайловича Достоевского. Неизгладимое впечатление произвели на него «Записки из Мертвого дома», на страницах которых гениальный писатель страстно обличал царскую каторгу и в то же время выразил горячую любовь к народу России.

Под влиянием этого произведения В. В. Крестовский создает один из популярнейших

романов XIX века – «Петербургские трущобы». Он печатался в журнале «Отечественные записки» в 1864–1866 годах. В этом произведении писатель обнажил социальные проблемы русского общества того времени: бедность, пороки, преступления. Чтобы написать захватывающий внимание читателя роман, увлекающий динамичным авантюрным сюжетом, автор посещал беднейшие кварталы и злачные места Петербурга и до мельчайших подробностей изучил жизнь различных слоев общества, в том числе жизнь обитателей трущоб, что часто было далеко не безопасно для него.

Как и Ф. М. Достоевский, В. В. Крестовский во многих своих романах рассматривает проблему «преступления и наказания», идею «Высшего суда» в душе человека, совершившего преступление. Писатель задается вопросом: почему в Петербурге, большом богатом промышленном городе, существуют люди «отверженные»? И не дает ответа на этот вопрос. Но цель автора ясна – заставить читателя задуматься о жизни бедняков в жестоком и беспощадном обществе. В. В. Крестовский

призывал проявить сочувствие и «милость к падшим», понять, почему от отчаяния эти невольные жертвы социальных условий иногда идут на преступления. В романе «Петербургские трущобы» тонко показаны психология и мироощущение героев, нравственное и безнравственное поведение персонажей. Об успехе романа свидетельствует тот факт, что переиздавался он в конце XIX века пять раз!

Работоспособность В. В. Крестовского была поразительной. За свою жизнь он написал много романов, повестей, рассказов, очерков и критических статей. Из-под его пера вышли произведения, отражавшие разнообразнейшие сюжеты. Назовем лишь некоторые романы: «Кровавый пух», состоящий из двух частей – «Панургово стадо» (1870) и «Две силы» (1875), «Вне закона» (1873), «Тьма Египетская» (1888), «Тамара Бендавид» (1890), «Торжество Ваала» (1891).

В 1875 году В. В. Крестовский написал повесть «Деды» о времени правления Павла I. Писатель изучал в архивах исторические источники и создал художественные образы, не отступая при этом от исторического контекста.

ста. Он нарисовал свой, далекий от очернительства, нетрадиционный образ императора. С большой авторской симпатией выписан образ полководца, генералиссимуса А. В. Суворова, не проигравшего ни одного сражения. Писатель создал светлые образы патриотов-воинов, честно и самоотверженно служащих Отечеству. И в противовес им – картины бессмысленной, уродливой и бесцельной жизни, маскарадов и чудачеств русских помещиков, которые тратили на это деньги, нещадно эксплуатируя крепостных крестьян.

В 1867 году В. В. Крестовский поступил юнкером в Ямбургский уланский полк. Возможно, это было связано с семейной традицией, ведь уланами были его дед и отец. Вскоре он получил офицерский чин поручика, но продолжал литературную деятельность. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, находясь в действующей армии, он посылал с театра военных действий корреспонденции в «Правительственный вестник».

Свою военную службу писатель отразил в книгах: «Из походных очерков» (1874), «Двадцать месяцев в действующей армии» (1879),

„Очерки кавалерийской жизни“ (1892). В них В. В. Крестовский затронул многие проблемы российской армии. Он был озабочен положением армейских офицеров – и в нравственном, и в материальном отношении – и невниманием правительства к ним, поднимал важные вопросы боеспособности армии.

В 1880–1892 годах В. В. Крестовский служил в различных военных должностях: при начальнике Тихоокеанской эскадры, при туркестанском генерал-губернаторе, при департаменте таможенных сборов. В 1892 году он был назначен главным редактором правительственного издания „Варшавский дневник“ и работал в Варшаве вплоть до своей смерти 18 января 1895 года.

Похоронен писатель в Санкт-Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры, а потом перезахоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

В настоящее время интерес читателей к творчеству В. В. Крестовского неуклонно растет, о чем свидетельствуют большие тиражи его произведений, выходящих во многих издательствах нашей страны.

*Н. С. Иванова*

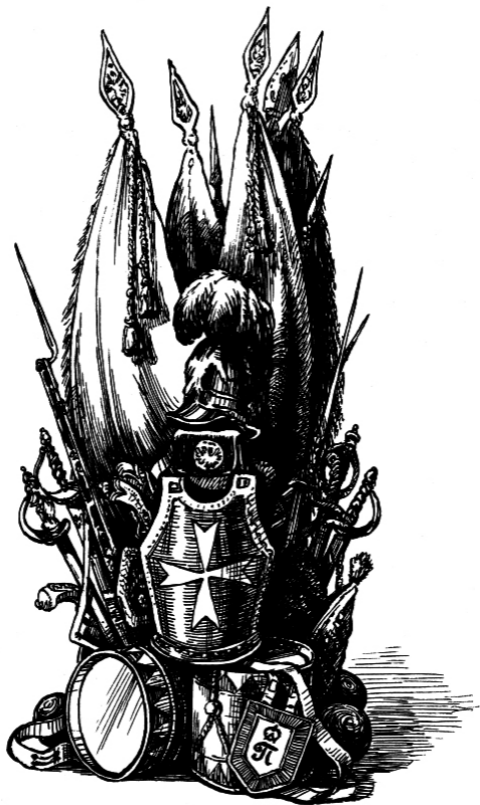
# Деды

## *Историческая повесть из времени императора Павла I*

### I. Концы и начала



На обширной площади перед Зимним дворцом была какая-то странная, необычная тишина. Народ отдельными кучками стоял по разным местам этой площади и с напряженным вниманием глядел на несколько слабо освещенных окон, которые как-то грустно





и таинственно выделялись своим тусклым светом на темном фоне высокой каменной громады дворца, погруженной во мгlistый мрак ноябрьского вечера. Эти кучки народа оставались в глубоком безмолвии; изредка разве обратится сосед к соседу с каким-нибудь замечанием, вопросом или сообщением, но и то так тихо, вполголоса, почти шепотом... Тягостная неизвестность и томительная тоска какого-то грустного ожидания отпечатывались на лицах. А между тем, несмотря на эти неподвижно стоявшие кучки, площадь полна была тревожным движением. И от дворца, и ко дворцу почти непрерывно то отъезжали, то подкатывали всевозможные экипажи: курьерские возки, городские санки, тяжелые барские кареты четверней и шестеркой цугом, но мальчишки-форейторы[1], которые в то время имели обыкновение кричать свое «падí!» с громким и продолжительным визгом, стараясь выказать этим свое молодечество, на сей раз не подавали ни малейшего звука. Одно только глухое громыханье колес или время от времени топот копыт коня какого-нибудь вестового гусара в высокой

и мохнатой медвежьей шапке, проносившегося куда-то и зачем-то во всю конскую прыть, нарушали это странное и строгое безмолвие.

– Еще вчера, рассказывают, изволили быть в совершенно добром здравии, – шепотом передавал в одной из кучек народа какой-то мелкий сенаторский чиновник двум-трем из ближайших соседей.

– Где уж здорова!.. – с грустным вздохом махнул рукой старый инвалид в гарнизонном кафтане. – Мне хороший знакомец мой один – он кафишенком[2] у князь Платон Александрыча[3] – так он рассказывал, что еще третевадни[4] целый день на колики жаловались.

– И однако ж вчера была здорова! – настаивал сенатский чиновник. – И мне даже через одного человека из самого дворца доподлинно ведомо, что даже обычное свое общество принимали в будуваре[5] очень много разговаривали о кончине сардинского короля и все шутить изволили над Нарышкиным, над Лев Александрычем, все, значит, смертью его стращали, а ныне вот...

– Никто, как Бог... Его Святая воля... Авось-

либо все еще, даст Бог, благополучно кончится! – утешали себя некоторые.

– Ах, дай-то Господи! Сохрани ее, матушку, Владычица Небесная! – крестясь, вздыхали другие.

В то самое время в опустелой Софии[6], дремавшей среди уныло обнаженных садов, миновав Царское Село, скакал верховой ординарец. Взмыленный конь его уже хрипел и выбивался из последних сил, а молодой человек меж тем все больше и больше пришпоривал и нетерпеливо побуждал его ударами шенкелей[7], но конь начинал уже спотыкаться и, видимо, терял последние силы.

– Лошадь под верх![8] Бога ради, живее! – торопливо и взволнованно закричал ординарец, приплетясь кое-как на конюший двор.

Но его не слушали. На крыльце перед конюшнями стоял кто-то закутанный в дорожную шубу, в собольей шапке и с дорогой собольей муфтой в руках.

– Лошадей!.. Лошадей, каналья, скорее! – шумел и жестикулировал мужчина. – Лошадей, говорю, или я тебя самого запрягу под

императора!

– Ах... Ах, ваше сиятельство! – манерно и с ужимками, полу-учтиво и полу-грубо отвечал ему на это хрипло-пьяноватым голосом какой-то старикашка, одетый в гражданский мундир заседателя. – Запречь меня не диковинка, но какая польза? Вить... вить я не повезу, хошь до смерти извольте убить.

– Под императора, говорят тебе! – топал меж тем тот, кого заседатель называл сиятельством.

– Да что такое император? – все также манерно разводя руками, возражал ему пьяненький старикашка. – О чем говоришь-то, не понимаю... Какой император?... Если есть император в России, то дай Бог ему здравствовать, а буде матери нашей не стало, то... то ей виват! Виват!.. Н-да! вот те и заседатель!

Молодой ординарец, заглянув при свете луны в лицо закутанного мужчины, почти-тительно отдал ему воинскую честь и торопливо прошел мимо, направляясь в конюшню и таща за собой на поводу измученную лошадь. В этом мужчине он узнал графа Николая Зубова.

Не дожидаясь заседателя, ординарец сам выбрал под себя свежую лошадь, спешно переседлал ее под свое седло и как вихрь помчался по гатчинской дороге.

Вскоре навстречу ему одиноко проскакал кто-то закутанный в плащ и на лету успел только крикнуть одно слово: «Едет!», вслед за которым оба всадника уже далеко разминулись друг с другом.

Через несколько минут сквозь ночную мглу показались впереди на дороге точно бы два огненных глаза, которые, все увеличиваясь и приближаясь, превратились наконец в два фонаря дорожной кареты, мутно светившие сквозь густой пар, что валил облаками от восьмерки запряженных добрых коней. Молодой человек придержал свою лошадь.

– Кто там? – раздался из открытого окна мужской голос. – Гонец?... С известием?... Что нового?...

– Ее величеству слава богу лучше! – громким и отчетливым голосом доложил ординарец, поворотив свою лошадь и направляясь обратно по дороге, вровень с окном кареты. – Когда сняли шпанские мушки[9], – продол-

жал он, – государыня открыла глаза и попросила пить... Я от графа Салтыкова доложить, что есть надежда.

– Фу!.. Слава богу! – с глубоким, полным и облегченным вздохом послышалось из глубины кареты.

За экипажем скакали верхом и ехали в санях уже человек пять курьеров, посланных ранее с известиями более или менее тревожного свойства. Молодой ординарец, привезший первую весть надежды, присоединился к этому кортежу и тоже поскакал за каретой.

В Софии на перемену уже была готова новая подстава: Николаю Зубову какими-то судьбами удалось наконец уломать неговорчивого заседателя. Когда экипаж остановился пред крыльцом, конюхи живо стали перепрягать лошадей. На площадке в это время стоял еще кто-то, новоприезжий из Петербурга, и разговаривал с Зубовым.

– Ah, c'est vous, mon cher Rostoptchin! – послышалось из каретного окна. – Faites-moi le plaisir de me suivre; nous arriverons ensemble. J'aime vous voir avec moi[10].

Зубов молча, задумчивыми глазами прово-

дил отошедшего Ростопчина. Быть может, в эту минуту он почувствовал в его лице восхождение нового светила в среде царедворцев...

По дороге в Петербург время от времени попадались навстречу все новые гонцы и курьеры, которых уже ворочали назад, и таким образом набралось их человек двадцать, что составило длинную свиту саней и вершников [11], мчавшихся за каретой.

Проехав Чесменский дворец, наследник приказал на минуту остановиться и вышел из экипажа. Чтобы хоть несколько развлечь тяжелые думы высокого путника, Ростопчин, после некоторого молчания, привлек его внимание на красоту ночи, которая действительно была необыкновенно тиха и светла и слегка морозна: холод не превышал трех градусов. Красивые тучки быстро и высоко неслись по темно-синему небу, и луна то выплывала из-за облаков, то опять закутывалась в дымку. Вокруг царствовала глубокая тишина. Наследник молча устремил свой взгляд на луну, и при полном ее сиянии Ростопчин заметил, что глаза его полны были слез, которые тихо

катились по лицу.

Поговорив с Ростопчиным и крепко пожав ему руку, наследник уже садился было в карету, как вдруг обернулся и спросил, кто привез известие, что государыне лучше.

– Я, ваше высочество, – ответил ему молодой ординарец, подавшись вперед из-за кареты.

– Сержант лейб-гвардии Конного полка?

– Так точно, ваше высочество.

– Фамилия?

– Дворянин Василий Черепов.

Наследник кивнул, вслед за тем дверца захлопнулась, и весь кортеж помчался далее.

Зимний дворец был переполнен людьми всякого звания. При тусклом свете немногих ламп, кое-как зажженных наскоро, в обширных залах и коридорах толпились сенаторы, генералы, синодальное[12] и иное духовенство, дворяне, городские обыватели, придворные и сановники и служители, дамы и фрейлины, гвардейские офицеры и солдаты. Одни поспешали сюда по обязанности своего звания, другие из любопытства или страха за жизнь императрицы, и все с затаенным тре-



петом ожидали приближающейся роковой минуты. Смутный гул сдержанного шепота пробегал из залы в залу; на каждом шагу повторялись вопросы и сообщения то о часе апоплексического удара[13], то о действии лекарств, о мнении медиков... Всякий рассказывал разное, но общее чувство и общая мысль выражались в желании хотя бы слабой надежды на выздоровление государыни. Граф Безбородко в качестве статс-секретаря[14] находился в ее кабинете. Прибыв, по обыкновению, во дворец с докладом, он с самого раннего утра присутствовал здесь безотлучно и был в отчаянии: неизвестность будущей своей судьбы, страх, что новый государь на него еще в гневе за прежние столкновения, и живое воспоминание о стольких благодеяниях умирающей императрицы заставляли его часто рыдать, как ребенка, и наполняли сердце его горестью и ужасом. Он желал теперь только единственной милости – быть оставленным без посрамления.

Отчаяние же князя Зубова было беспредельно. Не только искусившиеся опытом царедворцы, но каждый и даже первый попав-

шийся с улицы человек мог бы легко и свободно прочесть теперь на его физиономии полную и окончательную уверенность в своем падении и наступающем ничтожестве, и эта уверенность, вопреки самолюбию и помимо искусства самообладания, слишком ясно выказывалась не только в выражении лица, но даже в каждом движении этого человека. Проходя через комнату императрицы, он по несколько раз останавливался пред умирающей и выходил, рыдая. Толпа придворных сторонилась, отшатывалась и удалялась от него, как от зачумленного, так что князь убежал наконец в дежурную комнату и упал в кресло. Томимый жаждою и жаром, несчастный не мог выпросить себе даже стакана воды, в чем теперь отказывали ему те, которые сутки лишь назад на одной его улыбке строили все счастье и благосостояние своей жизни, и та самая комната, где еще вчера люди чуть не давили друг друга, чтобы стать к нему поближе, обратилась теперь для него в глухую пустыню.

Наконец приехал великий князь-наследник и, зайдя на минуту в свою комнату в Зим-

нем дворце, пошел на половину императрицы. Весть о его прибытии в то же мгновение успела облететь всех собравшихся в залах, и прием, оказанный ему, был уже приемом как бы государю, а не наследнику. Великие Александр и Константин вышли к нему навстречу, уже одетые в мундиры тех батальонов, которыми командовали они в гатчинском «модельном войске»[15]. Проходя через комнаты, наполненные людьми, ожидавшими восшествия его на престол, великий князь очень милостиво, с ласковым и столь свойственным ему рыцарски-учтивым видом отвечал на бесчисленные глубокие и часто подобострастные поклоны.

Умиравшая лежала на полу, на сафьяновом матраце, в том самом положении, в каком успели поместить ее в первые минуты утром камердинеры[16]ее, Тюльпан и Захар Зотов, не будучи в состоянии поднять на кровать бесчувственное тело по причине его значительной тяжести. Теперь уже, при последнем издыхании, не к чему было тревожить его переключиванием. Государыня лежала навзничь, неподвижно, с закрытыми глаза-



ми. Сильное хрипение в горле среди всеобщей тишины слышно было даже в смежной комнате. Вся кровь била ей в голову, и цвет лица становился иногда багровым, иногда, когда кровь отливала, принимал вдруг самый живой и свежий румянец. Это последнее явление обыкновенно пробуждало на минуту в присутствующих некоторую надежду, кото-

рая – увы! – через несколько мгновений угасала снова... Около умирающей находились попеременно придворные лекаря и, стоя на коленях, внимательно следили за дыханием и малейшими колебаниями пульса. В опочивальне кроме медиков и ближайшей прислуги присутствовали члены императорской фамилии и камер-фрейлина Протасова[17], ни на минуту не отлучавшаяся от государыни с самого утра. Глаза ее, помутившиеся глубоким горем, не отрывались от полумертвого тела ее благодетельницы. Агония продолжалась уже более суток. Доктора объявили наконец, что всякая надежда кончена. Тогда по приказанию великого князя-наследника преосвященный Гавриил с духовенством прочел над умирающею глухую исповедь[18] и причастил ее Святых Тайн. Затем Павел Петрович удалился в боковой кабинет, куда призывал для деловых разговоров некоторых лиц или тех, кому имел сообщить какое-либо приказание. Так, между прочим, поручил он Ростопчину передать графу Безбородке, что, «не имея никакого особенного против него неудовольствия, он просит его забыть все прошед-

шее и считает на его усердие, зная дарования его и способности к делам»; потом призвал самого графа и лично поручил ему заготовить указ о восшествии на престол всероссийский; в течение дня раз пять или шесть призывал к себе также и князя Зубова, разговаривал с ним очень милостиво и, умеряя его отчаяние, уверял в своем благорасположении.

В течение этого времени во дворец прибывали все новые и новые сановные лица, чиновники, военные и люди всякого состояния. Горестная весть уже успела разнестись по столице, и к вечеру громадные толпы народа, осыпаемые густыми хлопьями мокрого снега, в прежнем безмолвии стояли на Дворцовой площади. Войска же петербургского гарнизона все были собраны в своих казармах в ожидании присяги новому императору.

В девять часов вечера лейб-медик государыни – англичанин Роджерсон, войдя в кабинет, где находился наследник с супругою, объявил, что императрица кончается.

Тотчас приказано было войти в опочивальню умирающей всем великим князьям, княгиням и княжнам, с которыми вошла и



воспитательница их, статс-дама Ливен, а за нею князь Зубов, граф Остерман, Безбородко и Самойлов. По правую сторону от ложа императрицы стал наследник с супругою и семейством, по левую – доктора, лекаря и вся ближайшая прислуга Екатерины, а в головах – призванные в комнату Ростопчин и Плещеев. Дыхание императрицы сделалось очень трудно и редко; кровь, как и прежде, все еще бросалась в голову, искажая черты лица, то отливала в грудную полость, возвращая физиономии естественный ее вид. Полное и благоговейное молчание всех присутствующих, затаенный и сдержанный трепет последнего страшного ожидания, немые взгляды, устремленные на лицо умирающей, отдаление на эту минуту от всего земного, от всех посторонних и суетных помыслов, глубочайшая тишина и слабый свет, мерцающий в комнате, – все это обнимало ужасом душу каждого, все возвещало близкое веяние смерти... Тихо и мелодично, переливаясь тонкими металлическими звуками, пробили старинные часы первую четверть одиннадцатого. Великая женщина вздохнула в последний



раз, и... дух рабы Божией Екатерины предстал перед суд Всевышнего.

С последним вздохом, казалось, вдруг наступил для нее тихий и сладкий сон. Всегдашняя ее приятность и величие постепенно и так заметно разлились опять по чертам спокойного лица и воочию всех явили еще раз ту царицу, которая славою своего царствования наполняла всю вселенную. Сын ее и наследник преклонился пред бездыханным телом и вышел, заливаясь слезами, в другую комнату. В то же мгновение опочивальня огласилась воплем женщин, служивших Екатерине.

Но слезы и рыдания не простирались далее той залы, где лежало тело государыни. Прочие покои дворца были наполнены знатью и чиновниками – по преимуществу теми людьми, которые во всех переменах и обстоятельствах, счастливых и несчастных, прежде всего видят только самих себя и заняты исключительно сами собою, а эта печально-торжественная минута для многих и многих из них казалась страшным судом и грозила расплатой за прошлое...

Граф Салтыков вышел в дежурную комна-

ту с официально печальным и важным видом и объявил во всеуслышание:

– Милостивые государи! Императрица Екатерина скончалась, государь Павел Петрович изволил взойти на всероссийский престол.

Едва были произнесены эти слова, как множество царедворцев бросилось обнимать Самойлова, Ростопчина, Плещеева, камер-пажа Нелидова и прочих, в ком только усматривали или могли предполагать они будущих приближенных, поздравляя их, а за ними всех присутствующих с новым императором.

Граф Алексей Григорьевич Орлов, измученный нравственно и изнеможенный физически, проведя в слезах и терзаниях, без сна и пищи почти двое суток, не в силах был уже дожидаться кончины императрицы и уехал к себе на квартиру. Едва прилег он отдохнуть, как прибежали сказать ему, что государыня скончалась, а вслед за тем явился посланный с повелением от государя, чтобы Орлов немедленно прибыл во дворец для учинения присяги. Старик, отговариваясь крайним утомлением, поручил передать императору, что, как скоро рассветет, он не преминет

явиться и исполнить долг своего верноподданства. Государю такой ответ показался неуютен, и он послал к графу вторично, чтобы тот, невзирая ни на что, явился немедленно к присяге. Надо было повиноваться.

– Полагаю, ваше сиятельство, что и вам надлежало бы учинить присягу? – встретил его император, как только гордый вельможа вошел к нему в комнату.

– Конечно, так, государь! – с глубоким и почтительным поклоном отвечал Орлов. – И я, поверьте, готов учинить то с охотнейшим моим сердцем.

Государь вымерял его взглядом и, казалось, внутренне остался доволен ответом.

В это время обер-церемониймейстер Валуев, известный как самый ревностный блюститель порядка всех придворных торжеств и церемоний, явился с докладом, что в дворцовом храме все уже готово к присяге.

В церкви, залитой огнями сверкающих паникадил[19] и канделябров[20], Павел Петрович впервые встал на императорское место, и преосвященный Гавриил, выйдя на амвон[21], начал внятно и явственно читать форму

присяги, которую вслед за ним громко повторяла густая толпа присутствующих, подняв крестообразно сложенные правые руки.

Императрица Мария Федоровна, по окончании присяжного обряда подойдя к государю, хотела было преклонить перед ним колена, но он удержал и с чувством обнял ее, а вслед за ней и всех детей своих. За сим каждый из присутствовавших целовал крест и Евангелие и, подписав на присяжном листе свое имя, почтительно подходил к руке императора и императрицы. Когда же окончилась и эта долгая и утомительная церемония, Павел пошел прямо в опочивальню покойной государыни, тело которой к этому времени было уже в белом платье положено на кровать, и в головах его на аналое[22] дьякон читал Евангелие.

Это было в ночь с 6 на 7 ноября 1796 года [23].

## II. Первые дни императора Павла

Едва окончился обряд торжественной при-  
сяги, как к Зимнему дворцу подлетела  
взмыленная курьерская тройка. В санях, дро-  
жа и ежась от холода, сидел какой-то неиз-  
вестный петербургской публике человек, без  
шубы и даже без плаща, в одном только пол-  
ковничьем мундире гатчинской формы. Он  
был очень сухощав, сутуловат и жилист и  
как-то судорожно все морщил свой подборо-  
док. Большая, несуразной формы голова, по-  
стоянно наклоненная набок, желчно-смуглый  
цвет лица и большие мясистые уши прежде  
всего кидались в глаза всем и каждому при  
первом взгляде на этого человека. При покой-  
ной императрице офицеры гатчинского отря-  
да никогда не допускались в Зимний дворец,  
и потому, не зная расположения комнат, но-  
воприбывший гатчинец просто заблудился в  
неведомом ему лабиринте зал и коридоров...  
Он долго не мог отыскать императора и тщет-  
но пытал про него у встречных придворных и  
камер-лакеев.

– Кто это? Что за человек такой? Откуда

взялся таков? – неслись вослед ему и справа и слева бесчисленные вопросы, которыми перекидывались между собой лица екатерининского двора, невольно останавливая внимание на странном костюме и несуразной фигуре незнакомца, а в особенности на его впалых серых глазах, в которых светилась какая-то странная смесь ума и злости вместе с неуклонной энергией и железной волей.

Но на все эти летучие вопросы никто не мог дать определенного ответа, и за проходившим гатчинцем всецело оставалось у всех одно только беспричинно неприятное впечатление, которое делала его во всяком случае замечательная наружность.

– Где же государь, наконец? – остановясь близ дверей одной залы и с некоторым раздражением пожав плечами, спросил незнакомец повышенным голосом, причем обвел толпу недоумело-вопросительным взглядом. Он говорил в нос, немножко гнуся и не то что не договаривая, а как бы глотая окончания слов и фразы. – Я вызван сюда именным моего государя повелением, по эстафете, – продолжал он, видимо сдерживая внутри себя раздраже-

ние, – и вот уже полчаса как тщетно ищу его величество, и никому не угодно указать мне, где государь изволит находиться.

На этот возглас откликнулся один из гатчинских камердинеров государя, случайно находившийся в зале, и почтительно провел незнакомца в кабинет императора.

– Кто таков? – посыпались на него вопросы, едва лишь он затворил дверь за неизвестным гатчинцем.

– Господин полковник Аракчеев, – было ответом ближайшей кучке любопытных.

– Аракчеев?... Что такое – Аракчеев?... Арак... Dieu, quel nom atroce![24] Что за птица? Откудова? – жужжа по зале, полетели из уст в уста недоумевающие вопросы и иронические улыбки.

Через четверть часа всеобщее недоумение разъяснилось. Аракчеев вышел из царского кабинета об руку с цесаревичем Александром и в сопровождении великого князя Константина, а через минуту в кучках екатерининских придворных уже передавали самую свежую новость, что наследник престола назначен петербургским военным генерал-губерна-

тором и вместе с тем полковником лейб-гвардии Семеновского полка, великий же князь Константин – полковником в Измайловский полк, а Аракчеев сделан петербургским комендантом с производством в генерал-майоры. При этом передавали, что государь принял его с необычайною милостью, поставил рядом с наследником, соединил их руки и сказал: «Будьте друзьями и помогайте мне».

Этого рассказа было достаточно, чтобы не только самые юркие, но даже и наименее смысленные люди поспешили тут же представиться новому коменданту и с любезными, искательными улыбками почтительно поручали себя его благосклонному вниманию. Аракчеев все эти изъявления принимал сдержанно, сухо и холодно. Видно было сразу, что он понимает в корень истинный, сокровенный смысл и значение придворных ласк и приветствий.

Начинало светать. Великие князья, в новых своих гатчинских мундирах, с голубыми Андреевскими лентами[25] через плечо, сели на коней и без всякой свиты поехали каждый к своему полку приводить людей к присяге.



На улицах было много движения экипажей и пешеходов. Лавки начинали отпираться, несмотря на то что урочная пора для этого далеко еще не наступала.

Сероватая мгла рассвета пропитана была сыростью быстро начавшейся оттепели. Моросил частый дождик, и среди глубокого снега успели образоваться лужи. Серые контуры домов, скрадываясь и сливаясь в этой туманной мгле, глядели угрюмо, скучно и холодно. Не только в лицах людей, но, казалось, как будто даже в самом воздухе разлито что-то тоскливое, тревожное, недоумевающее... По улицам, шлепая по слякоти, в разных направлениях понуро шли гренадерские взводы гвардейских полков, относя к своим частям знамена, взятые из дворца для присяги. На съезжих полковых дворах отсырелые и подмокшие барабаны жидким звуком дребезжали «сбор», и на этот призывный бой с разных сторон, с ружьями наперевес, в одиночку выбегали из казарм солдаты и спешно пристраивались на плац-парадном месте к своим ротам. На каждой такой площадке пред наскоро вынесенным аналоем стоял с крестом и Еван-

гелием полковой священник в полном облачении.

По прибытии великих князей к своим частям полки Семеновский и Измайловский приняли присягу. Преображенский полк был приведен к присяге своим заслуженным и почтенным подполковником Татищевым[26], которого государь в этот день тоже почтил особою милостию. Когда Татищев, подав ему строевой рапорт, отступил, по тогдашнему правилу, на несколько шагов, император сам подошел к нему, приветливо взял старика за руки и, подводя к себе, сказал, что «таким почтенным и заслуженным мужам надлежит быть ближе к государю», а в уважение к его старости разрешил ему сидеть в своем присутствии, даже и в том случае, если бы сам он разговаривал с ним стоя.

Присяга гвардии представляла грустное и трогательное зрелище: развернутые знамена полоскались по ветру пред сотенными рядами поднятых рук; лица людей были бледны и смутны; офицеры и солдаты стояли тихо и понуро, погруженные в глубокую горесть; большая часть из них молча глотали слезы, иные

же плакали навзрыд; инде[27] раздавались громкие вздохи и вопли: «Пропали мы, пропала Россия! Матери не стало... Всем мать была!.. всем одна!» Начальствующие лица не унимали этих проявлений скорби: они и сами думали и чувствовали почти то же. И эта скорбь, надо заметить, в таких же точно проявлениях выказывается в русском войске при смерти каждого любимого монарха.

На 8-е число ноября назначен был первый вахт-парад[28] на дворцовой площадке. В церемонии развода должны были парадировать части из Измайловского и лейб-гвардии Конного полков. Великий князь Константин, желая сделать государю приятный сюрприз, очень заботился, чтобы на этом вахт-параде, еще первом и потому совершенно новом в Петербурге, некоторые командные слова произносились по гатчинскому образцу и чтобы все офицеры были на параде в длинных перчатках с раструбами и имели в руках форменные гатчинские трости. Несколько ездových великого князя вместе с полковым адъютантом[29], еще до свету обрыскали весь гостинный двор, всех столичных перчаточников и

токарей, и, к радости молодого полковника, когда в 8 часов утра он приехал на полковой двор, все эти вещи были уже налицо и в совершенной исправности. Полк еще с трех часов ночи учился на плацу гатчинскому артикулу. Великий князь прорепетировал церемонию вахт-парада, проверил офицеров и солдат и остался доволен. Действительно, Измайловскому полку, на удивление самому себе, удалось в несколько часов довольно отчетливо изучить важнейшие правила нового устава, над готовой рукописью которого в это самое время деятельно работали в сенатской типографии несколько наиболее искусных наборщиков[30].

Конногвардейцы тоже были в большой тревоге.

Два эскадронных парикмахера всю ночь трудились над солдатскими головами, приводя их в новый форменный порядок, – мазали салом их волосы, завивали букли, заплетали толстые косички и в изобилии обсыпали всю эту куафюру[31] вместо пудры пшеничного мукою. Люди с трудом натягивали друг на друга мокрые лосины, и ни один человек не

смел присесть, облокотившись к стене, чтобы не смять своей прически. Полковой командир, майор Васильчиков, самым тщательнейшим образом, во всех мелочах и подробностях, осматривал каждого человека из отборного взвода, назначенного во внутренний дворцовый караул, и неоднократно прорывалось у него душевное беспокойство и опасение; он знал, что новый император не совсем-то доволен духом, господствовавшим в среде этого аристократического полка. Но, главное, смущало его то, что в полку никто еще не имел ни малейшего понятия о новом уставе. И вдруг заметил он, что в конце казарменного коридора собралась вокруг кого-то кучка конногвардейцев, из которой по временам раздавались взрывы сдержанной веселости.

– Что там за смехи? Узнай, пожалуй, мне! – досадливо приказал он своему адъютанту.

– Сержант Черепов показывает прусскую выправку и экзерцицию[32], – доложил тот, возвратившись от веселой кучки.

– Ба-а! Так он знает, не шутя? – с живостью подхватил начальник. – Послать ко мне его

сейчас же!

– Черепов!.. Сержанта Черепова к командиру! – словно эхо из уст в уста пошел призывный клич по длинному коридору.

– Ну, брат Вася, достукался! Будет ужо пудрамантель[33]! – шепотом пророчили вослед ему товарищи.

Но «брат Вася», нимало не смущаясь, шел к командиру своим обычным смелым и уверенным шагом.

– Ты что там за экзерцицию показуешь? – серьезно спросил его Васильчиков.

– С прусской модели, – бойко ответил Черепов.

– И ты не врешь, братец?

– Я, ваше превосходительство, дворянин, – возразил сержант, гордо вскинув слегка свою красивую голову, – и, как дворянину, врать мне недостойно.

– Гм... Молодец, коли так! Да откуда же тебе эта выправка ведома?

Черепов объяснил, что еще в прошлом году, будучи уволен в шестимесячный домашний отпуск, он отпросился в некоторый малый вояж[34] за границу и, прожив два месяца

ца в Берлине, сошелся с прусскими солдатами, многократно видел тамошние вахт-парады и с наглядки нарочито и весьма изрядно ознакомился с прусскою выправкой и экзерцицией, так что с тех пор нередко утешает своих камрадов[35], передразнивая и корча, по их просьбе, немецких солдат и офицеров.

– А ну-ка, покажи: как это? – предложил ему Васильчиков.

Черепов с самым серьезным видом воспроизвел перед своим командиром всю воспринятую им премудрость.

– Скажи, пожалуй! – воскликнул тот, хлопнув себя по коленям. – Да ты, брат, и впрямь как настоящий гатчинец!.. Видал и я их тоже... Ей-ей, прекрасно, бесподобно! Полюбуйтесь, господа офицеры!

Но господа офицеры уже и без того любовались на ловкого и молодежавшего детину.

– Господин адъютант! Назначить сего сержанта ныне в развод на ординарцы к его величеству! – распорядился повеселевший Васильчиков. – А тебя, братец, прошу в грязь лицом не ударить! – прибавил он, обратясь к Черепову.

– Рад стараться! – бойко выкрикнул «брат Вася» и, совершенно по темпам прусского образца, повернувшись налево кругом, отошел от своего командира.

Ростепель и мокреть продолжались уже полторы сутки. Рыхлый снег валил в неимоверном количестве и предательски застилал свою белопуховую скатертью изобильные лужи отдаленных и немощеных петербургских улиц. Конная гвардия квартировала тогда за Таврическим дворцом, под Смольным. В девятом часу утра части, назначенные в развод, выступили из казарм. Мимо «Тавриды»[36] тянулась к Зимнему дворцу сначала конная команда, а за нею весь наличный состав конногвардейских офицеров и, наконец, отборный пеший взвод внутреннего караула. Люди были в лучших своих мундирах, синих с золотом, в лучших шляпах с дорогим плюмажем[37], без плащей, в полной амуниции и увязали в глубоком снегу пустынной улицы.

В половине десятого измайловцы и конногвардейцы заступили назначенные им места на дворцовой площадке. Здесь уже стояла толпа офицеров от разных частей войск, но



народу вообще было очень мало; быть может, потому, что об этом новом явлении петербургской жизни никакой официальный агент власти и администрации не извещал публику заблаговременно. Около этого времени к толпе офицеров стали все более и более присоединяться лица штаб-офицерских и генеральских рангов, подъезжая к площадке в своих возках и каретах. И ни на ком ни единого плаща, а уж о шубах или муфтах и помину не было! Все это гвардейское офицерство присутствовало в одних тоненьких мундирах и с непривычки тряслось от холода под косым дождем, на ветру, который стремительными и буйными порывами налетал со взморья.

Здесь, в этой толпе, передавалось множество новых слухов и фактов, но нельзя сказать, чтобы все эти новости нравились или производили приятное впечатление на массу гвардейцев, давно уже привыкших к совершенно иным порядкам беззаботной службы и сибаритской[38] жизни. Сообщали за верное, что отныне в силу высочайшего приказа уже ни один офицер не смел являться никуда иначе как в форменном мундире, тогда как до се-

го времени гвардейские щеголи «за редкость мундир надевали», а больше всё фланировали[39] в муфтах, в шубах да в роскошно расшитых французских фраках из бархатных и драгоценных шелковых материй, заботясь единственно лишь о своем изяществе и помышляя только о трактирах, банкетах, театрах, балах, маскарадах да о том, чтобы посещать «приятные общества»; о службе же действительной и «всякое понятие давно позабыли».

Сообщали также, что офицерам запрещено ездить в крытых экипажах, тогда как при покойной государыне гвардейский офицер за стыд почитал себе не иметь собственной кареты с шестеркой и даже с осьмеркой рысаков и с зашитым в золото либо в серебро гусаром, а не то с егерем[40] на запятках; теперь же только офицерские жены могли выезжать в закрытых экипажах, да и то не шестерней, а парой, или много-много если четвернею, цугом[41]; мужья же их обязаны были ездить верхом либо в простых санках или дрожках, «но отнюдь не с пышностию и великолепием».

При Екатерине II действительно роскошь в общественной и частной жизни достигла блистательнейших, но вместе в тем и печальнейших размеров. Не только знатные и богатые, но даже люди самого посредственного состояния тянулись изо всех сил, чтобы не отстать от вельмож и магнатов[42], поражавших всю Европу своими негами и роскошами. Все хотели кушать не иначе как на чистом серебре и разорялись на драгоценные сервизы. Император Павел в разговорах о сей материи высказал напрямик, что он охотно согласен сам до тех пор есть на олове, пока не восстановит нашим деньгам надлежащий курс и не доведет государственные финансы до того, «чтобы рубли российские ходили действительно рублями».

– Изречение божественное и достойно великого государя! – восклицали при этом некоторые, тогда как большинство, недовольное новыми порядками и стеснениями, только улыбалось и сомнительно покачивало головою.

Между тем, пока гвардейская молодежь, поживаясь от холода, вместе со стариками

судачила и обносила в своих кружках новые узаконения, великий князь Константин пред своим Измайловским фронтом, по-видимому, совершенно стоически и равнодушно переносил докучную петербургскую непогоду. Около трех четвертей одиннадцатого часа он приказал адъютанту Комаровскому взять подпрапорщика[43], идти во дворец и, остановясь перед кабинетом государя, велел камердинеру доложить его величеству, что развод Измайловского полка готов и что адъютант пришел за знаменем. Комаровский отправился, но через несколько минут вышел на площадку хотя и с подпрапорщиком, но без знамени и смущенно передал удивленному и озабоченному Константину, что когда камердинер отворил дверь кабинета и подал ему знак войти, то император стоя надевал перчатки и уже приказал было взять знамя, как вдруг увидел громадного роста подпрапорщика и спросил неожиданно: «А что, он дворянин?» – и на отрицательный ответ Комаровского заметил, что знамя должно быть всегда носимо дворянином, и повелел привести унтер-офицера из этого сословия.

Великий князь, необычайно боявшийся отца, сильно перетревожился и приказал взять поскорее, на первый случай, хоть какого-нибудь подходящего сержанта. И едва знамя было вынесено к фронту, как на крыльцо гурьбой высыпали новые лица, новые сановники, одетые в мундиры новой формы. Эта форма, с непривычки резавшая глаза и казавшаяся странною, даже как будто маскарадного, доставила на первый раз всему разводу, а в особенности конногвардейцам, источник острот и смеха. Все эти лица казались им словно бы старые портреты немецких офицеров, выскользившие из своих рамок.

Ровно в одиннадцать часов из дворца вышел сам император в Преображенском мундире новой формы и направился к разводу. Сначала при виде петербургской гвардии он стал как будто недоволен, – по крайней мере, заметно отдувался и пыхтел, что всегда являлось у него верным признаком неудовольствия или гнева. Но когда пред измайловским фронтом раздалась команда по-гатчински и строй отчетливо исполнил, что требовалось, лицо императора прояснело и озарилось при-

ветливой улыбкой.

Наконец настала очередь ординарцев.



Завидев синий с золотом мундир подходящего конногвардейца, император снова было насупился и отвернулся несколько в сторону, но ординарец, молодцевато остановясь перед ним на расстоянии трех шагов, проделал все, что следовало в данном случае, в совершенстве подражая прусскому идеалу.

Государь, приятно удивленный этой новой неожиданностью, внимательно окинул ординарца своим быстрым взглядом и с благосклонной улыбкой обратился к полковому командиру:

– Так и у вас, господин майор, успели уже ознакомиться с новым уставом? – спросил он.

Васильчиков, не решаясь утвердительным ответом высказать неправду и в то же время боясь разочаровать государя откровенным признанием, отвечал несколько уклончиво, с почтительным поклоном:

– Стараемся, ваше императорское величество!

Государь лично скомандовал ординарцу несколько приемов и поворотов, полюбовался его выправкой и маршировкой и остался совершенно доволен.

– Спасибо, молодец! – приветливо кивнул он ему головою. – Твоя фамилия?

– Черепов, ваше величество!

– Э, так мы с тобой уже знакомы!

И после короткого молчания, в течение которого его внимательный и зоркий глаз скользил по стройной фигуре ординарца, он вдруг прибавил:

– Благодарю, *корнет*[44]! Мне лестно видеть в вас такого отличного служаку!

Это было сказано громким и приятным голосом, так что не только окружающие, но весь развод отчетливо слышал слова государя, которые были полною неожиданностью для всех, и более всех для самого Черепова. Почти ошалелый от радости, он смутно вспомнил, однако же, что надо сейчас же благодарить государя за милость, и, по обычаю того времени, преклонил пред ним колено.

Император протянул ему для поцелуя свою руку. Черепов почтительно прикоснулся к ней губами.

В это время прискакал гатчинских войск поручик Ратьков и доложил государю, что гатчинские и павловские батальоны находят-





ся уже пред городской заставой и ожидают высочайших повелений. Обрадованный им-

ператор тут же сам надел на него Аннинский крест 2-й степени и назначил адъютантом к наследнику. В ту же минуту к государю подвели Помпона, его любимую верховую лошадь, и он, в сопровождении двух сыновей своих, быстро поскакал навстречу своим старым любимцам, которые всецело были его личным созданием, его забавой и утешением в течение долгих и монотонных лет его гатчинского одиночества.

Гвардейский развод остался на площади. Хотя по отбытии государя никем не была подана команда «стоять вольно», но конногвардейцы, по «вольности дворянства» и по недавнему еще обыкновению, на что смотрелось сквозь пальцы, кружком обступили счастливого Черепова и наперерыв поздравляли его с неожиданной милостью.

– Каково метнул из нашего брата солдата да прямо в гвардии корнеты!

– Поди-ка!.. Ну-тка!.. Да, вот те и пудрамантель! – дружески смеясь, замечали товарищи.

– Мы думали – буфонит[45], а он, на-ко, и взаправду! Ай, молодец же, Васька!

– Что ж, брат Вася, поди-ка, теперь зазна-

ешься?...

– Чего-о? – насупился Черепов. – Да вы меня это за кого понимаете?...

– Так, значит, литки[46] с тебя, дружище!

– Непременно! Завтра же после смены и устрою, – согласился Черепов. – Прошу, любезные друзья, пожаловать к фриштыку[47] в ресто-рацию Юге, что в Демутовом трактире, – пригласил он, – будут устерсы[48] и аглицкое пиво, и шампанское вино, и многое другое... Последняя копейка ребром, черт возьми, для эдакой радости!

Час спустя по отъезде государя слышались с Гороховой улицы мелодические звуки флейт и грохот барабанов.

Весь развод, естественно, обратил внимание на ту сторону, откуда приближались эти воинственные звуки. То были гатчинские батальоны, торжественно вступающие еще в первый раз на Дворцовую площадь.

Император ехал во главе той части, которую он наименовал в Гатчине своим Преображенским полком, а великие князья следовали пред так называемыми Семеновским и Измайловским полками. Позади пехоты и ар-

тиллери и шел прекрасный Кирасирский цесаревича полк, во главе которого Павел Петрович, будучи наследником, прослужил кампанию 1788 года[49]; причем над его головой не раз гудели шведские ядра и свистали пули.

Гатчинские гости были одеты совершенно по-прусски: в коротких мундирах с лацканами и в черных штіблетах; на гренадерах[50] красовались медные шапки[51], а на мушкетерах[52] маленькие треугольные шляпы. Офицеры, большей частью безвестные и бедные дворяне, из бывших морских батальонов, шли на своих местах, держа по форме красивые эспонтоны[53], что для гвардейского развода казалось и смешно, и педантично. Одеты они были все в поношенные и потертые мундиры темно-зеленого цвета, явно перекрашенные, в видах экономии, из разноцветных сукон – обстоятельство, опять-таки служившее бесконечным поводом к насмешкам и колким замечаниям.

– Батюшки! Да какие ж они пегие, полинялые, оголтелые, куцые! – трунили между собой блестящие гвардейские щеголи.

Император меж тем в восторге любовался

на свое «модельное войско», шесть батальонов которого с необыкновенной стройностью входили в «*алиниеман*»[54] на Дворцовой площади. Когда же они выстроились в безукоризненно чистую, строгую линию, государь обратился к ним с речью.

– Благодарю вас, мои друзья! – сказал он с заметно теплым чувством. – Благодарю за верную вашу мне службу, и в награду за оную вы поступаете в гвардию, а господа офицеры чин в чин.

Долгие и восторженные «ура» гатчинцев были ответом на приветливое слово государя. Затем их знамена понесли во дворец, и весь гвардейский развод отдавал им воинскую честь обычным образом. Император был необычайно доволен измайловцами за их быструю науку, обнял великого князя Константина, благодарил офицеров, а нижним чинам пожаловал по фунту[55] рыбы. Затем, поставив вообще всем присутствовавшим гвардейцам своих гатчинцев как образец, которому должно подражать, по возможности, близко, государь милостиво пригласил всех без исключения генералов, гвардии, армии и

флота штаб- и обер-офицеров, даже до последнего инвалидного[56] прапорщика, – пожаловать к нему во дворец к водке и закуске.

Так окончилось это утро, достопамятное для старой екатерининской гвардии.

### III. Опальный

Почти на полпути между Москвой и Коломной, верст[57] двенадцать в сторону от большого тракта, стояла небольшая помещицья усадьба Любимка, принадлежавшая отставному генерал-майору графу Илие Дмитриевичу Харитонову-Трофимьеву. Летом это был прелестный и благодатный уголок, совсем заброшенный и запрятанный среди березовых, ольховых и сосновых роц, которые, окружая его со всех сторон, ревниво и тихо оберегали мир, покои и уединение всеми забытого приюта. И точно, в течение долгих годов Екатерининского царствования, усадьба Любимка оставалась в полном забвении. Редко кто из соседей помещиков заедет, бывало, отдать респект[58] обывателю Любимки, да и то заезды эти по большей части делались словно бы крадучись, исподтишка, с опаской,



как бы не проведали, как бы не дознались да не донесли, часом, в подобающее место... Полицейский пристав[59], которому поручено

было наблюдение за образом жизни, мнениями и поведением любимковского обитателя, каждый месяц аккуратнейшим образом являлся к нему в усадьбу, причем старый дворецкий[60] Аникеич принимал его в барской конторе, поил чайком и наливками, снаряжал особую подводку, которую нагружали из господских кладовых и амбаров всякой живностью и припасами вроде битых гусей и кур, свиного окорока, лукошка яиц, корца[61] меду, четверика[62] муки, меры круп, масла и проч. и проч.

Полицейский пристав, получив детишкам на молочишко, угощенный по горло и ублаженный, расставался приятельски со старым Аникеичем и, не видав в глаза того, за коим был приставлен, убирался восвояси, отягченный его щедрыми дарами и мечтая, что вот, даст Бог, на будущий месяц, коли доживу, опять на 3-е число буду к являтельному [63] милостивцу за получением законоположенного.

Так шли многие и многие годы...

Один, забытый в Петербурге, забытый и окрест себя, ничего, кроме смерти, не ожидая



в будущем и ничего ни от кого не желая, кроме полного покоя, в каком-то гордом смиреннии, спокойно и твердо коротал свои старческие дни в уединенной усадьбе граф Илия Харитонов-Трофимьев... А было время, что и он играл свою видную роль и в армии, и при дворе Елизаветы, и при Петре III; но это было давно... Было да сплыло, и сплыло так, что не только сверстники и завистники графа успели давно уже простить ему его успехи, забыть ему его прошлое, но даже он и сам простил им их козни и интриги и успел забыть все минувшее и сделался вполне равнодушен как к своим былым успехам, так и к былым завистникам.

В известном перевороте 29 июня 1762 года [64] он не принял ни малейшего участия, открыто порицал Орловых и остался верен памяти Петра III.

– Он хотя и немец по духу, но, несомненно, человек честный и благожелательный ко всем российским сословиям, – говорил о Петре граф Илия, споря с Григорием Орловым на другой или на третий день после переворота. – И для того мне, – прибавил он, –

как тоже честному человеку, не подобает нарочито смутьянить и играть моим верноподданством.

Граф Илия, однако же, силой вещей вынужден был подчиниться новому порядку, но принял присягу не ранее, как воочию увидев мертвого императора, привезенного для погребения в Александро-Невскую лавру.

– Не лицу присягаю, присягаю престолу российскому... *C'est le principe, mon cher! C'est une autre chose!*[65] – неосторожно выразился он при этом одному из своих приятелей, и слова «крутого» графа в тот же день были доведены до сведения кого следовало.

С этой минуты его оставили в тени. Ни на одном из торжественных придворных праздников не было видно в числе приглашенных гостей статной и мужественной фигуры графа Харитонова-Трофимьева, равно как и в длинных списках наград и пожалований орденами, чинами, титулами и крестьянами тщетно кто-нибудь стал бы доискиваться его имени. И так продолжалось с ним во все блестящее царствование Екатерины.

Наследник престола Павел Петрович еще в

детстве своем случайно как-то зазнал[66] графа Илию. Однажды даже пригласил он его к столу, на свою особую половину, и граф Илия обедал с наследником в обществе воспитателей его, графа Панина и Порошина, и в течение обеда много утешал царственного отрока своими занимательными и поучительными рассказами о физике, химии и о воинском устройстве многообразных европейских армий. Но когда об этом «дошло до сведения», то граф Панин в тот же вечер деликатно «получил на замечание», и с тех пор Харитонов-Трофимьев уже не обедал с наследником престола.

Впоследствии тому же самому наследнику, когда он уже был взрослым и женатым человеком, граф Илия имел случай оказать некоторую услугу. В один из своих приездов в Петербург (постоянно он жил у себя в усадьбе, но въезд в столицу, по силе нужности, формально воспрещен ему не был) узнал он, что Павел Петрович временно стеснен в средствах, но не решается просить у императрицы, так как однажды встретил уже полный отказ в подобной своей просьбе.

– Доложите великому князю, – сказал граф одному из приближенных наследника, от которого случайно узнал о его затруднениях, – доложите ему, что в память его августейшей бабки и родителя[67], коими я был некогда благодетельствован, все мое достояние, когда бы и сколько бы ни потребовалось, принадлежит его высочеству.

И когда тот же приближенный, будучи послан благодарить графа за его обязательную услугу, присовокупил, что наследник ни теперь, ни впоследствии не забудет графу его одолжения и при первой возможности постарается сам отблагодарить его достойным образом, – граф Харитонов-Трофимьев, закусив губу, выпрямился во весь рост и сказал:

– Передайте от меня его высочеству, что напрасно он обо мне таковое мыслит, что я сие сделал не ради надежд на мою персональную выгоду в будущем, но единственно токмо ради моей благодарной памяти к моим благодетелям, от коих милостей я получил все, чем пользуюсь ныне.

Этот случай был сопряжен с последним приездом графа в столицу. Сколь ни отлича-

лась его услуга самым интимным и скромно-конфиденциальным характером, тем не менее люди, усердно следившие за Павлом изо всех щелей его гатчинской резиденции, сочли нужным довести о негоции[68] графа Харитонова-Трофимьева. Эта негоция не понравилась, и вот с тех самых пор граф Илия почти уже безвыездно затворился в своей уединенной усадьбе. С тех же пор в кругу соседей и у всех, кому только было ведомо имя Илии Харитонова-Трофимьева, стал он известен под прозвищем «опальный граф».

Это был человек глубоко несчастный в своей жизни, и только одна фамильная гордость да прирожденная сила характера помогали ему вечно таить внутри себя все муки своего несчастья, никому никогда не жалуясь, нигде и ни в ком не ища себе сочувствия и даже не допуская мысли, чтобы кто-нибудь осмелился подумать, будто он и в самом деле может чувствовать себя несчастным. Его политическая карьера была уже давно и безвозвратно разбита; но столько же, если не более, была разбита и его жизнь семейная. Граф не был счастлив в супружестве. Жена его, которой

всецело отдал он, уже будучи в опале, свою руку и сердце, не сумела ни оценить это сердце, ни понять характер графа.

Капризная и своенравная дочь прожившего боярина, воспитанная в модных парижских салонах того времени, она пленила графа Илию своей блистательной внешностью, шутя отдала ему свою руку, шутя пошла с ним к аналою, с проклятием родила ему дочь, а год спустя покинула и эту дочь, и самого графа, предпочтя своей семейной обстановке жгучую жизнь тех же самых блестящих салонов Парижа и скандальную репутацию открытой подруги одного из самых знаменитых тогдашних «энциклопедистов»[69]. Ее скандально блестящая слава, которой завидовали у нас не только многие великосветские жены, но даже и мужья этих жен, втайне грызла и сосала сердце гордого графа.

Насколько возможно, он старался если не забыть, то хоть несколько облегчить, утихомирить свое горе и боль уязвленного самолюбия тишиной своего глухого сельского угла, постоянным углублением в чтение, в историю да в сельскохозяйственные работы. Впро-

чем, он не обвинял безусловно свою ветреную графиню. Напротив, он склонен был скорее обвинять себя, так как главную причину семейного несчастья полагал в своем собственном неосмотрительном увлечении, в том, что женился, будучи старше своей жены годами более чем вдвое. Чтобы не подать повода к каким бы то ни было упрекам, он аккуратно высылал ей слишком достаточные средства для ее заграничной жизни и никому никогда не заикался про эти щедрые подачки. Но свои собственные потребности сузил он до самых скромных пределов, и не потому, чтобы чувствовал в этом настоящую материальную необходимость (средства его вообще были более чем прекрасны), но единственно потому только, что ему после петербургского блеска и в особенности после разрыва с женой стали глубоко противны вся эта пышность, и гром, и роскошь вельмож его времени. Графу Илие захотелось похорониться в тишине какого-нибудь неведомого угла, уйти внутрь самого себя, порвать со всем этим светом, чтобы и о нем никто, да и сам он ни о ком не слышал. У него под Москвой было

огромное и великолепное имение, которое славилось своим каменным дворцом и обширными садами. В этом имении у графа помещались и знаменитый в свое время конский завод, и знаменитая псовая охота, и домашний оркестр, и домашний театр с трагиками, благородными отцами и первыми любовниками, с целым штатом певиц и танцовщиц из крепостных; тут же проживали у него на вечных и льготных хлебах и капельмейстер-немец, и балетмейстер-француз, и куафер, и костюмер, и много иного, вполне теперь бесполезного ему люда. С тех пор как жена его оставила, он никогда не жила в своем подмосковном имении, но, «сократив» самого себя, даже и не подумал, чтобы хоть сколько-нибудь «сократить» весь этот праздно проживавший штат.

«Пусть их живут; надо же и им с чего ни есть кормиться!» – махнув рукою, отвечал обыкновенно граф Илия на представления управлятеля, который в первое время новой уединенной жизни своего патрона решался иногда докладывать ему, что не мешало бы де распустить дармоедов.



Но зато заботы и всю любовь своего горячего и обиженного сердца сосредоточил граф на своей дочери. Как самая нежная мать и нянька, он следил за нею шаг за шагом еще с самой колыбели этого покинутого ребенка. И сколько мучительных дум и забот, сколько блестящих надежд и томительных сомнений о будущем своей дочери кипели и волновались в душе отца, когда он по вечерам сидел, бывало, на низеньком табурете пред ее детской кроваткой в ожидании, пока заснет его дитя под тихое, мурлыкающее бормотанье старой няньки Федосеевны, какая взяла себе за правило беспрерывно и кажинный вечер сказывать сказки своей графинюшке.

Эту дочь в честь своей царственной благодетельницы граф Илия назвал Елизаветой и, нарекая ребенка дорогим ему именем, в молитве своей призывал покойную государыню быть ее ангелом-хранителем, ее неземною восприемною матерью.

Он не жалел никаких средств на воспитание и образование своей дочери. В течение всего ее детства в Любимке проживали три пожилые особы: англичанка, француженка и

немка, которые были обязаны заниматься с графиней Лизой языками, рукодельями и изящными искусствами, то есть живописью, игрою на арфе да на клавесине. Но простой русский и притом крепостной человек – нянька Федосеевна, все ж таки даже и при трех «мадамах» постоянно занимала своего рода первенствующую роль при графинюшке. Она, конечно, не вмешивалась в дрессировку светского ее воспитания, предоставленного трем «мадамам»; но чистая и благотворная струя русского влияния, без всякой, конечно, предвзятой на этот счет мысли, а просто себе и как бы инстинктивно, по действию самой природы вливалась в душу ребенка благодаря все тому же простому и непосредственному человеку – няньке Федосеевне, которая научила свою девочку лепетать и первые слова, и первые молитвы. Областью Федосеевны были спальная комната графинюшки Лизутки, ее умыванье, чесанье, одеванье и раздеванье, ее каждоутренний и каждовечерний (*baise-main á rара*[70]), ее белье и платица, ее куклы, цветы и картинки, русская сказка и песни, русский простой разговор, подчас воркотня, а

более того тихий вздох да задушевная ласка своей «полусиротки». Три учителя – русского языка, математики, истории, географии и мифологии – были выписаны графом, по рекомендации ректора, из лучших студентов Московского университета. Закон Божий и Священную историю граф преподавал сам. Он был очень религиозный человек и никому, кроме себя, не решился препоручить сего наиважнейшего предмета. Да и вообще, среди своих книг и агрономических занятий он постоянно находил время лично следить за воспитанием и образованием своей дочери, вникая во все его подробности.

Таким-то образом прошло все детство и отрочество этой девочки, выросшей без матери, среди привольной жизни забытого сельского уголка, и графинюшка Лизутка незаметно стала взрослой девицей. Это была совсем русская красавица: сильная, здоровая, ловкая и хорошо сложенная, с плавными и грациозными движениями, с лучистым взглядом больших и открытых серых глаз, с соболиного бровью и длинными ресницами, с несколько капризно-вздернутым носиком, густыми свет-

ло-каштановыми косами и, наконец, с обворожительной улыбкой свежих, румяных губ, и эта улыбка имела у нее свойство, словно солнце, озарять все лицо, все существо ее, когда ей было весело или когда она хотела быть приветливой.

Со вступлением графини Елизаветы в семнадцатилетний возраст учителя ее были отпущены с хорошими наградами, а три «мадамы» остались при ней по-прежнему – для практики и для компании, но старая нянька Федосеевна и в новом положении своей воспитанницы, по законному своему праву, все-таки не покидала первенствующей роли, и графиня Елизавета, как и в оны дни, продолжала быть для нее все тою же «графинюшкой Лизуткой».

## IV. Сон в руку

Ноябрьский сиверкий[71] день начинал вечереть. Стая ворон и галок шумливо кружилась над обнаженными деревьями любимковских роц, наглядывая себе в прутьях ветвей удобные места для ночлега. Граф Илия, встав после послеобеденного сна, вышел, по обыкновению, в своем темно-синем бархатном халате на беличьем меху посидеть в гостиную, куда в эту пору дворецкий Аникеич, тоже по обыкновению, принес ему с погреба большую хрустальную кружку фруктового кваса. Граф любил посидеть в этой комнате именно в тот час, когда уже начинают спускаться сумерки, и, погрузясь в глубокое, покойное кресло да прихлебывая из кружки ароматный квасок, послушать пение своей Лизы с аккомпанементом арфы или ее игру на клавесине. Графиня Лиза сидела у окна, усердно склонившись над пальцами; она вышивала шелками роскошный букет для диванной подушки, которую намеревалась поднести в презент[72] своему отцу в день его рождения, и теперь торопилась, пока еще не

стемнело, окончить большую пунцовую розу.

– Полно-ка глазенки томить! – заглядывая из-за плеча дочери на вышивание и мягко проводя рукой по ее волосам, заметил граф. – Успеешь еще, родная...

– Ах, пожалуй, не мешай, папушка! – трянув головкой, с оттенком легкого нетерпения озабоченно проговорила Лиза. – Еще шестнадцать городков остается – и тогда конец.

– Да глаза же слепишь, говорю тебе.

– Пустое! Молодые еще, не ослепнут... Ведь для тебя же стараюсь...

– Для меня?... Ах ты, рукодельница моя прилежная! – ласково усмехнулся граф. – Для меня... А чем же я для тебя постараюсь? В Москву свозить, нешто?

– Не охотница я, мне и здесь хорошо пока.

Аникеич вошел с полной кружкой на серебряном подносе.

– Ага, и ты, старый хрен, пожаловать изволил! – с доброй усмешкой взглянул на него граф.

– Сами недалечь от меня отстали... Хрен да хрен! Какой я вам хрен еще! – как бы вразправду сердясь, проворчал старый дворецкий. –

Кушайте-ка лучше, пока пенится... Вашего сиятельства на доброе здравие! – прибавил он с поклоном, когда граф взял и поднес к губам своим кружку.

– Ну, однако же, будет! Довольно! – ласковым, но решительным тоном обратился граф к дочери.

– В сей час, папушка, в сей час. Уж только семь городков осталось... Вот только этот бутон, один лепесточек, и на сей день урок мой кончен.

– Да смеркается же! Будет... Пожалуй-ка лучше сыграй мне, а я послушаю... Только нечто бы маэстозное[73]: я в такой настройке ныне.

– Ты говоришь, настройка... Маэстозная... – раздумчиво и как-то оттягивая слова, после некоторого молчания заговорила Лиза. – А знаешь ли, папушка, и я ведь тоже в совсем особой ныне настройке.

– Ой ли, детка! Что так?

– Да так, и сама не знаю. Все раздумье берет... беспричинное... Будто симпатия какая.

– Да с чего же, однако, быть той симпатии?

– Сон такой привиделся.

– Со-он? Эка выдумщица!..

– Право же, сон, папушка... И вообрази, дважды кряду в эту ночь все он один снился... Поутру я даже в «Мартыне Задеке»[74] справлялась.

– Что ж за знатный сон такой? Ну-ка?

– Да вот, изволишь видеть, снится мне это, будто мы с тобой вдвоем идем на высокую гору и будто эта гора – наша Любимка. «Поди ты, что за странность! – думаю. – Стать ли этой нашей Любимке быть вдруг горою!.. Да еще такую высокою, такую трудною!» И мы с тобой всё на нее взбираемся, всё карабкаемся, а из-под ног у нас всё камешки сыплются, и мы скользим, падаем и снова поднимаемся, а окрест нас такая пустыня, такая темень, мрак, хоть глаз выколи! И плачусь я, что никогда мы не дойдем до вершины и никогда нашему бедству скончания не будет... И только что я эдак-то сама в себе возроптала – гляжу, ан мы с тобой вдруг уже на самой вершине, и тут вдруг озарил нас свет... И такой это был блеск неожиданный и прекрасный, что я даже испугалась и зажмурилась. И в сей же час мы с тобой, взявшись за руки, побежали с этой вер-



шины вниз, и так, знаешь ли, шибко, так легко-легко несемся, будто летим, что даже дух у меня замирает. Смотрю, а уж мы среди прекрасной и цветущей долины плывем в лодке по широкой реке, и тут я проснулась.

– Плотно, матушка, значит, покушала за ужином! – смеясь, заметил граф на рассказ своей дочери.

– Ну вот!.. Совсем почти нисколько не ела, одну только чашку молока выпила! – возразила девушка. – И что достопримечательно: чуть лишь заснула – опять все тот же сон... Я себе и возьми это за приметку, заглянула в «Мартына Задеку», а там знаешь, что про то писано? Писано, что на гору взбираться – означает труд, испытание и долготерпение в горести, а с горы катиться – вот что от слова до слова сказано (я даже в самой точности запомнила): «Сон сей, человек, нарочито знатную перемену в жизни твоей означает». А что до реки касается, то спокойно плыть по оной – прибыток, довольство и счастливую жизнь знаменует.

Граф на это только тихо и несколько грустно улыбнулся дочери.

– Все это прекрасно, – заметил он, – а вижу я, однако, что ты, неслух эдакой, все еще корпишь над своей работой!

– Последний городок, папушка! Ей-богу, последний!

И настойчивая Лиза не ранее-таки встала из-за палец, как дошив до конца весь лепесток розового бутона.

– Ну вот, теперь я права! – весело поднявшись со стула и накрывая камчатной[75] салфеткой свою работу, сказала она с полным, облегчающим вздохом. – Что же сыграть тебе, папушка?

– Что знаешь, дружочек... Из Метастазия [76] нечто или из Моцарта.

Девушка присела за клавесин[77], взяла несколько аккордов и задумалась: что бы такое сыграть ей в угоду отцу? Взгляд ее вдумчиво устремился куда-то, как бы в пространство, и бессознательно перешел на стекла окна, из которого видна была часть переднего двора, частокол и посреди него высокие дубовые ворота, крытые русским навесом с гребешком и коньками, а там, за этими воротами, выгон, скучно покрытый снежной пеле-



ной, и сереющая роща со своими крикливыми галками, и под рощей тот большой и густой конопляник, где еще ребенком так хорошо и привольно бывало ей прятаться в жаркий полдень, среди чащи сильно пахучих высоких стеблей, от докучного дозора подслеповатой и строгой «мадамы»-англичанки.

– Папушка! Глянь-ко, что это такое?... Никак, едет кто-то! – вскричала вдруг Лиза, вскакивая с табурета и кидаясь к окошку.

– Полно! Кого понесет сюда в такую пору! – махнул граф рукою.

– Нет, папушка, и впрямь едет... Слышишь, колокольчик почтовый...

Граф прислушался из своего кресла и действительно очень ясно различил приближавшийся звон заливистого колокольчика.

– Сдается так, что военный будто... В шляпе, в треугольной. Право же, папушка! – глядя в окно, уверяла Лиза.

Граф ничего не ответил и только слегка поморщился, невольно выказав этой миной признак внутренней досады и неудовольствия. В течение долгих лет своей опалы он из опыта уже убедился, что редкие приезды

незнакомых лиц в военной форме, с почтовым колокольчиком под дугой, знаменуют всегда нечто официальное, а все официальное не могло доселе сулить опальному графу ничего, кроме какой-нибудь новой неприятности, нового стеснения.

Колокольчик замолк перед самым частоколом на ту минуту, пока прибежавший с дворовыми собаками казачок[78] отворял решетчатые ворота, и вслед за тем, облетев полукругом двор, курьерская тройка остановилась у небольшого крыльца барского дома.

– Аникеич, узнай-ка, брат, кто там и за какой надобностью, – приказал граф дворецкому, позвав его обычным хлопаньем в ладоши, что служило у него сигналом призыва для домашней прислуги. – Да если это какой-нибудь новый пристав, – прибавил Харитонов-Трофимьев, – так ты, братец, внуши-ка ему, что это вовсе не порядок – лезть со своими колоколами прямо под графское крыльцо, что для се-го-де есть у графа сборная изба либо контора... Ну и там выдай ему, что следывает по положению, и отправь поскорее.

Аникеич удалился, но после каких-то пере-

говоров с незванным и неожиданным гостем вернулся опять в гостиную, видимо озадаченный и смущенный.

– Курьер... Из самого Питера, – доложил он. – Сказывает, что имеет препорученность персонально до вашего сиятельства.

Граф окинул его вопросительным взглядом и недоумело пожал плечами.

– Зови, – сказал он, – коли персонально.

Через минуту вслед за старым Аникеичем в гостиную вошел статный и молодой гвардеец.

– Его императорского величества к вашему сиятельству именное повеление, – звучно и отчетливо проговорил он несколько официальным тоном.

– Как вы сказали, сударь? – прищурился граф, прикладывая щитком ладонь к правому уху. – Виноват, кажись, я ослышался...

– Его императорского величества... – снова начал было гвардеец.

– То есть *ее* величества – сказать вы желаете? – перебил его граф, думая исправить, и заметил курьеру его обмолвку.

– Нет, граф, *его* величества, – подтвердил

тот непреложно-уверенным тоном.

– Как?! Да разве... Разве императрица?

– Волею Божией шестого сего ноября скончалась.

Граф неподвижно, словно бы громом пораженный, с минуту оставался в своем кресле, затем медленно перекрестился и встал с места, выпрямясь во весь рост.

– Я слушаю повеление моего государя, – с видом благоговейной почтительности произнес он тихо, важно и вполне спокойно.

– Государь император, – начал гвардеец, подавая графу запечатанный пакет, – высочайше соизволил дать мне препорученность, дабы передать вашему сиятельству, что воля его величества есть как можно скорее видеть вас вблизи своей особы. Государь просит вас изготовиться наипоспешнейше вашим отъездом, но, впрочем, принимая во внимание ваши лета и домашние обстоятельства, всемиловейше разрешает вам четыре дня для необходимых сборов. Мне же от его величества препоручено препроводить вас до столицы и озаботиться, чтобы, находясь в пути, ваше сиятельство ни в чем не потерпели ника-

кого неудобства ниже задержки.

Выслушав это, граф дрожащей рукой сорвал печать и стал читать собственноручное письмо императора Павла.

– Благодарю тебя, Господи, яко не до конца оставил мя еси! – тихо прошептал он, перекрестясь еще раз на образ, и с благоговением поцеловал строки, начертанные царственной рукой.

– Благодарю и вас, государь мой, за сие высокорадостное известие! – взволнованно и с чувством продолжал он, подавая курьеру руку. – По форме усматриваю, что вы гвардии офицер... Позвольте знать, кого имею честь принимать у себя в доме?

– Лейб-гвардии Конного полку корнет Василий Черепов, – отрекомендовался тот с учтивым поклоном.

– Папушка! Голубчик мой! А ведь сон-то в руку! – с восторгом и вся в радостных слезах кинулась на шею отцу графинюшка Лизутка.





## V. Под приветливой кровлей

Весь дом графа Харитонова, тихо дремавший доселе в долгом однообразии своей замкнутой жизни, исполнился вдруг какого-то особенного настроения. Это была не шумливая своекорыстная радость, не эгоистические ликования по случаю счастливой перемены, а скорее как будто испуг перед внезапностью переворота, очевидно наступающего в жизни графа, — чувство смятенного страха и благоговения пред той светлой и высокой ролью, которая благодаря царской милости ожидает теперь этого опального, еще вчера всеми покинутого и забытого. Во всей усадьбе тихо и серьезно шушукались, передавали весть о кончине императрицы и о новом государе, который чуть не с первой минуты своего царствования вспомнил-де о графе и послал за ним особого гонца, гвардейского офицера «из самого что ни есть первейшего в империи Конного полка», и что теперь будет с графом, графинюшкой, да и со всей их ближней услугой? Какая судьба, какие перемены ожидают всех их в самом недалеком буду-

цем? Кто поедет «при графских персонах» в Питер? Кто останется в Любимке? Отпустят ли трех «мадамов», да как-то теперь все это пойдет вдруг по-новому, когда того никто и не чаял?...

Нечего и говорить, что, начиная с графинюшки и ее няньки Федосеевны до последнего человека в усадьбе, все смотрели на царского гонца чуть ли как не на Божьего посланника, который просто с Неба слетел к ним со своим благовестием. Все старались чем ни на есть угодить ему, успокоить, накормить, взлелеять его после шальной и бессонной курьерской скачки, которая в двое с половиной суток примчала его из Петербурга в Любимку.

Аникеич самолично накрывал для него чистой камчатной скатертью обеденный стол, торопил поварят на кухне и шпынял казачков в людской[79], чтобы те проворнее грели самовар для царского посланца; сам слазил еще и еще раз в погреб, обдумывая, каким бы вином пристойнее всего угостить такого гостя и ради такого случая – францвейном[80] или венгерским? Или и тем и другим, а для

радости уж не вытащить ли еще и бутылку шампанского вина? Все эти соображения в данную минуту представлялись Аникеичу «материей нарочито важной» и требующей «особливого проникновения».

– Устин Аникеич, кому служить за столом укажете: мне аль Антропу или Степке? – приставали к нему несколько гайдуков, которым тоже было бы лестно прислуживать царскому посланцу.

– Сам служить буду! Никому не дам! – с достоинством отвечал Аникеич таким решительным тоном, который не допускал уже более никаких противоречий, просьб и доводов.

Старая Федосеевна с горничными девушками тоже была в хлопотах немалых. Этот отряд женской прислуги суетился в особом, «чистом», флигелечке, приготавливая для гостя «спальную горницу и прочий апартамент». Там сметали с углов паутину, спешно подметали и мыли пол, топили печку, переводили на время в контору двух «мадамов», которые доселе здесь помещались, взбивали пуховики и подушки, застилали чистые простыни, вешали новые занавески, – словом, возни и хло-

пот было по горло для всезаботливой и предупредительной Федосеевны. «Пущай, мол, все по-графскому... Лицом в грязь не ударим и графа свово не поконфузим».

Гость между тем сидел в гостиной вместе с графом и его дочерью и, отвечая на их расспросы, рассказывал – насколько знал и лично видел или от других слышал – об обстоятельствах кончины государыни и о первых минутах восшествия Павла, первых его распоряжениях и нововведениях, о которых гвардейцы и публика узнали в утро первого вахт-парада. Рассказал он также и про свой особый случай у государя, благодаря которому стал неожиданно пожалован в гвардии корнетом, и как во время его ординарческого дежурства во дворце государь, случайно проходя по той зале и постоянно замечая его отменную выправку, до трех раз подходил к нему и каждый раз изволил милостиво с ним разговаривать, расспросил, кто он и откуда, имеет ли родных и состояньишко? И когда Черепов отвечал, что от покойного отца своего за ним числится в Новгородской губернии сто двадцать душ крестьян да еще родная тетка,

умершая в бездетности пять месяцев тому назад, оставила ему по завещанию сто душ в Московской губернии, в Коломенской округе, близ Большого Рязанского тракта, то государь спросил, успел ли он побывать уже в этом последнем своем имении, и на отрицательный ответ Черепова, несколько подумав, вдруг изволил произнести:

– Это очень кстати: у меня в тех местах проживает в своей усадьбе генерал-майор граф Харитонов-Трофимьев. Поезжай к нему и сейчас же от моего имени скажи, что я жду его с нетерпеливостью и прошу пожаловать к себе в Петербург; скажи, что я старика всегда очень помнил и охотно желаю его поскорее видеть, дабы иметь при своей особе... Инструкции, маршрут, подорожную[81] и особый пакет на имя графа получить имеешь через час из моего кабинета; пробывать изволь там на месте не позднее четырех суток, а в это время, кстати, коль угодно, то можешь взглянуть и на свое новое именъишко.

– И вот в силу такого повеления, – заключил рассказ свой Черепов, – я, как изволили видеть, примчал к вам, чтобы не умедлить

ни единой минуты насчет оповещения вас о толикой особливой его величества милости; а завтра, дабы не мешать моим посторонним присутствием вашим скорым семейным сборам, я прошу позволения отъехать в свое имение, а через два дня опять вернуся, исполняя волю моего императора, к вашего сиятельства услугам и буду иметь честь сопровождать вас до Петербурга.

– Не смею стеснять вас, сударь, – слегка поклонился граф, – но сей ночлег прошу иметь под моей кровлей: чем богаты, тем и рады, по простоте, по-старинному. А смею спросить, – прибавил он, – как прозвание именницу-то вашему, что от покойной тетушки досталось?

– Чижово, Замахаевка тож, – ответил Черепов.

– Замахаевка?... Бог мой! – вскричал граф Илия. – Да это близехонько, просто рукой подать отселе, в самом ближнем соседстве, и двадцати верст, почитай, не будет!.. Так, стало быть, ваша тетушка была Варвара Тимофеевна Порезкова, вдова моего бывшего сослуживца бригадира Василия Иваныча Порезкова? Так ли?

– В самой точности так, ваше сиятельство!

– Ну и прекрасно! Тем паче приятно видеть в вашем лице ее, надеюсь, достойного племянника.

– Батюшка не комплимент говорит вам, а истинную правду, – поспешила примолвить графиня Елизавета. – Надо вам знать, сударь, мы очень уважали вашу тетушку, потому что она была прямой и независимый человек; она одна, почитай, со всей округи езживала к нам и водила с нами хлеб-соль в то время, как все старались отвертываться и не замечать нас, и мы тоже, бывало, у ней гащивали, а меня-то уж она в особливости жаловала. Я к ней всегда питаю самую благодарную память.

– Кушать подано! – с официальной торжественностью возгласил старый Аникеич, появясь в дверях гостиной с салфеткою в руке, в своем новом камзоле[82] и парадном кафтане с графскими гербами по широкому басону[83]

– Прошу! – поднялся граф с места, делая офицеру пригласительный жест той изящной, благоволивой приветливостью, которая была свойственна вельможно-светским лю-



дям былого времени. – А ты, графинюшка, – прибавил он, с улыбкой обращаясь к дочери, – будь настоящей хозяйкой, как следует, предложи гостю руку и веди его к столу, а я только кафтан мой надену и сейчас буду к вам. Угощай же его изрядненько, чтобы дорогой гость наш не обессудил и всем остался бы доволен, а на утрие, сударь, – обратился он вслед за тем к офицеру, – моя карета четвернею будет к вашим услугам и доставит вас в Замахаевку.

И несмотря на убедительные просьбы Черепова оставаться, не стесняясь, по-домашнему, в своем халате, граф все-таки ушел в свою гардеробную переодеться, а графиня Елизавета с приветливой, хотя и несколько смущенной улыбкой подала гостю руку и, слегка придерживая пальчиками чуть-чуть приподнятый перед своей будничной робы[84], грациозно в качестве молодой хозяйки повела его в столовую мимо старого Аникеича, который, вспомнив по старине всю официальную строгость этикета, подобающего настоящей минуте, с важно поднятой головой и важно насупленными бровями встретил и проводил се-

рбезным и строгим взором прошедшую мимо него молодую пару. И чуть лишь эта изящная пара оставила его за собой, как уже старик в гневном ужасе торопливо замахал салфеткой, подавая немые знаки няньке Федосеевне, которая с полдюжиной горничных девушек, не будучи в состоянии превозмочь своего любопытства, заглядывала из противоположной двери в столовую. Старая нянька увидела это маханье и с видимым неудовольствием покорила блюстителю требований старого этикета. Но хоть и одним глазком, а все-таки успела она взглянуть на свою графинюшку Лизутку и молодчика гвардейца – «как это они так приятно и великотно изволили шествовать вместе».

## VI. Усладушка

На следующий день, едва лишь рассвело, Черепов после раннего завтрака выехал на графской четверке в свою Замахаевку. Эта деревня залегала в весьма людной местности, окруженная ближайшим соседством нескольких помещичьих дворов, между которыми первенствующую роль играла Усладушка – богатая усадьба со всякими причудами и затеями, принадлежавшая некоему Прохору Михайловичу Поплюеву. Имение это, отстоявшее не более как на три версты от Замахаевки, названо было Усладушкой самим Прохором Поплюевым в силу того, что в нем совокуплялись самые разнообразные заведения, предназначенные к услаждению духа и плоти владельца. Путь предстоял Черепову как раз через Усладушку.

Тихо дремля в глубине покойной кареты, он и не заметил, как, миновав богатое село, экипаж его спустился на мост, за которым стоял опущенный шлагбаум и при нем сторожка, а по обе стороны от этой заставы тянулся высокий частокол, замыкавший собой

границы Усладушки. Шлагбаум, гремя своей цепью, тотчас же поднялся вверх и беспрепятственно пропустил карету. Самый дом и обширные службы расположены были в стороне, саженьях[85] в полутораста от дороги, пролежавшей через огражденное пространство усадебного участка, и хотя эта дорога была единственным проезжим путем, то есть составляла в некотором роде общественную собственность, тем не менее владелец Усладушки считал себя вправе держать на ней шлагбаумы на том основании, что дорога, мол, «в этом месте по моей собственной земле пролегает».

Доехали до противоположной рогатки, и тут Черепов был выведен из своей тихой дремоты неожиданной остановкой экипажа. Он зевнул, провел по лицу рукой, чтобы стряхнуть с себя остатки дремы, и насторожил внимание. Казалось, будто кучер с кем-то бранится или торгуется.

Черепов опустил стекло и высунулся в окошко каретной дверцы.

– Что там такое? – крикнул он своему вознице.

– Не пропускают! – возвестил тот с высоких козел.

– Как – не пропускают?! Кто?... Зачем?... Почему?

– Не велено. Указ такой вышел, – пояснил чей-то посторонний голос.

Черепов кинул взгляд вперед и увидел перед собой опущенный шлагбаум, сторожку и на пороге ее человека в особенной форме военного покроя.

– Что за вздор! Проезжих людей не пускать по проезжей дороге! – заметил Черепов. – Кто такие указы может выдавать в мирное время?

– Наш усладовский барин, – было ему ответом.

– Усладовский барин?... Что за барин такой?

– Прохор Михайлыч Поплюев.

– Да ты что за человек есть?

– Я-то?... Я ихней милости гвардеец.

«Вот где товарища какого нашел!» – усмехнулся про себя Черепов и спросил его громко:

– Что за гвардеец? Солдат, что ли?

– Нет, мы не солдаты, а мы, значит, нашего

барина гвардия, – пояснил человек в военном костюме. – Я теперича, к примеру, карабинер, – продолжал он, – а то есть у его милости и мушктеры, и гусары, и антилерь[86].

– Ну и на здоровье ему! – улыбнулся Черепов. – А ты, братец, все-таки подыми-ка рогатку!

– Не могу, сударь!.. Хоть убей, не могу!.. Мне опосля того и не жить! Тебе-то что, а майор, поди-ка, три шкуры с меня спустит, коли пропустить-то... Не указано!

– Ну-ка! Что за майор еще?

– Нашего барина майор... Потому как он, значит, при себе майора такого держит, чтобы нас муштровать, по артикулу[87]... Смерть какой лютой!.. Пропустить никак не можно. Впускать иное дело: впускать, сказано, всякого, а выпускать с разбором.

– Да что ж за причина, однако?

– А то и причина, вишь, что барин-от не рожденник и, значит, рожденье свое справляет, и для того никого, опричь подлых людей[88], пропускать не велено, а указание есть, чтобы которые благородные проезжающие – безотменно к их милости в усадьбу про-

сидеть к водке и на пирог чтобы пожаловали.

– Ды мы с твоим барином вовсе не знакомы! – засмеялся Черепов.

– Это все единственно! Это ничего! – возразил карабинер. – У него что знакомый, что незнакомый – все ему гости.

– Да иной, поди-ка, может, и знать-то его не хочет.

– Ну уж про то не наше дело! Там уж поди сам с ним в усадьбе разбирайся. А мы знаем одно: не пущай – и кончено!

– Э, так я сам себя пропущу! – сказал Черепов и, выйдя из кареты, направился к шлагбауму с решительным намерением поднять его.

– Не трожь, барин! Не балуй! Я те Христом Богом прошу! – взмолился карабинер, ухватившись обеими руками за подъемную цепь. – Майор, то ись, страсть какой лютый!.. Беда!.. Уж лучше сожди маленько, я товарища пошлю в усадьбу, пущай сбегает да доложит. Тогда твоей милости, может, и пропуск выйдет, а без того не моги, не подводи под ответ-то! Ну што тебе! Сожди, прошу честью!

Что было делать! Человек молит чуть не со

слезами – как тут не уступить, когда ему и в самом деле без вины может достаться от какого-то лютого майора! Черепов только плечами пожал и согласился обождать в карете, пока посланный сбегает в усадьбу. Прошло несколько минут, как вдруг он заметил, что к нему скачет верхом на горбоносом дончаке [89] какой-то чудака с развевающимися вылетами несколько фантастического костюма. Всадник этот осадил скакуна как раз перед дверцей кареты и приложился по-военному к своей лохматой медвежьей шапке.

– По благородному виду и по экипажу могу судить, что вы, сударь, человек благородный, – сказал он Черепову самым любезным тоном. – Смею спросить чин, имя и фамилию, а равно откуда и куда едете?

– Да что это за комедия, наконец! И кому какое до того дело! – досадливо воскликнул Черепов. – Если вы тутошний чудака помещик, то прикажите, сударь, вашему карабинеру поднять мне рогатку!

– Извините, государь мой, я не помещик, хотя и был таковым некогда; но я тутошнего помещика майор и послан персонально от



Прохор Михайлыча дознаться о чине и звании проезжающей особы, а потому не посетуйте...

Чтобы поскорее отвязаться, Черепов сообщил ему, что требовалось, и повторил свою просьбу насчет рогатки.

– Извините, государь мой, но у нас таков уже порядок! – учтиво возразил мохнатый чудак. – От имени моего шефа, – продолжал он, приподняв шапку, – смею просить вас оказать особую честь Прохор Михайлычу... По русскому обычаю, от радушного хлеба-соли не отказываются... И ему тем паче будет приятно знакомство ваше, что вы лейб-гвардии офицер. Не откажите в чести!

«Что за чудачки! – подумал себе Черепов. – А впрочем, чего тут ломаться! Не все ль равно!» И он приказал кучеру поворачивать к крыльцу поплюевского дома, рассчитывая пробыть здесь самое короткое время и воображая, что все равно надо же будет когда-нибудь познакомиться с этим Прохором как с одним из своих ближайших соседей.

Меж тем чудачный майор, чуть только услышал приказание, отданное кучеру, как

уже поскакал во всю прыть обратно к дому, неистово махая кому-то рукой и крича во все горло:

– Салют!.. Салют почтенному гостю!

И в это самое время раздались вдруг три выстрела из пушек. Графская четверня с испугу шарахнулась было в сторону, но ловкий кучер успел-таки справиться с ней без дальнейших неприятных последствий. Облако дыма тихо рассеивалось над тем местом, откуда сделаны были выстрелы, и Черепов, обратив глаза в ту сторону, заметил насыпной реду-тец[90], на валах которого стояли четыре чугу-нных фальконета[91], а в одном из углов возвышался длинный шест с развевающимся флагом.

Едва экипаж подъехал к крыльцу, как со ступеней сбежали два заранее поджидавших гайдука[92], одетые гусарами, и, спешно распахнув дверцу, с почтением высадили Черепова под руки из кареты.

Сам хозяин очень любезно вышел к нему навстречу в большую приемную залу с колон-нами, украшенную громадной хрустальной люстрой и огромными картинами с мифоло-

гическими сюжетами, где преобладали какие-то обнаженные богини, вакхи[93] и сатиры[94] среди гирлянд из винограда, цветов и порхающих амуров.

Проخور Поплюев казался на вид мужчиной лет тридцати пяти или около. Это был небольшой кругленький человечек с одутловатым брюшком, на тоненьких ножках и с добродушным, несколько брюзгливым лицом, которое носило на себе следы какой-то лимфатической сонливости и апатии, чему в особенности помогало слабосильно опущенное правое веко. От этого века все лицо его казалось не то плачущим, не то улыбающимся и вообще как-то кисло-кисловато куксилось, отличаясь скорее бабьим, чем мужским выражением. Волосы его были распудрены и тщательно завиты в букли, мягкие руки благоухали какою-то тончайшею парижскою эссенцией, а на толстенных коротких пальцах разноцветно сверкали дорогие перстни. Одет был господин Поплюев в расшитый блестками атласный палевый[95] кафтан, каких в то время уже не носили более светские франты, и вообще всю наружность своею являл он апа-

тично-самодовольную и не лишенную некоторого комизма фигурку петиметра[96] доброго старого времени. Судя по фальконетам и карабинерам, Черепов рассчитывал встретить в нем человека совсем иного характера и наружности.

– Позвольте поручить себя вашей благосклонности, – шаркнув ножкой, начал Поплюев, которому майор успел уже доложить о госте все, что требовалось, – и тем паче что мы не только соседи, но и камрады по оружию... Я тоже имею счастье быть военным, и притом гвардеец, но чин мой, к прискорбию, невысок: я успел достигнуть сержантского лишь ранга в Измайловском полку, ибо доселе еще только числился и не состоял на действительной службе.

И Прохор Поплюев, радушно взяв Черепова под руку, повел его знакомиться с остальными гостями, которые, съехавшись частью сами, частью же попав случайно, как и Черепов, заседали в широкой гостиной, где у одной из стен с утра уже был накрыт длинный стол, отягченный всевозможными водками и закусками. В этой гостиной на первом

плане, посреди штофного[97] дивана с позолотою, восседал в бархатной рясе архимандрит [98] одного из ближних монастырей – человек далеко еще не старый и видный собою. Около него сидели два монаха того же монастыря и несколько коломенских чиновников, капитан с офицерами армейской роты, квартировавшей в окрестности, да человек десять разнокалиберных помещиков.

Представив всей этой компании нового гостя, хозяин круто подвел его к столу и неотступно стал приставать с угощениями, уверяя, что дорогие гости пропустили уже по пять чарочек чефрасу[99] и что ему необходимо надлежит догнать их коли не сразу, то как можно скорее.

– Я человек военный и во всем регулярность наблюдаю, – заметил при этом хозяин, – а чефрас это есть, государь мой, целебный настой моего собственного изобретения. Вот и отец архимандрит, и господин капитан довольно хорошо меня знают и все мои качества. Я дисциплину люблю, коя есть наипервое нашему брату основание... Отец архимандрит, господа гости! – воскликнул он

вдруг, обращаясь ко всем присутствующим. – Желаете ли, в сей час тревогу учиню?... В сию секунду!.. Вы, отец архимандрит, в прошлом разе остались довольны, проинспектировав мои войска; не любопытны ли будете взглянуть, каковы они ныне?

Все гости поспешили заявить свое полное удовольствие на предложение хозяина. Майор находился тут же. Это был субъект родом из так называемой тогда смоленской шляхты [100] и носил какой-то полупольский-полувенгерский костюм. Куцый паричок, осыпанный мелкими букольками, прикрывал его небольшую клубоподобную головку; а круглое лицо, напоминавшее маятник стенных часов, неизменно хранило в себе какую-то странную смесь подобострастия, комической строгости и самодовольно надутого чванства. При достаточном росте он держался прямо, словно бы аршин[101] проглотил, и состоял при хозяине в качестве майора всем чем угодно: и шутком, и собеседником, и начальником его надворной гвардии, и церемониймейстером[102]. Под его ведением находились многие отрасли усладовского обихода; кроме

гвардии майору подчинялись еще и капельмейстер[103], и балетмейстер, фейерверкмейстер[104], кухмейстер[105], шталмейстер[106] и гофмейстер[107]. Служив когда-то в военной службе, этот импровизированный майор давно уже предпочел тревоги полевой жизни мирному существованию на хлебах из милости, под кровом усладовского барина, и был даже необычайно горд и доволен своим настоящим положением. Получив приказание хозяина насчет тревоги, он тотчас же выбежал из комнаты, и через минуту во дворе уже слышались звуки барабана.

Гурьба гостей, надев шубы, высыпала на крыльцо любоваться тревогой поплюевской гвардии. Минут через пять на дворе выстроились человек тридцать дворовых людей, одетых мушкетерами, и прискакали с конюшни двенадцать всадников, из которых одна половина называлась гусарами, а другая – карабинерами. Майор в своей косматой папахе начал ученье и по окончании каждой эволюции [108] непременно подходил, по воинскому артикулу, к отцу архимандриту для принятия его приказаний. Отцу же архимандриту все

достодолжное в этом случае подсказывал армейский капитан, и таким образом архимандрит исполнял недурно свою роль военного инспектора. Надворная гвардия маршировала во все стороны и производила сильный ружейный огонь, кавалерия гарцевала на своих донцах, а артиллерия в грозном ожидании стояла с зажженными фитилями на валах редута, около своих фальконетов. Наконец архимандрит приказал штурмовать крепость. Майор стремительно влетел вприпрыжку к своим войскам, замахал и саблей и шапкой, завопил неистовым голосом: «Ура-а! Вперед, россияне!» – и надворная гвардия бегом кинулась на валы редута. Тут уже поднялся гам и крик всеобщий: фальконеты гремели с валов, барабан бил «атаку», пехотинцы палили из ружей, кавалеристы как ошалелые гикали и кружились по всему двору, майор надседался что есть сил, ободряя свое воинство, карабкавшееся на бруствер [109], гости били в ладоши и кричали «ура!», архимандрит пребывал в полном восторге, а хозяин, потирая себе ручки, весело и добродушно улыбался своей плаксивой улыбкой.



После этого победного штурма Прохор Михайлович пригласил гостей осмотреть хозяйство и повел их в оранжереи, где, для украшения и «оживления» южных плодовых деревьев, торчали у него насаженные на шпильки и прикрепленные проволокой к ветвям живые плоды померанцев[110], персиков и абрикосов, которые еженедельно выписывались по дорогой цене из московских фруктовых лавок. Гостям при этом предоставлялось думать, будто эти все персики и померанцы выросли и созрели же в этих самых усладовских оранжереях. Из оранжерей компания гостей направилась в амбары, где у Прохора Михайловича было ссыпано в зерне множество разного хлеба, затем в кладовые, которые завалены были холстом, сукнами и кожами собственной, домашней, выделки и где помещались целыми рядами кадки воску, меду, масла коровьего и конопляного и проч. Показал он им и свою образцовую псарню, и свои конюшни, где стояло у него десятка четыре лошадей разных пород, и особое отделение собственного конского завода, и скотный двор, и наконец повел в самый заповедный уголок

своего хозяйства. То был винный погреб, помещавшийся в подвалах его обширного двухэтажного дома, выстроенного на прочном каменном фундаменте еще в прадедовские времена. Здесь в многочисленных нишах устроены были ряды полок, уставленных разнообразными бочонками и бутылками, хранившими всевозможные сорта водок, наливок и медов, из которых многие носили на себе все наружные и несомненные признаки времен отдаленных. В этом погребе у Прохора стоял большой дубовый стол со скамейками и висел на стене серебряный дедовский ковш.

– Прошу, господа! – пригласил хозяин, сняв этот ковш. – Прошу пробовать, кому какой напиток более по вкусу придет, тому мы такого и за обедом перед кувертом[111] поставим. Ну-тка, отец архимандрит, благослови начинать по порядку!

И, приказав своему ключнику нацедить из заповедной бочки, Прохор подал монаху ковш, до краев наполненный искрометной влагой душистого меда.

– Как круг пойдет? По тостам, что ли, аль просто? – спросил кто-то из обычных усладов-

ских гостей и состольников.

– По тостам! По тостам! – в голос отвечали почти все остальные.

– Итак, первый тост, как есмы[112] верные российские сыны, – подняв торжественно ковш, возгласил архимандрит, – да будет во славу и здравие, и во спасение, и во всем благое поспешение нашей матери-императрице.

– Виват! Ура! – закричали было гости, махая снятыми шапками, как вдруг Черепов остановил руку архимандрита, который готов уже был отведать от края.

Все переглянулись с недоумением.

– Сей тост невместен! – серьезно сказал он.

– Как! Что такое?... Почему невместен? Кто дерзостно смеет помыслить таковое? – напустились было на него гости.

– Да разве вы не знаете иль не слышали еще?

– О чем бишь слышать-то? Что загадки, сударь, гадаешь?

– Да ведь императрица-то... Волею Божией шестого сего ноября скончалась.

Серебряный ковш выпал из дрогнувшей руки пораженного монаха.

Все отступили молча в каком-то паническом испуге. Вопрос, недоумение, сомнение и недоверие ясно заиграли на лицах.

Несколько секунд прошло в полном молчании.

– Скончалась... Мать скончалась... А мы здесь бражничаем! – с упреком сказал наконец кто-то упавшим голосом; и гости печальной толпой, понутив головы, один за другим стали подниматься наверх из погреба по широким ступеням каменной лестницы.

Понятно, что сообщением о смерти государыни Василий Черепов возбудил чрезвычайный интерес во всех гостях усладовской усадьбы. Опомнясь от ошеломляющего впечатления первой минуты, все они обступили его и закидали вопросами. Каждый стремился услышать прискорбное известие как можно обстоятельнее, в наибольших подробностях, и Черепову пришлось повторить им все то же, о чем он рассказывал графу Харитонову-Трофимьеву. В конце концов разговор коснулся и того обстоятельства, по которому гвардии корнет прискакал царским курьером к опальному графу, и эта последняя новость

едва ли не произвела впечатление еще более сильное, чем весть о смерти государыни. Большая часть этих гостей были соседями графа, которые, зная причины обстоятельств его продолжительной опалы, не находили нужным оказывать ему какое-либо внимание. Всяк понимал, что песенка его спета, что он ни силы, ни значения не имеет и, стало быть, не может уже оказать ни пользы, ни милости, ни заступы, ни иного какого-либо покровительства, а потому большинство этих людей, выражаясь их же словами, плевать на него хотело. Да многие и опасались дружить и водиться с опальным человеком из страха, как бы не навлечь на себя через это знакомство каких-либо подозрений или невыгодного мнения со стороны представителей наместничьей власти. И вдруг теперь этот самый человек в случай выходит[113]! Сам император на первых же минутах своего царствования за ним особого гонца посылает, «респектует[114] его особым отличием», и — глядь — граф Харитонов из ничтожества мгновенно превращается в силу, так что любого из этих самых своих соседей может теперь

осчастливить, в люди вытащить, деток пристроить, в чины произвести, равно как и на любом же из них может выместить за все сплетни и кляузы, за все их пренебрежение, которое так гордо и равнодушно переносил в свои опальные годы. Как тут быть? Что теперь делать? И кто бы мог когда таковое помыслить, и кто бы мог ожидать сего?

И тотчас же, наперерыв друг перед другом, стали все восхвалять графа Илию, превозносить его достоинства, его ум, его характер, удивляться ему и отдавать заслуженную дань справедливости и почтения тому величию духа, с каким он переносил свою опалу. Мы-де всегда его чтили и любили! Мы-де всегда говорили, всегда предвидели, что его случай еще настанет, что его вспомнят, потому что российское Отечество нуждается именно в мужах толикого ума и достоинств, и спасибо-де государю, что он сразу отличает и ценит истинных сынов Отечества, и мы-де так рады, так уж рады за графа, и дай-то ему Господи всякого благополучия и тоже дочери его, «сей прекраснейшей и благороднейшей отрасли»... И чего-чего не было тут на сказано! И

что всего замечательнее, многие высказывали все это совершенно искренне, от души, от чистого сердца, так же точно, как прежде совершенно искренне, бывало, судачили того же самого графа. Но Василий Черепов мог бы теперь подумать, что он находится среди самых искреннейших друзей и почитателей графа Харитонов-Трофимьева.

Среди этих толков и разговоров появился вдруг парадный гофмейстер и объявил, что кушать подано. Все общество от закуского стола перешло в обширную залу с двумя эстрадами, на которых во время усладовских пиршеств присутствовали обыкновенно домашний оркестр и домашняя опера Прохора Поплюева. Они и теперь помещались на своих местах в ожидании выхода гостей к обеду. На одной эстраде капельмейстер внимательно пялил глаза на дверь, боясь, как бы не пропустить момент, в который появится Прохор Михайлович, торжествующий день своего рождения, чтобы встретить его величественным полонезом, сочиненным нарочито для сего торжественного случая, а на другой эстраде регент-семинарист[115], даровитый поэт

и пьяница из бывших архиерейских певчих, все прислушивался к своему камертону[116], готовя себя и свой оперный хор к той минуте, когда будут подняты бокалы за здравие высокопочтенного рожденика, чтобы грянуть ему кантату[117], тоже нарочито для сего случая скомпонованную. Певцы были разодеты в алые суконные кафтаны с позументами, кистями и вылетами, какие и до сего дня можно видеть на казенных церковных певчих, а певицы красовались в венках из фальшивых роз и в белых кашемировых тюниках [118] греческого покроя. Стол был сервирован роскошно. Посредине него возвышалась скала, сделанная из обсахаренного торта, на скале между сахарными цветами и елками ютилась сахарная хижина, около которой сидел сахарный пастушок с пастушкой и паслись сахарные барашки. В одном месте этой скалы помещалась особо приспособленная серебряная лохань, наполненная белым вином, что должно было изображать озеро, посреди которого бил фонтанчик, орошая своими брызгами пару плавающих сахарных лебедей. Одним словом, в отделке этой скалы по-



плюевский кухмейстер проявил верх своего кондитерского искусства и изобретательства.

– Отец архимандрит, ты как полагаешь, пристойно ли греметь полонезу[119] в рассуждении толико горестного события? – обратился хозяин к своему почтенному гостю, еще не вступая в столовую залу.

Архимандрит нашел, что звуки музыки, коли они будут в светском, аллегретном[120] характере, то лучше их удалить как вовсе не подходящие, но если вокальный хор будет воспевать какие-либо канты[121] строгого или маэстозного характера, то сие отнюдь не возбранно. Поплюевский майор, выслушав на ухо секретное распоряжение об этом, тотчас же полетел в столовую предупредить и регента, и капельмейстера, что как полонез, так и все вообще аллегретное отменяется, чем несказанно огорчил обоих композиторов, которые совсем уже было приготовились блеснуть на славу и удивление своими талантами.

Гости сели за стол без музыки. Но здесь почти в самом начале обеда неожиданно-негаданно для всех случилось обстоятельство

несколько исключительного рода: сам хозяин оказался вдруг пьян. Как и когда успел он, по выражению архимандрита, «уготовать» себя – это для всех осталось непостижимой тайной.

– Проща!.. Эк тебя!.. С чего ты это, скажи, пожалуйста? С горя аль с радости? – спрашивали его приятели.

– И с того, и с другого! – заплетаясь языком, меланхолически бормотал Поплюев.

– А что, Амфитрион[122]-то наш холост иль женат? – тихо спросил Черепов у своего соседа, заметив полное отсутствие за столом дамского общества.

– Вдовый, – отвечал тот, – и к тому ж бездетен. Да и на что ему вдругорядь жениться, – продолжал он, – коли у него, как у шаха персиянского, – вон, видишь, сударь, – целый гарем: и балет, и опера... Затейник он! Несмотря, что с виду тихоня, а большой затейник!

Невзирая, однако, на нетрезвое состояние хозяина, который в тихой полудремоте слегка покачивался на своем месте, обед шел своим чередом, по чину и порядку, благодаря зоркому глазу строгого майора. Для светских людей подавали скоромное, а для духовенства и для

желающих – постные блюда, и каждое блюдо появлялось не иначе как изукрашенное разными штуками. Вокруг громадных осетров, например, красовался венок разнообразных цветов, которые были выделаны из свеклы, репы, моркови и картофеля; жареный барашек предстал целиком, с золотыми рожками, в бархатной зелени кресс-салата, что должно было изображать вокруг него зеленую лужайку; жареные гуси, индейки и куры явились в украшениях из страусовых и павлиньих перьев – и все это было настряпано в громадных размерах, в поражающей изобилии. О винах и напитках нечего и говорить: кроме «ординарных столовых», которые стояли перед каждым кувертом, гофмейстер после каждого блюда обходил всех гостей и потчевал их еще особыми тонкими, редкими винами. Все это в совокупности, конечно, должно было производить на головы гостей надлежащее действие, так что к концу обеда лица уже рдели и речи становились все громче и непринужденнее.

Вдруг хозяин, безгласно дремавший и до тоста, и после тоста за его здоровье, как бы

очнулся, откинулся на спинку своего кресла и крикнул:

– Гей!.. Балет!.. Жарь лезгинку!.. Карабине-ров сюда!.. Вали развеселую! «Варварушку-сударушку»... Утешай! С бубнами, с ложками!

Архимандрит, как самый почетный гость, сидевший рядом с Поплюевым на первом месте, дружеским и солидным тоном стал урезонивать его, говоря, что таковое-де буйственное веселие вовсе неприлично, что сам же он пред обедом испрашивал дружеского совета насчет аллегретной музыки, что надо-де вспомнить, каковы суть ныне события, и прочее.

Прохор уставился на него посоловелыми глазами.

– Как?! Что?! – закричал он, стукнув кулаком по столу. – Кто смеет запретить мне?... Кто здесь хозяин, ты али я? Отвечай!.. Отвечай, кто хозяин?! Я тебя уважаю – ты меня уважай!

– Не дури, Прохор! Ей, говорю, не дури, а то обижусь! – дружески грозил ему архимандрит.



– Лезгинку желаю!.. Как пляшут-то, бестии!  
Как пляшут! Дрожит ведь вся!.. Ты погляди –  
душа выпрыгнет!.. Право!

– Невместно[123] сие, подумай, пьянственный твой образ!

– Не перечь! Желаю!

– Ну, в таком разе мне и братьям не подобает уже здесь соприсутствовать.

И архимандрит обиженно встал из-за стола, кивнув за собой обоим монахам.

Поплюев тоже поднялся вслед за ними. Качнувшись раза два, он подступил к архимандриту:

– Батя!.. А батя!.. Уважь!.. Прошу тебя, останься!

– Уважу, коли дурость бросишь, а то прощай, брат!

– Н-нет, ты без кондиции[124]... Ты просто останься...

– Невозможно... Окаянный ты, говорю – невозможно!

– Не хочешь? – решительно подступил к нему Поплюев, ухватясь за широкий рукав его бархатной рясы.

– Не могу! – развел тот руками.

– Вдругорядь пытаю: не хочешь?

– Ни сану, ни обстоятельствам не подобает.

– Эй, батя, в последние говорю: останься!..

Не хочешь?

Монах отрицательно покачал головой.

– Собак! Ату его! – неистово крикнул Поплюев, норовя схватить архимандрита за ворот, но потерял равновесие и грузно бухнулся на пол.

Гости переполошились. Кто кинулся к монахам, кто к хозяину: одни с желанием потешиться неожиданным «шпектаклем», другие с целью помешать дальнейшему «шкандалу», который становился чересчур уже непристойным. К счастью, распорядительный майор с несколькими гостями успели подхватить с полу барахтавшегося Поплюева и унесли его из зала. Воспользовавшись этой минутой, архимандрит тотчас же уехал вместе с монахами.

– Батюшки!.. Что я наделал!.. Ах, злосчастный! Чего натворил! – убивался и плакал Поплюев не далее как через полтора часа после разыгравшейся сцены, когда пришел в себя и узнал, что обиженный архимандрит уехал из усадьбы. – Отца духовного... Батю... Шуткали!.. Ведь он мне духовный отец, а я его... Боже мой, боже!.. Ведь мне за это ни в сей, ни в

будущей жизни... Духовную персону оскорбил... И кто смел его выпустить?... Уехал!.. Что ж теперь?

И он поник на минуту в отчаянном раздумье.

– Ну ништо! Дело житейское, – уговаривали его приятели. – Поедешь завтра к нему, прощения попросишь, и помиритесь.

– Завтра?... А коли я помру до завтра?... Тогда-то как?... Ведь ни в сей, ни в будущей, поймайте это!.. Гей! Майор! Чертова перечница! – вскочил он с места. – Бей тревогу! Запрягать лошадей!.. Да живо у меня!.. В монастырь еду!.. В сей час! В сию минуту! Почтенные гости все со мной! Прошу!.. Все будь свидетелями моего покаяния!.. Все!

Иные согласились на это приглашение с величайшей охотой, а некоторые, в том числе Черепов, стали отговариваться под разными предлогами и просить уволить их от этой поездки.

– Нет, друзья мои!.. Нет! Не могу! – бил себя в грудь Поплюев. – Гей! Майор! Запрягать под всех только моих лошадей и в мои экипажи! Чужие все распрячь и без моего позволения



не выпускать из сараев! Понимаешь?... А вас, господин гвардии корнет, прошу в особенности! – искренно и усердно кланялся он Черепову. – Не покидайте меня!.. Пожалуйста, поезжайте со мной! Окажите истинно дружеское ваше расположение и внимание!.. Мне без вас невозможно.

– Да на что я вам, однако? Чем могу быть пригоден? – с невольной улыбкой пожал плечами Черепов.

– Ах нет, не говорите!.. Вы мне великую пользу оказать можете! Вы человек корпусо-кадетский и учливый[125], вы гвардии офицер, – он, батя-то мой, ведь он меня не слушает... Упросите его за меня... Он из респекта к вам сие сделает с охотным сердцем!.. По христианству прошу!.. Ведь ни в сей, ни в будущей!..

– Ну ладно! Ин, быть так! – смеясь, согласился Черепов, которому после обеда, обильного столькими возлияниями, стало казаться, что, в сущности, решительно все равно, куда ни ехать и где ни быть сегодня, а что в свое именице и завтра проехать успеет.

– О благодетель!.. Вот люблю! Уважаю! – с

горячей благодарностью кинулся Поплюев, пожимая ему руки. – Гей, майор! Вина сюды! Хочу пить тост за господина гвардии корнета! И пуцай при этом валяют из всех фальконе-тов! Салют в честь дорогого гостя и друга!.. Живо!.. Да вот что еще, – приказал он, остано-вив в дверях своего майора, – захвати-ка по-ходный погребец и подарки для отца архи-мандрита: двух жеребцов упряжных с моей конюшни, коляску, ту, что ему понравилась, четыре ковра... Мало? Пятый давай! Да еще салфеточных и скатертных полотен дюжину с нашей фабрики... А для братии бочку меда кати! Всё взять с собой! Да гляди ж ты, живей!

Не прошло и часу, как майор доложил, что все уже готово и экипажи ждут у подъезда. Прохор Поплюев уселся в свою парадную рас-писную карету вместе с Череповым и двумя дворянами, остальные разместились по раз-ным экипажам и под эскортом[126] конных карабинеров да гусар длинным поездом вы-ехали из усадьбы. Впереди всех красовался все тот же майор на горбоносом дончаке, а за ним восемь карабинеров, по четыре в шерен-гу, которые с бубнами и тарелками отхваты-

вали любимую поплюевскую песню:

*Варварушка!  
Сударушка!  
Не гневайся на меня,  
Что я не был у тебя.*

Остальные эскортеры ехали по два по бокам каждого экипажа и время от времени палили из пистолетов, отчего упряжные лошади нередко закидывались в стороны, – обстоятельство, доставлявшее немалую потеху всем вообще путникам. Для этой-то потехи, собственно, и производилась пальба. В заключение кортежа четыре конюха вели под уздцы двух подарочных жеребцов, затем ехали подарочная коляска и, наконец, две подводы, из которых одна нагружена была тоже разными подарками, а другая вмещала в себя походный погребец[127], запас вин и закусок да еще бочку меда для монастырской братии.

Софрониевский монастырь, где игуменствовал отец архимандрит Палладий, столь обиженный Прошкой Поплюевым, отстоял верст на восемь от усладовской усадьбы. Торжественное покаянное «шествование» усладовского барина подвигалось вперед не осо-

бенно спешно, так как ехали большей частью шагом. Путники наши не добрались еще и до половины дороги, как настал уже вечер. Карабинеры позажигали смоляные факелы, а в передовом отряде время от времени жгли фальшфейеры[128] и пускали ракеты. К счастью кающегося грешника, поезд его успел добраться до монастыря как раз в то самое время, когда привратник совсем уже было собирался замыкать на ночь святые ворота. Звуки «Варварушки-сударушки» и пушечные выстрелы, конечно, смолкли еще по крайней мере за версту от обители, так что торжественный поезд вступил на монастырский двор в полном молчании, которое время от времени нарушалось только шипением взвивавшихся ракет да распеканиями строгого майора.

Парадная карета Поплюева остановилась против домика, занимаемого отцом Палладием, и монастырский двор, словно заревом, озарился весь багровым светом пылающих факелов. Между монашествующей братией поднялся переполох необычайный. Кто в чем попало выскакивали монахи из келий, не по-

нимая, что бы могло значить внезапное появление в их мирной обители какого-то странного кортежа с вооруженным эскортом, факелами и ракетами. Иные в смятении думали, что уж не горят ли где монастырские строения, другие же опасались, что к ним нагрянуло нашествие иноплеменных, а кто и просто-напросто слезно вопил, что это-де второе пришествие настало.

Игуменский служка выбежал на площадку узнать, в чем дело и что за смятение такое в обители?

Майор сейчас же объяснил ему, что приехал-де сам Прохор Михайлович Поплюев вымаливать у отца архимандрита пастырское прощение за свой великий грех и привез-де с собой такие-то и такие-то подарки для его высокоблагословенства.

Обстоятельно выслушав это, служка юркнул в дверь игуменской кельи и минут через пять возвратился с объявлением, что отец архимандрит гневаются и ни за что не желают принять господина Поплюева.

Тогда огорченный Прошка вылез из кареты, кинул наземь шапку и опустился среди

двора на колени.

– Отче! Согреших на Небо и пред тобою! – воздев кверху растопыренные руки, искренно вопиял он в полный голос, с самым жалостным видом, и все свои слезные вопли сопровождал земными поклонами. Это покаяние длилось минут десять по крайней мере, пока-то наконец в одном из архимандричьих покоев раскрылась форточка, и в ней появилась торжествующая физиономия отца Палладия.

– Ага, сударик, пожаловать изволил! – заметил он кающемся.

– Батя!.. Прости!.. Разреши, голубчик!.. Согреших окаянный! – взывал, кланяясь, Прошка.

– То-то «согреших»!.. А давеча что?! Проси, паршивая овца, в стаде Христовом! Проси! Говори: «Сотвори мя яко единого от наемник Твоих».

– «Сотвори мя яко единого от наемник Твоих», – жалостно повторил за ним Прошка, воздевая руки.

– А собаками будешь травить?

– Пьян был, батя! Ей-же-ей, пьян!.. Все горя-

честь моя виной!.. А ты меня жупелом[129] за это... Позволяю!.. Хоть канчуками[130] валяй – слова не скажу! Только разреши ж ты меня!

– То-то «канчуками»!.. Ну да уж так и быть! Гряди семо, сын геенны! Бог с тобой! А уж я было и прошение настрочил на тебя! Все пункты намаркировал[131]!.. Да уж и такое ж прошение-то! Не жить, да и только!.. Ну да Господь с тобой, коли просишь и каешься... Я не памятозлобен. Ступай сюда и с честной компанией – гостями будете.

Было уже далеко за полночь, когда поплюевский кортеж двинулся в обратный путь. Но уж стреляли ль на этом пути из пистолетов, жгли ль фальшфейеры, пели ль «Варварушку», пускали ль ракеты, того ни Черепов, ни Поплюев, ни кто-либо из гостей его уже решительно не мог себе припомнить, а на следующий день едва только после полудня Черепов успел выбраться в свою усадьбу из гостеприимной Усладушки.

## VII. Перемена декорации

Ознакомясь кое-как в течение одних суток со своим новым хозяйством, Черепов возвратился в Любимку, где к этому времени граф Харитонов-Трофимьев совсем уже изготовился к отъезду. Но Любимка, этот забытый, одинокий и всеми обегаемый уголок, была теперь неузнаваема. Взглянув на то обилие экипажей, кучеров и выездных гусаров, которое застал Черепов во дворе усадьбы, можно бы было подумать, что граф Илия задает пир на весь мир и что к нему со всех сторон съехались многочисленные друзья и приятели. Это действительно так и было, хотя никакого пира он не задавал и никаких друзей не рассчитывал у себя видеть по той весьма простой причине, что таковых он не имел между окрестными дворянами. Тем не менее именно эти-то самые окрестные дворяне и наполняли теперь скромные приемные покои графа Харитонova-Трофимьева. Тут застал Черепов и отца архимандрита, и двух соборных протопопов[132], бронницкого и коломенского, равно как и двух исправников[133] и двух



предводителей дворянства тех же уездов и многих из тех дворян, с которыми третьего дня экспромтом пировал он у Прохора Поплюева. Даже и сам Прохор, окончательно истрезвившийся, раздушенный, припомаженный и напудренный, предстоял тут наряду с другими и, по обыкновению, добродушно улыбался своей кислотовато-бабьей улыбкой. Все эти гости присутствовали здесь либо в форменных мундирах, либо в самых нарядных своих кафтанах. Черепов не знал, чему и приписать столь блистательное стечение всей этой публики – мужчин и дам, юношей и старцев, но недоумение его разрешилось очень скоро, когда Прохор Поплюев объяснил ему, что весть о случае графа с замечательной быстротой успела распространиться в ближнем и дальнем околотках[134] еще третьего дня и что все сии дворяне и чиновные особы поспешили теперь явиться в Любимку не за чем иным, как «единственно токмо в рассуждении решпекта и поздравления графа с толикой монаршей милостью».

– Да ведь они же его знать не хотели?! – с невольной улыбкой, оглядывая всю эту ком-

панию, вполголоса заметил Прохору Черепов.

– То было время, ноне другое, – отвечал тот, потупясь. – То был человек в забвении, ныне стал в силе. Кому чинишко, кому крестишко исхлопочет, кому детишек в кадетский корпус на казенное иждивение определит, о ком в Сенате[135] по тяжбе слово замолвит – все это, государь мой, надлежит принимать в тонкое соображение; надо наперед человека задобрить, чтобы он свой-то стал.

– И что ж, все эти господа мнят себе, что граф не сообразит или не догадается о том, каковы побуждения руководствуют ими в сем пресмыкании? – спросил Черепов.

– И-и, полно! Чего там! – махнул рукой Прохор. – Все мы это отменно понимаем, но уж на том жизнь стоит. Да вот хотя бы я, к примеру, – продолжал он, еще более понизив голос. – Ныне богат я, банкеты задаю, фестиваль торжествую, и все ко мне на поклон стекаются, а прогори я – ну-ка! – да ни единой души во веки веков не залучишь! Обегать будут, узнавать не станут! И я это хорошо понимаю, но что ж поделаешь? Такова уж, сударь, фило-

зофия нашего века.

Но как постигались спины, как закивали головы, какие улыбки заиграли на лицах, какие приветствия полились из уст всех этих дворян, иереев[136] и чиновников, когда граф Харитонов-Трофимьев в траурном простом кафтане без всяких украшений появился между своими гостями! Ни один мускул не дрогнул на его спокойном лице, которое и теперь, как всегда, хранило печать строгой простоты, самодостойнства. Он не показал всем этим господам ни своего торжества над ними, ни тени кичливости счастливой переменой своей судьбы, равно как не выказал перед ними и особой угодливости. Он, как и Прохор Поплюев, понимал, что «такова уж философия нашего века», и потому нисколько не удивился появлению этих практических «философов» в своей тесной гостиной, даже нимало не возмущился в душе переменой их поведения в отношении к самому себе. «Все сие так есть, и всему тому так и быть надлежало». Эту мысль можно было прочесть в его глазах, когда он молча, спокойно и вежливо выслушивал льстивые поздравления, пожелания и

изъявления радости, преданности и тому подобногo.

– Уж позвольте нам, ваше сиятельство, – подобострастно говорили ему соседи и чиновники, – уж позвольте быть в надежде, что вы, при таковой близости к трону, не забудете иногда своими милостями и нас, маленьких людей!.. Ведь мы с вами, так сказать, свои, все сограждане, все земляки, одноокружники, все коломенские, соседи-с! Уж мы за вами, как за столпом гранитным; вы наш якобы природный защитник и покровитель... И ежели когда в случае чего, то уж позвольте надеяться!

– Господа, – отвечал им граф, – ежели государю императору благоугодно будет доверить мне какую-либо отрасль в управлении, то не токмо что землякам и соседям, но и каждому человеку, кто бы он ни был, я всегда окажу всякое доброе содействие, коли то не противно будет истине и справедливости. Всяк, кто знает меня, знает и то, что это не пустое с моей стороны слово.

– Может, ваше сиятельство, в прошедшем ежели изволили иметь какой-либо повод к неудовольствию против кого-либо из нас, –

начал было коломенский исправник, – то поверьте, как пред истинным...

– Оставьте, – перебил его граф, – пренебрегите сим и не мыслите более такового. «Кто старое помянет, тому глаз вон», – прибавил он с улыбкой и переменял тему разговора.

Ласково и даже дружески обратился он к Черепову, расспрашивал, хорошо ли ему съездились в свое именье, каково нашел местность, дом, усадьбу и все хозяйство, каково мужики его встретили.

– А вот я, сударь, – сообщил ему граф, – даже днем ранее данного мне срока совершенно уже изготовился к отъезду.

– Итак, стало быть, когда же вам угодно отъехать? – спросил Черепов.

– Да ежели вам то не вопреки, то думал бы даже сегодня; препятств ни с моей, ни с дочерней стороны никаких к тому нет.

– А я и тем паче, со всей моей охотой, – поклонился ему гвардеец.

После наскоро изготовленного завтрака, к которому радушно были приглашены все понаехавшие нежданные гости, граф с дочерью отслушал напутственный молебен, отслужен-

ный причтом[137] его сельской церкви, и стал прощаться с дворовыми. Эти люди, с которыми неразлучно прожил он столько лет в своем уединении, казались искренно тронутыми: и граф, и его дочь не раз почувствовали на своих руках горячие капли слез, когда они подходили прощаться. На дворе ожидала большая толпа крестьян – мужики и бабы, от мала до велика – все население любимковского села; даже убогая слепая старуха и та притащилась с клюкой «проститься со своими боярскими». Впереди этой толпы, окруженной всеми любимковскими стариками, стоял староста и держал на блюде, покрытом узорчатым полотенцем, большой пшеничный каравай – хлеб-соль от крестьян на счастливую дорогу.

Граф уже на крыльце перецеловался, по обычаю, со всеми стариками, снял шапку остальной толпе, откланялся еще раз своим гостям и уселся с дочерью в широкий дормез [138], запряженный целой шестеркой откормленных и веселых коняшек. Целый обоз тронулся вслед за графским дормезом: тут были и кибитки с ближайшей прислугой, которая



при господах отправлялась в Петербург, и несколько саней с тюками, сундуками и чемоданами, со всевозможной поклажей, с домашней рухлядью и съестными запасами. Кроме того, поезд этот увеличивался еще экипажами понаехавших гостей, которые со всеусердием пустились провожать «новослучайного вельможу» до первой станции, а местные власти простерли свое усердие даже до того, что проводили его до самой границы коломенской округи и никак не хотели удалиться от него ранее сей черты, несмотря на то что граф несколько раз просил их не беспокоиться ради него понапрасну.



## VIII. По дороге



**В** Москву приехали под вечер и остановились в Басманной, в большом, но запущенном доме, принадлежавшем графу Илие.

Здесь уже все было готово к приему, так как граф еще заблаговременно отправил сюда нарочного с извещением о своем предстоящем приезде. Холодные комнаты были вытоплены, прибраны и освещены, когда графский дормез подкатил к крыльцу, украшенному двумя гранитными львами. Прислуга, на попечении которой постоянно оставались покинутые хоромы, встретила наших путников в сенях, облаченная в свои давно уже не надеванные ливреи, со знаками всего почтения, какое подобало в настоящем случае по старинному этикету.

Черепов, не желая стеснять собой, хотел было стать по соседству на одном из ближайших подворий, но граф, узнав о его намерении, не допустил этого.

– Чтой-то, сударь, помилуй! – говорил он ему с дружеской укоризной. – Комнат, что ли, нету?! Все уж заранее для тебя приуготовлено, целый апартамент особливый; да это и мне-то, старику, в стыд бы было, коли б я от своего дома да пустил тебя по подворским номерам притыкаться.

Намереваясь завтрашним утром пораньше

тронуться в дальнейший путь, граф переделался в свой мундир и, несмотря на вечернюю пору, поехал представляться к своему бывшему знакомому, престарелому генералу Измайлову, который в то время главнокомандовал над Москвой. Экстренность случая могла служить достаточным объяснением экстренности вечернего визита.

Москва уже знала о смерти Екатерины и спешила по всем приходским церквям присягать новому императору.

Старик Измайлов, до которого тоже успела дойти быстролётная молва об особливом случае графа Харитонова, встретил его самым дружеским образом. Он добродушно рассказал, в какой испуг был приведен вчера вечером, когда к нему во двор нагрянул вдруг целый отряд кавалергардов из Петербурга; думал было, что уж не брать ли его приехали под арест да в крепость, ан оказалось, что кавалергарды присланы от «печальной комиссии» за государственными регалиями, хранимыми в Москве, кои теперь потребны в процессию к погребальной почести и отправлены нынешним утром по назначению. Рассказа-

зал также старик и о том, что носят тревожные слухи о многих реформах, затеваемых императором, что он повелел освободить из заточения известного Москве Новикова, Трубецкого[139] и всех мартинистов и франкмасонов[140], предписывал возвратить из Сибири Радищева[141], сам посетил в Петропавловском каземате главного польского бунтовщика Тадеуша Костюшку[142] и сам освободил его при этом, а господину Московского университета куратору[143] Хераскову, «яко старейшему из наших стихотворцев и славнейшему пииту[144]», пожаловал чин тайного советника, и что вообще, по слухам, везде и по всему большие перемены воспоследуют. Добродушный старик хотя и подхваливал при своем рассказе и то и другое, но все-таки было заметно, что перемены тревожат его втайне и что, пожалуй, по-старому все было бы и лучше, и покойнее.

Часа три, по крайней мере, продержал Измайлов у себя графа Харитонова, беседуя с ним наедине в своем кабинете о разных политических материях, нарочито важных по текущему времени, а графинюшка Лизутка в

ожидании отца сидела пока в гостиной со своей старой нянькой. С дороги ли, с морозу или с чего другого свежие щеки ее рдели ярким румянцем и глаза играли несколько лихорадочным блеском. Во всех движениях девушки порой проявлялось нечто нетерпеливое и порывистое: то она задумывалась о чем-то и становилась рассеянной или чересчур уж сосредоточенной, то вдруг вдавалась в совершенно безграничную веселость и начинала тормошить Федосеевну, покрывая со смехом все лицо ее своими быстрыми поцелуями, то принималась торопливо ходить по комнате, как бы ожидая кого-то, но, не дождавшись, кидалась вдруг в кресло и, запрокинувшись на подушку, снова погружалась в тихое и мечтательное раздумье.

– Мамушка, а что я тебе скажу... Ты не рассердишься? – подняв с подушки головку, обратилась она вдруг к няньке после глубокого молчания и покоя, длившегося несколько минут без перерыва.

– Чего мне сердиться? – ответила та, перебирая свои чулочные спицы.

– Мне бы хотелось... Нет, да ты не рассер-

дишься?

– Да ну тебя, графинюшка! Чего ты и всамделе.

– Как бы, мамушка, поглядеть, что офицерик наш делает! – отчасти со смущенной улыбкой, отчасти же наивно, но, во всяком случае, не без девичьего лукавства проговорила Лиза.

– Кто-о? Офицерик? – удивленно подняла на нее Федосеевна свои взоры. – Тебе-то что до его?

– Ах, мамушка, он мне очень нравится... Такой красивый, право, да бравый такой!

– Ну да, болтай еще!.. Чему в ем нравится? Мужчина как мужчина, таков же, как и все, с руками, с ногами, костяной да жильный.

– Ан не таков!.. Я таких-то еще и не видывала, коли ты знать хотела! – задорно и весело поддразнила ее Лиза.

– Увидишь и лучше, ништо тебе! Время-то будет еще, – зевая и крестя рот, апатично заметила старуха.

– Да я теперь хочу его видеть.

– Мал ль чего нет!.. Ишь ты!

– Мамушка! Голубушка! – вскочила вдруг

Лиза с кресла и ласково бросилась к няньке. – Ужасно скучно мне... Просто такая скука, что одурь берет... С чего – и сама не ведаю... Знаешь что... Сходи-ка ты да погляди, что он делает, и коли ничего не делает, то позови сюда его...

– Что ты, что ты, шалая!.. Христос с тобой! Вот выдумщица-то! – замахала на нее нянька своими спицами.

– Не хочешь?... Ну, так я и сама пойду! – бойко и решительно отклонилась от нее девушка.

– Лизутка!.. Ей-богу, графу скажу, – пригрозила Федосеевна. – Погоди, ужотко будет тебе, как приедет...

– Да что ж тут дурного-то?... Мамушка! Подумай! Ведь мне со скуки только поболтать охота.

– Ну и болтай, коли хочется.

– С кем это? С тобой, что ли?

– Ну и со мной болтай.

– Ах, мамушка, да уж мы с тобой-то всё ведь выболтали, всё до чуточки...

– Ну, коли всё, начинай сначала.

– Чего это? Болтать-то сначала? Да ведь с

тобой скучно!

– Ну и поскучай маленько.

– Поскучай! Так так-то ты меня любишь?! – с укором положила Лиза руки на плечи старухи.

– Ну, чего пристала, графинюшка? – начала та оправдываться. – Ну, коли хочешь знать, так его и дома-то нетути, офицера этого; еще давеча на почтовый двор поскакал заказать, чтобы на утрие под графа лошади с Ямской были, да и вперед-то по дороге надоть кулъера спосылать ему, чтобы там на всех станках под наш вояж подставы готовились. Мало ли ему делов да хлопот-то! Он ведь не до вашего сиятельства, а по царскому приказу действует! Есть, вишь, ему время с тобой тут турецкие разводы разводить! Как же! Дождидайся!

Лиза надула губки и, по-видимому, успокоилась. Но не прошло и пяти минут, как из смежной залы в открытую дверь слышались быстрые шаги, сопровождаемые звуком шпор. Графиня Лиза вздрогнула и насторожилась.

В открытой двери показался Черепов. Не



ожидаая встретить тут девушку, он на минуту невольно замедлился в проходе в гостиную, в нерешимости, идти ли далее, вернуться ли назад.

– Войдите, сударь! – предупредительно пригласила его Лиза. – Вам, верно, батюшку надо?

– Да, я хотел доложить графу, что у меня все уже распоряджено и готово на завтра к отъезду, – сообщил Черепов.

– Он еще не вернулся... Коли угодно, то подождите его здесь, посидите с нами, буде то вам не в скуку.

Старая Федосеевна только взгляд один кинула на свою воспитанницу, удивляясь ее бойкости. «Ишь ты, стрекоза! И откуда что вдруг взялося!» – ясно говорило выражение ее лица, которому в эту минуту она старалась придать нечто строгое и недовольное.

Черепов не заставил повторять себе любезного приглашения и свободно вошел в гостиную, где был прошен садиться, вследствие чего и поместился на золоченом стуле в должном и почтительном расстоянии от молодой хозяйки. Завязался разговор. Лизу

очень интересовал Питер и его быт: как там живут и что делают и какие там дома, какие улицы – такие ль, как в Москве, или лучше, красивее? Что это там за двор, балы, куртаги [145], феатры, маскарады, гвардия, министры? Какие там светские дамы и девицы и что у них за наряды, что за моды? Все это, доселе еще невиданное и почти неслыханное ею в сельской глуши, представлялось ее воображению чем-то блистательным, почти сказочным, все это манило ее своим радужным блеском и в то же время как будто пугало ее душу. Черепов охотно отвечал на все вопросы девушки и, с удовольствием любуясь на ее красивое оживленное личико, рассказывал как умел все, что знал об интересовавших ее предметах. И Лиза слушала его с жадным интересом и думала про себя о Черепове: «Какой он в самом деле добрый и хороший и как он все это любопытно и занимательно рассказывает!» Даже нянька Федосеевна и та заслушалась его рассказами, хотя и не переставала по временам кидать на него из-за своих спиц недоверчивые взгляды. Часа через два, когда вернулся от Измайлова граф Илия, подан был

ранний ужин, после которого все разошлись на покой ввиду завтрашнего раннего отъезда.

... По дороге в Петербург, проезжая деревнями и селами, путники наши нередко встречали на сельских улицах и площадях пред церквами толпы крестьян, которые то шли к присяге, то возвращались от нее, то собирали промеж себя свои мирские сходки и толковали о смерти царицы да о переменах, про что и до них уже успели дойти кое-какие слухи и вести. Сказывали между крестьянами, что отныне уже не будет новых рекрутских наборов [146], и даже последний набор приказано-де распустить по домам, потому что новый царь не хочет никакой войны, не желает для себя никаких приобретений, а намерен беречь своих людей и соблюдать свое государство. Толковали также, что хлеб будет дешевле прежнего [147], что раскольников не станут гнать и дозвоят им открыто отправлять все свои духовные обряды и требы и что крепостным людям в скором времени полная воля выйдет, что царь очень доступен всем и каждому, что кто хочет, тот и волен идти прямо к нему с прошением о своих нуждах, о притес-

нениях ли от господ и начальства и что царь кладет на все такие прошения суд скорый и строгий: «Коли начальство аль господин виноват, сразу взыщет и на лицо не посмотрит, а коли челобитчик неправо просит, то берегись: за сутяжество худо будет».

Все эти вести и новости разлетелись в народе с необычайной быстротой через тех проезжих курьеров из Петербурга в Москву и иные города, которые никогда еще доселе не ездили по России в таком количестве и так быстро, как в эти первые дни воцарения императора Павла. Московско-Петербургский почтовый тракт по преимуществу был поприщем этих курьеров, едва лишь на несколько минут делавших остановки на почтовых станциях для перемены лошадей, где каждого такого гонца старались принять как можно ласковее и угостить чем ни есть получше, лишь бы только выведать от него какую-нибудь петербургскую новость. В этом отношении в особенности старались станционные смотрители, сельские старосты и бурмистры [148], попутные помещики, деревенское духовенство и земские заседатели [149]. Нередко и

толпы крестьян осаждали стационарные дома в ожидании курьерских новостей, которые с Московского тракта разносились молвой все далее и далее, в заповедные глубины русских весей и дебрей. Этим курьерам в глазах народа в особенности придавало значение то, что их подорожные были подписаны самим наследником престола, великим князем Александром Павловичем[150].

На другой день своей дороги наши путники обогнали оригинальный поезд. Графиня Лиза в особенности заинтересовалась никогда еще не виданным ею зрелищем и долго глядела на него, высунувшись из каретного окошка. По дороге ехал на статных, породистых конях отряд блестящих всадников, в стальных доспехах, в сияющих шлемах со страусовыми перьями, в красивых кирасах [151] и налокотниках, с обнаженными палашами[152] в руках, а посреди этой толпы, которая казалась Лизе кавалькадой древних рыцарей, ехали пышно убранные дроги[153], где стоял длинный ящик, обитый драгоценной парчой. В нем были заключены государственные регалии, которые под эскортом кавалер-

гардов перевозились теперь в Петербург для погребальной церемонии. Этих-то самых кавалергардов и испугался в Москве престарелый Измайлов, когда они неожиданно нагрянули к нему в дом чуть не целым эскадроном.

В течение этого путешествия Василий Черепов иногда целые станции ехал в одной карете вместе с графом и Лизой. Когда, бывало, графу станет скучно глядеть по дороге на однообразные, покрытые снегом равнины и перелески, а между тем ни дремать, ни читать не хочется, он останавливал экипаж и приказывал подбегавшему Аникеичу достать обыкновенно дорожную флягу венгерского вина да каких-нибудь лакомств и звать господина гвардии корнета: не угодно ли, мол, позабавиться различными лакомствами от дорожной доуки?

Гвардии корнет, зная, что увидит еще один разок хорошенькие глазки и светлую улыбку графинюшки, обыкновенно с большой охотой принимал эти приглашения, выскакивал из своего возка и подходил к раскрытому окошку дормеза, благодаря графа за его любезное к нему внимание.

Здесь он по большей части получал приглашение пересесть, не стесняясь, в графский экипаж, буде на то есть охота, чтобы поболтать малую толику о том о сем пока до станции, и Черепов пересаживался на переднее сиденье, рядом с нянькой Федосеевной. Тут иногда поднимался какой-нибудь разговор, граф либо расспрашивал про петербургские порядки прошлого царствования, либо предавался обсуждению разных дорожных слухов о столичных событиях и переменах последних дней, делал различные планы и предположения, что из всего этого может произойти и впоследствии и какой блеск ожидает в будущем наше счастливое Отечество при таком начале царствования нового монарха, либо же, наконец, переходил к воспоминаниям о своем прошлом времени, о дворе Елизаветы и Петра III, о жизни, лицах и отношениях того давнопрошедшего времени. Графиня Лиза, эта единственная и потому балованная дочь опального вельможи, часто вмешивалась в разговоры своего отца и тоже строила свои полудетские радужные планы и предположения о его будущности, не раз вызывавшие на

уста старика добрую и задумчивую улыбку. Иногда граф, убаюканный мягким качаньем дормеза, начинал дремать, причем обыкновенно ему вторила и старая Федосеевна; разговор при этом, конечно, прекращался, и молодые люди, оставленные благодаря дремоте стариков как бы наедине и чувствуя каждый такую близость друг к другу, начинали испытывать в душе то приятное, сладкое, хотя и несколько неловкое смущение, которое всегда посещает в подобных обстоятельствах молодые сердца и является как бы предвестником невольно зарождающегося сближения и чувства. Они молчали, притаив дыхание и даже избегая встречи взорами, но глаза их все-таки встречались порою, и в это мгновение каждый из них мог прочесть во взоре другого какую-то внутреннюю пытливость, обращенную на него и озаренную светлым лучом ожидания и надежды на что-то теплое и хорошее, что как будто ожидает, манит и непременно должно сбыться в их будущем.

Таким образом, в течение пяти суток дороги старый граф и его дочь настолько успели привыкнуть к Черепову и сблизиться с ним,



что стали считать его как бы совсем своим домашним человеком, совсем добрым, старым и хорошим знакомым. Граф Илия, привыкший в течение долгих лет своей опалы к жизни «по простоте» и к совершенно простым, непосредственным отношениям к окружающим его людям, от души полюбил молодого гвардейца и просил не забывать его дом и в Петербурге.

– Иди, сударь, ко мне за чем ни понадобится; чем богат, тем и рад для тебя буду. Человек ты, вижу, хороший, и мне по нраву пришел, – сказал он Черепову на последней станции.

Его дочь ничего не промолвила при этом, но зато взглянула на молодого человека таким хорошим взглядом, что нетрудно было угадать и в ее глазах не только желание видеть его почаще, но даже как бы приказание и полную уверенность в том, что он непременно должен и будет бывать у них в доме.

Едва графский поезд приблизился к заставе, как пред ним опустился полосатый шлагбаум, и дормез поневоле должен был остановиться ввиду этого неожиданного препятствия. Здесь к экипажному окошку подошел

дежурный унтер-офицер в новой форме по прусскому образцу и осведомился об имени и звании проезжающих.

– Что за остановка? В чем дело? – выпрыгнув из своего возка, крикнул Черепов.

– Позвольте, ваше благородие, чин, имя и фамилию, – доложил ему дежурный. – Надо знать, кто такие проезжающие.

– Да зачем тебе это надо?

– Так приказано. Новый приказ такой вышел, чтобы не пускать ни в Питер, ни из Питера без прописки на заставе. Пожалуйста в караульный дом расписаться в книжке.

Черепов вошел в караулку и отметил в шнуровой тетради, что такого-то числа, в три часа пополудни, в столицу въехал по именному государя императора повелению генерал-майор граф Харитонов-Трофимьев с дочерью и в сопровождении курьера такого-то.

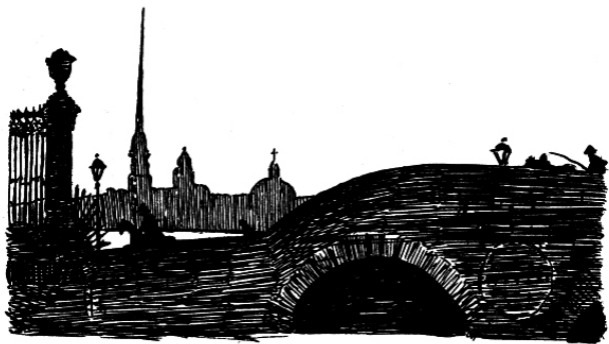
– Подвысь! – крикнул дежурный часовому, стоявшему у заставы.

И полосатый шлагбаум медленно поднялся пред экипажем графа.

Караул тотчас же выбежал вон на платформу и по уставу отдал въезжающему гене-

ралу достодожную воинскую почесть, которую столько уже лет никто нигде не отдавал опальному графу.

## IX. Петербург того времени



**В**се великолепие города Петербурга в 1796 году сосредоточивалось в очень ограниченном и небольшом пространстве между Дворцовой набережной, которая известна была под именем «Сюрлеке» (Sur le quai), Луговой, Миллионными, обеими Морскими и Невским проспектом от Полицейского до Аничкина моста[154]. Центр города составляли

окрестности Зимнего дворца, но и в этой лучшей части Петербурга высоких, трех- и четырехэтажных, каменных домов было очень немного. Почти все каменные дома покрывались черепичными кровлями и строились не выше как в два этажа или в один этаж с подвальным жильем, значительно углубленным в землю. Хотя на Морских и Миллионных да на помянутом пространстве Невского проспекта деревянных построек почти уже вовсе не существовало или же таковые являлись как редкое исключение, но зато во всех прочих улицах каменные здания составляли едва лишь десятую часть в общем итоге жилых построек; остальные же дома были все деревянные, редко в два этажа, а все более с мезонинчиком и с палисадником перед окошками. В настоящее время на Невском проспекте сохранились в прежнем своем виде дом Васильчикова, где помещается «Английский магазин», уже около столетия существующий на одном и том же месте, дом Коссиковского (что ныне Елисеев) у Полицейского моста, тогда еще *новый* и принадлежащий князю Куракину, дом графов Строгановых, известный в те

времена под именем палаццо (palazzo), дом католической церкви и Гостиный Двор. Все же прочие дома теперь уже либо сломаны, либо надстроены, так что от прежнего в них и следа не осталось. На Итальянской улице, против Михайловской площади, на правой стороне стояли частью каменные, частью деревянные постройки, а по левой, во всю длину улицы, тянулся каменный забор, который ограждал собой «дворцовый огород», принадлежавший к Летнему саду.

На Литейной и Владимирской, в Конюшенных, в Троицком переулке, в Моховой и окрест лежащих улицах, равно как в Малой и Средней Мещанских, в Подъяческих, на Вознесенском и Екатерингофском проспектах – каменный дом, принадлежавший частному лицу, являлся уже редким исключением. Здесь тротуары заменялись деревянными мостками, и мостовые вполне могли назваться убийственными. Части же города, известные и тогда, как теперь, под названием Московской, Рождественской и Коломны, были сплошь обстроены деревянными домами и вовсе не имели мостовой, а Козье болото в Ко-

ломне являлось действительно болотом непроходимым, смрадным и покрытым зеленой тиной. Таких болот в тогдашнем Петербурге было несколько: по Лиговке, в Грязной (ныне Николаевская), на Новых местах и за Каретным рядом, где в наши дни возвышается столько громадных и великолепных зданий. Васильевский остров по набережной Большой Невы сохранился и поныне почти в тогдашнем виде; но во всех остальных частях, за исключением Первой и Кадетской линий, он весь напоминал те окраины своих отдаленных линий за Малым проспектом, какие недавно еще можно было видеть в окрестностях Чекуш и Смоленского кладбища.

Что же касается Песков, Петербургской и Выборгской сторон, то их лучшие улицы напоминали самые плохие уездные городишки, а Ямская представлялась настоящей деревней. Каменных церквей в городе было очень немного, и великолепными могли назваться только Александро-Невская лавра да собор Смольного монастыря. Казанский же собор был еще деревянным низким строением, выкрашенным желтой краской, с высокой

деревянной колокольней. Собор Исаакиевский, далеко еще не достроенный, представлял собой какую-то мрачную массу, без всякой архитектуры. Адмиралтейский шпигель [155] со своим корабликом хотя и существовал, но башню его еще не окружали колонны и статуи, да и самое здание Адмиралтейства было низко, не оштукатурено и, не вмещая в себе никакого жилья, служило единственно складочным местом для кораблестроительных материалов. Водяной ров и прямолинейные земляные валы с трех сторон окружали это здание там, где теперь красуется бульвар Адмиралтейский. На месте нынешнего Инженерного замка стоял еще окруженный липами Летнего сада деревянный Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны [156]. Александрьевский театр, известный тогда под именем *Малого*, представлял собой низкое и безобразное здание вроде сарая, без всякой архитектуры, а *Большой* театр, гораздо ниже нынешнего и не украшенный еще портиком, тоже походил скорее на складочный казенный магазин, чем на храм искусства.

Дворцовую площадь окружали дома част-

ных владельцев, между которыми отличался дом Кушелева, построенный полукругом, на месте нынешнего Главного штаба. Арка тогда еще не существовала. Этот дом являлся для Петербурга своего рода Пале-Роялем[157], где помещались и лучшие лавки (слово «магазин» при Павле было запрещено на вывесках), и лучшие трактиры, и маскарадная зала Фельета[158], и Немецкий театр[159].

В Петербурге было тогда несколько театральных трупп: русская, французская, немецкая, итальянская опера и некоторое время даже польская труппа, существовавшая под управлением антрепренера Кажинского[160]. На русской сцене *Малого* театра, где давались трагедии, комедии, водевили и оперы, блистали тогда трагик Яковлев и трагическая актриса Екатерина Семенова, комики Бобров, Рыкалов, Воробьев, певцы Самойлов[161] и Гуляев, певица Сандунова. В балете отличались Дюпор, европейская знаменитость того времени, и не менее знаменитый Опост, балетмейстер Дидло и танцовщицы: Колосова, Данилова, Иконина. В итальянской опере приводила в восторг меломанов примадонна



Маджолетти, а теноры Пасква и Ронкони, буффо Ненчини и Замбони почитались первыми в Европе. Французский театр тоже процветал в царствование Павла, несмотря на все предубеждения императора против Франции. На французской сцене в особенности отличалась m-me Шевалье (сестра танцовщика Опоста). Она занимала первые амплуа в комических оперетках и блистала своей игрой и пением, а главное, что делало ее особенно сильной в разных столичных мирках, это ее близость к Кутайсову, который был ее безусловным поклонником. К ней прибегали за протекцией, просили о местах и пособии. Муж ее сидел в передней и докладывал о посетителях, которых жена принимала как королева. Одно слово ее Кутайсову, записочка Кутайсова к генерал-прокурору или другому сановнику – и дело решалось тотчас же.

Француз Фельет в громадных своих залах давал публичные маскарады, посещаемые всем высшим сословием и нередко даже членами царской фамилии. За вход в фельетовский маскарад, равно как и за места в театральных партерах, куда ходила вся молодежь

лучших фамилий и все гвардейское офицерство, взималось тогда по одному рублю медью. В этих маскарадах можно было и поужинать, причем, например, жареный рябчик стоил 25 коп. медью, а бутылка шампанского – два рубля, обыкновенное же столовое вино весьма порядочного сорта от 40 коп. до полтины за бутылку.

Лавки кушелевского дома были переполнены французскими и английскими товарами, которые тогда продавались необыкновенно дешево; поэтому панель перед нашим петербургским Пале-Роялем служила излюбленным местом прогулок для тогдашних щеголих и модниц, у которых здесь под рукой было все, что лишь могла предоставить им самая изысканная мода.

За исключением набережных и Дворцовой площади, тротуаров в городе не было, а каменные мосты существовали только на Екатерининском канале в том виде, как и теперь, да на Фонтанке, где они все были подъемными и наружным видом походили на Чернышов мост, существующий и до сегодня. Мосты же на Мойке, то есть Полицейский, Красный,

Синий и Поцелуев, были деревянные, и из них два средние получили название от цвета своей окраски. Многие улицы весной и осенью были почти непроходимы, а на других лужи не просыхали в самое жаркое лето. На этих улицах зачастую паслись коровы и расхаживали свиньи вместе со всякой домашней птицей. По ночам стаи бездомных собак бродили около рынков, нарушая покой обывателей своим вытьем и лаем, далеко разносившимся по окрестности. За исключением центра города по всем остальным улицам порой просто не было проходу от оборванных мальчишек, которые устраивали здесь свои игры в городки и бабки.

Эти мальчишки вжимали своего рода копеечную контрибуцию с чисто одетых прохожих, которые в противном случае рисковали быть забрызганными грязью. На повороте с Невского проспекта во Владимирскую помещался *Обжорный ряд*, где целыми рядами сидели торговки с хлебом, пирогами, жареным и вареным мясом, русаками и рыбой. Весь рабочий люд толпился тут непременно по два раза в сутки, обедая и полдничая на вольном

воздухе. У Синего моста тоже постоянно толпились люди обоего пола и различных возрастов вместе с рядчиками[162], дворецкими и приказчиками. Здесь производились наймы прислуги и рабочих, а также купля и продажа в вечное и потомственное владение. Одним словом, Петербург *показной*, Петербург, щеголявший европейскими нравами и перенимавший европейские привычки, группировался только в «чистой» части города, то есть около дворца, на Морских, на Миллионных да на Невском до Аничкина моста; остальной же весь Петербург жил по старине и деревянной наружностью своей нимало не походил на европейскую столицу.

С первых же дней воцарения императора Павла весь строй и порядок петербургской жизни быстро и круто изменились.

В былое время вельможи Екатерининского века, бывшего по преимуществу «веком вельмож», соединяли в себе все утонченности европейских вкусов и привычек, все величественное изящество манер века Людовика XIV и всю вольность нравов эпохи его преемника, полуазиатскую пышность польских

магнатов и все хлебосольство и щедрость старинных русских бояр с достаточной примесью самого широкого самодурства. Цель жизни заключалась в наслаждении. «Наслаждайся сам и давай наслаждаться другим, чтобы вид нищеты и несчастья не отравлял собой полноты твоего наслаждения» – таков был девиз большинства этих магнатов. У них ежедневно накрывались обеденные столы на пятьдесят и более особ, куда могли являться не только званые и незваные, но часто даже и вовсе незнакомые люди, лишь бы только их костюм был мало-мальски приличен. Невские острова и Петергофская дорога в то время представляли собой оживленные ряды аристократических дач со всевозможными затеями, где, бывало, в каждый праздничный день гремела музыка, сжигались фейерверки и вся незнакомая публика была угощаема чаем, фруктами, мороженым. Граф Строганов в своей даче устроил даже большой танцевальный павильон для этой городской публики и задавал для нее блистательные празднества. Кроме того, от имени Нарышкина и графа А. С. Строганова ежедневно раздавали пособия

нуждающимся и милость убогим деньгами и провизией. Множество бедных семейств получали от них и от целых десятков других бояр ежемесячные пенсии. Дома этих русских вельмож блистали драгоценными собраниями картин, богатыми библиотеками, горами серебряной и золотой посуды, множеством драгоценных камней и всяких редкостей. Императрица Екатерина II, бывало, говорила в шутку про Нарышкина и Строганова: «Два человека у меня делают все возможное, чтобы разориться, и никак не могут!» В последние годы ее царствования в Петербурге стали все более и более появляться из присоединенных провинций магнаты польские, которые соперничали в блеске и роскоши с русскими боярами. Тут были князья Четвертинские, Чарторыские, Любомирские, графы: Иллинский, Северин-Потоцкий, Виельгорский, Ржевуский и другие. Все они старались переблистать друг друга и богатством, и тороватостью, причем открывался достаточный простор и честолюбию, и интриге.

А в то же время весь Петербург неволь-

можный, всяк по своему чину и состоянию, также старался «утопать в роскошах». Не только гвардейские офицеры, но даже и нижние чины из дворян редко занимались службой, пренебрегали фронтом и еще реже носили свои мундиры, а все больше щеголяли во фраках да в теплых шубах с меховыми муфтами, шатались целыми партиями по городу, зачастую «чинили уличные буйствы и дебоширствы» насчет мирных обывателей, разбивали целые трактиры, погребки и вольные дома[163], мотали не на живот, а на смерть, «показуя прилежность свою к бильярду и азартным играм», и вообще вели себя «яко сущие шатуны и повесы» самым невозможным образом. Равно и в среду мелких гражданских чиновников и вообще в средний класс петербургского населения проникли «дух фривольных нравов» и пьянство великое. Целые ночи, бывало, раздаются в трактирах, в игорных и иных партикулярных домах[164] веселые звуки музыки и песен, звон стаканов и бутылок, разбиваемых вдребезги, неистовые крики пирующих и вопли побиваемых. Следствием этого бывали еженощные драки, даже це-

лые побоища партиями, нередко смертоубийства и пожары, особенно частые и опасные при тогдашних деревянных постройках.

Страсть к «роскошам» и наживе посредством азартной игры, разоряя мелкое чиновничество, поневоле заставляла его выискивать себе недостающие денежные средства в сугубом взяточничестве и во всякого рода незаконных поборах. Обязанности службы отправлялись кое-как, спуская рукава, дела залеживались по несколько лет без всякого движения, и присутственные места столицы едва-едва наполнялись похмельными чиновниками только к полудню, а к двум часам дня были уже пусты, хоть шаром покати. Короче сказать, тогдашняя городская, и в особенности столичная, Россия, в упоении блеском и громом побед и всяческих торжеств Екатерининского царствования, считая себя необъятной и страшной силой на всем земном шаре, в сущности, была-таки порядочно распущена и разнуздана халатным управлением вельмож-сановников, и это в особенности стало заметно для каждого трезвого и нелицеприятного глаза в последние годы царствования



доброй и славной монархини, когда ее энергия, неутомимость в государственных трудах и непреклонная воля под гнетом лет уже значительно ослабели.

Всеми трезво мыслящими и прозорливыми людьми стала наконец чувствоваться настоятельная необходимость *подтянуть* эту военную, чиновную и чиновничью Россию, слишком уж разнуздавшуюся в тридцатилетнем своем упоении блеском российского могущества, силы и славы и слишком уже привыкшую удовлетворять своим «роскошам и приятствам» за счет крестьян и вообще нечиновных производительных классов народа.

Павел Петрович, будучи еще наследником престола, как бы позабытый и заслоненный от столичного блеска пышными вельможами и временщиками, очень хорошо видел и понимал среди своего гатчинского уединения все расшатавшиеся винты и гайки тогдашнего государственного механизма. В противоположность людям того века он до педантизма был исполнителен, точен и верен своему долгу и обязанностям, прост и неприхотлив в своем домашнем обиходе, спартански скро-

мен во всех требованиях и удобствах своей жизни и очень религиозен. Известно, что в его гатчинском дворце, в том месте, где обыкновенно ставал он на коленях, погруженный в одинокую молитву и часто обливаясь слезами, паркет был положительно стерт, а дежурные офицеры нередко слышали из смежной комнаты его глубокие вздохи во время молитвы. Кроме того, следует еще заметить, что, в противоположность эпикурейскому материализму[165] XVIII века, этот человек был вполне идеалист, сочувствовал масонству, склонен был к высшему романтизму и пламенно любил все то, что носило на себе рыцарский характер или даже оттенок. Ложь, притворство и криводушие способны были мгновенно выводить его из себя, и тогда он становился беспощаден. Один из самых неприяженных России писателей сознался, однако же, о нем, что «он был справедлив даже в политике». А это уже много для того времени... Что же мудреного, если, видя общественную расшатанность и понимая ее причины, он со свойственной ему энергией принялся, что называется, выбивать клин кли-

ном и резко впал в противоположную крайность? Так было надобно: состояние общества того требовало.

Но строгость своих требований он применял прежде всего и более всего к самому себе. Государь обыкновенно вставал очень рано, между четырьмя и пятью часами утра, и, оберевшись куском льда, тотчас же принимался спешно одеваться, затем посвящал некоторое время молитве, а затем уже выслушивал донесение о благосостоянии города и отдавал некоторые распоряжения относительно своих домашних дел. В шесть часов утра в его приемной уже находились в сборе все те министры и начальники отдельных частей и управлений, у которых в тот день была очередь для доклада, а также и те лица, которым еще накануне велено было почему-либо явиться к его величеству. Первым из числа должностных вельмож обязан был являться генерал-прокурор и первый министр, граф Безбородко. Ровно в шесть часов государь выходил в приемную и до восьми занимался выслушиванием докладов и донесений, обсуждая некоторые безотлагательные дела и кладя

свои резолюции.

В восемь часов у его крыльца уже стояли в готовности одиночные санки и заседланная лошадь. Отпустив своих министров и сенаторов, государь садился либо в санки, либо верхом, в одном сюртуке, невзирая ни на какую погоду, и в сопровождении очень немногих лиц, иногда Кутайсова или Оболянинова, а иногда Ростопчина, отправлялся подышать свежим воздухом и прокатиться по городу, избирая для этих прогулок не только людные, но и самые отдаленные, пустынные улицы и закоулки. Иногда при этом заезжал он неожиданно в казармы того или другого полка, пробовав пищу, осматривал удобства солдатских помещений, цейхгаузы[166] и склады, а к десяти часам уже возвращался во дворец и, обогревшись несколько, выходил на площадку к ожидавшему его гвардейскому разводу. Тут в сопровождении свиты посвящал он час воинским экзерцициям и некоторое время на личное принятие челобитен и прошений, в одиннадцатый же час возвращался в свои комнаты, причем к нему свободно могли приходиться все бывшие при разводе, не только высшее

начальство, но даже простые армейские и гарнизонные офицеры до прапорщичьего чина включительно. Тут они находили уже расставленные столы с закусками, и государь, разговаривая с начальниками и офицерами, приглашал всех без изъятия к водке и закуске и сам закусывал тут же, вместе со всеми.

Затем ровно в полдень он сел за своим семейством за простой домашний обед, который готовила ему кухарка-немка и к которому приглашал иногда того или другого из приближенных или дежурных офицеров. Победая, император отправлялся в свой кабинет отдохнуть на некоторое время, а в три часа для него опять уже были готовы одиночные санки и верховая лошадь. С пяти же и до семи часов происходил вторичный прием министров с докладами, затем один час посвящался государем своему семейству, а в восемь часов он уже ужинал и ложился спать. В девять часов гауптвахтные караулы высылали рунды[167] с барабанщиками, которые, обходя известный район города, били вечернюю зорю, а с этого времени во всем городе уже не было ни единой горящей свечки. Всякая на-

ружная уличная жизнь тотчас же прекращалась: лавки, ворота и ставни замыкались на болт, и петербургские обыватели волей-неволей обязаны были спать или, по крайней мере, сохранять полнейшую тишину и спокойствие.

Но зато перед рассветом, еще в ночной темноте, между четырьмя и пятью часами, петербургские улицы, прилегавшие к Сенату и иным присутственным местам, наполнялись гражданскими чиновниками, которые вереницами пробирались по дощатым мосткам, поспешая к местам своего служения. Боже избави, если бы кто из них осмелился хотя пятью минутами запоздать против урочного времени! Арест на съезжей[168], а не то и выключка из службы тотчас же поражали неаккуратного. В пять часов утра во всех без исключения канцеляриях, департаментах и коллегиях на рабочих столах горели уже сальные свечи, и трезвые чиновники усердно скрипели гусиными перьями. Около этого же часа, проходя по апартаментам Зимнего дворца, государь мог уже видеть полную и блистательную иллюминацию всех окон вице-канц-

лерского дома, что стоял на Дворцовой площади, по соседству с кушелевским «Пале-Роялем»: там уже ярко пылали все каминные, блистали зажженные люстры, лампы и кенкеты [169], а благообразные, чистенькие юноши дворянских фамилий – гражданская *jeunesse dorée* [170] того времени – вместе с чиновниками старцами, дельцами и дипломатами сидели на своих местах за работой. Генерал-прокурор по окончании доклада у государя тотчас же спешил с высшими сановниками в тот или другой комитет, обыкновенно собиравшийся под председательством наследника-цесаревича. Одним только сенаторам, говоря относительно, дана была маленькая поблажка: они должны были заседать за красным столом не с шести, а только с восьми часов утра.

«*Ad exemplum regis componitur orbis*» [171], – с покорным видом и с подавленным вздохом говорили чиновные сибариты, которым стало куда как тяжело подниматься с постели в ту пору раннего утра, в какую они, бывало, только что ложились после изобильных и роскошных ужинов. Те же самые сибариты в официальных своих разговорах, конечно, вос-

хваляли новый порядок жизни и службы, называя его «Ренессансом», эпохой Возрождения[172], а в дружеской беседе, с глазу на глаз, брюзжа на весь мир и вздыхая о прошлом приволье, дарили эту же эпоху «Ренессанса» названием «затмения свыше».

Обстановка присутственных мест тоже изменилась. Еще так недавно даже в канцелярию Сената неприятно было войти мало-мальски брезгливому человеку, а о прочих второстепенных и третьестепенных местах нечего и говорить. Сальные огарки там были воткнуты в бутылки, чернила наливались в помадные банки, песок насыпался в черепки, в плоски или бумажные коробки; на полах лежала засохшая грязь, которую в редких экстренных случаях не отмывали, а просто должны были соскребывать заступами; закоптелые стены пропитаны были какой-то сальной грязью, так что чистоплотному просителю гадко было и прислониться к ним, а между тем в приемных для посетителей не полагалось не только стульев, но даже и простых скамеек, и целые толпы несчастных ходоатаев по собственным и чужим делам долж-



ны были по несколько часов дожидаться на лестницах, в сенях и даже на улице. Чиновники торговались с ними в канцеляриях, как на толкучем рынке. Эта растрепанная и оборванная чернильная рать просто ужас наводила на просителей. Случалось иногда, что служители Фемиды[173] и администрации не только без церемонии, но даже без всякого зазрения совести шарили у просителя по карманам и отнимали деньги при веселом смехе похмельных сотоварищей.

Павловская «подтяжка» быстро и резко изменила эти безобразные порядки. Народу дано было право приносить прошения и жалобы лично самому императору. У одного из подъездов Зимнего дворца в окошке нижнего этажа постоянно выставлен был ящик для опускания просьб на высочайшее имя, и ключ от него хранился у самого государя, который лично отмыкал крышку и прочитывал эти бумаги, немедленно кладя по ним резолюцию или назначая особые следствия. И сколько взяточников, вымогателей и казнокрадов в первые же дни его царствования было вышвырнуто из службы с опубликованием

в «Санкт-Петербургских ведомостях» имен и поступков исключаемых! Дрожь не от стужи, а от страха все более и более стала пронимать чиновников. С перекраской и очисткой присутственных мест, которым дана была приличная и опрятная обстановка, пришлось и дельцам волей-неволей оставлять старые привычки и нравы, брать полегоньку, осторожно и с опаской, а то и вовсе не брать, дела не затягивать, а решать быстро, да и самим понадобилось облекаться в новые форменные шляпы, мундиры и ботфорты со шпорами. Все это было тяжело, и число недовольных новыми порядками с каждым днем возрастало. Зато простой, неслужащий люд в первые дни царствования Павла Петровича встречал его появление на улицах криками «ура!» и изъявлениями своей благодарности за удешевление хлеба, соли и мяса, за назначение умеренных податей, окончание персидской войны [174] и отмену рекрутского набора.

## Х. У государя

— А что, граф Харитонов-Трофимьев не приехал еще? — спросил государь при утреннем докладе петербургского коменданта.

— Никак нет, ваше величество!

— Жду его с нетерпением. Как только придет, доложить мне тотчас же.

— Слушаюсь и не премину исполнить, — почтительно поклонился комендант.

Это было сказано накануне того дня, в который граф Илия со своим деревенским караулом въехал в северную столицу. Караульный офицер еще на заставе сообщил Черепову высочайшую волю, о которой комендант сейчас же по получении царского приказания оповестил караул московской рогатки.

Граф Илия еще с Москвы, по рекомендации старика Измайлова, решил пристать в Петербурге на первое время в Демутовой гостинице, куда и был препровожден Череповым, который, не теряя лишней минуты, помчался в ордонанс[175] с репортом о прибытии графа. Это было в исходе третьего часа. В



гостинице Демута, почитавшейся в то время лучшей в Петербурге, граф Харитонов-Трофимьев занял несколько лучших номеров под себя и свою услугу. Еще далеко не успели перетаскать в его помещение чемоданы, вмещавшие наиболее нужные вещи, как вошедший Черепов доложил о приезде петербургского коменданта.

– Не далее как вчера государь император изволил интересоваться вашего сиятельства приездом, – начал гость после взаимной рекомендации и первых приветствий, которые со стороны графа Илии сопровождались извинениями, что, не успев переодеться, принимает его в чем есть, то есть в дорожном длиннополом сюртуке вроде шлафрока[176]. – Н-да-а, – продолжал генерал тягуче-размеренным и несколько гнусливым голосом, – его величество повелел мне тотчас же, как приедете, известить его, и я несказанно счастлив, что благодаря вашему немедленному приезду могу столь скоро удовлетворить воле моего государя. Конечно, император пожелает, чтобы вы ему представились в самом непродолжительном времени, быть может даже завтрашнего

дня утром, но... извините, откровенный вопрос: имеете ли вы соответствующую форму?

При этом комендант указал жестом на воротники и лацканы своего генерал-майорского мундира.

– Я имею только ту форму, с коей был уволен от службы, – сообщил ему граф Харитонов-Трофимьев.

– Н-да-а, но я обязан предупредить ваше сиятельство, что приказом, отданным на сих днях, при пароле[177] вы уже зачислены на действительную его величества службу, в состав генералитета, а потому имеете представиться в установленной форме одеяния.

– Но как же, если сие, как вы говорите, может впоследствии завтра? – возразил Харитонов.

– О, это ничего не значит! – поспешил заверить генерал. – Я тотчас же пришлю к вам образцового закройщика из лейб-гвардии Преображенской швальни[178], и наши портные наутро оденут ваше сиятельство как нельзя наилучше. Тем более, – продолжал он, – что государь император, отечески входя во все нужды и экономию военнослужащих, а наи-

паче[179] преследуя вредные излишества всяких роскошеств, соизволил повелеть, чтобы господа военные, от генерал-аншефа[180] и до прапорщика, имели токмо один форменный мундир, каковой завсегда и носили бы; а дабы то было отнюдь не обременительно, то вместо прежних богатых мундиров повелел строить оные из недорогого темно-зеленого сукна, подбитые стамедом[181], с белыми пуговицами, и столь недорогие, что мундир не стоит более двадцати двух рублей.

Затем комендант стал рассказывать о некоторых переменах и новых порядках, о том, как ныне даже генерал-поручики и генерал-аншефы, украшенные Георгиевскими звездами, не исключая и самого графа Николая Васильевича Репнина, генерал-фельдмаршала и лейб-гвардии Измайловского полка батальонного командира, обязаны каждое утро ходить в манеж, учиться там маршировать, равняться, салютовать эспонтоном и изучать новый строевой устав, плутонги[182], эшелоны, пуэн-де-вю[183], пуэн-д'аппюи[184] и прочее.

– Но к чему же все сие потребно гене-

рал-аншефам и фельдмаршалам? – в некотором недоумении неосторожно спросил граф Харитонов.

– О, не судите так, ваше сиятельство, не судите! – возразил ему комендант с некоторым жаром неподдельного, по-видимому, увлечения. – В основании сего лежит идея сообщить в распущенные войска свежую силу, научить всех без изъятия тому, что каждому воину знать надлежит, научить их прежде всего слепо повиноваться и стройно действовать массами; и когда недреманная бдительность и грозная взыскательность обратятся у нас в натуральную привычку, то это заранее приготовит наши войска к победе и послужит к наивящей[185] славе Отечества! Таково мое искреннее и глубочайшее убеждение, – заключил он, подымаясь с места и берясь за шляпу.

– Куда же вы так скоро! – любезно остановил его граф.

– Не могу и не смею долее: служба, – неуклюже поклонился петербургский комендант, слегка пожимая протянутую ему руку. – Спешу к моему государю исполнить его священ-



ную волю и доложить о приезде вашего сиятельства, – пояснил он в заключение и тотчас же откланялся.

– Папушка, что это за урод был у тебя? – спросила у графа вошедшая Лиза, которая из смежной комнаты успела в дверную щель высмотреть гостя в ту минуту, когда он уже удалился.

– Как урод, мой друг! – с некоторым укором возразил ей отец. – Это здешний комендант, господин Аракчеев, лицо очень близкое к императору.

– Пусть так, но все-таки он препротивный, – утверждала девушка. – Ужасно мне не понравился, хотя я и одну лишь минуту одним глазком его видела, – такое злое и неприятное лицо, и если б ты знал, как он мне не по сердцу!

– Очень умный и, кажись, весьма обходительный человек, – возразил граф, на которого в глубине души тоже не совсем-то приятное впечатление сделала своеобразная фигура Алексея Андреевича.

Аракчеев сам по себе никогда не был исключительным человеком относительно

вельмож и тузов своего времени, даже в начале своей карьеры. Но визит к графу Илие был сделан им в том рассуждении, что неравно государь при докладе спросит, виделся ли он уже с графом и каково нашел его? Выслушав донесение Черепова о благополучном прибытии графа Харитонова-Трофимьева, Алексей Андреевич сообразил, что государь в данную минуту находится еще где-нибудь на верховой прогулке, и нашел, что его комендантское достоинство не пострадает нимало, если он предварительно доклада воспользуется временем этой прогулки, чтобы заехать на несколько минут в Демутов трактир – оказать честь и респект новоприбывшему почтенному старцу – давнишнему любимцу государя. «Такое с моей стороны внимание, вероятно, будет приятно и его величеству, в угождение коему всю жизнь и все существо мое посвящаю», – заключил свое размышление Аракчев, отправляясь к графу Харитонову.

Через час по отъезде его из Демутова трактира приехал туда в придворной карете дежурный флигель-адъютант[186] и объявил, что государю императору угодно немедленно

же принять графа и потому пускай граф едет, не стесняясь, в чем есть, то есть в кафтане или в прежнем своем мундире.

Граф Илия спешно оделся, навесил на грудь ордена, жалованные ему еще Елизаветой и Петром III, прицепил шпагу и поехал во дворец вместе с флигель-адъютантом.

Вечерний прием докладов далеко еще не кончился у государя, когда граф Илия был введен в приемную, примыкавшую к кабинету его величества. Здесь с портфелями и папками под мышкой дожидались несколько приближенных лиц, министров и статс-секретарей, которые шепотом разговаривали между собой, обращая порой боязливые взгляды на запертую дверь кабинета. Из старых знакомцев своих граф Илия заметил здесь графа Н. И. Салтыкова, графа Александра Строганова и Льва Нарышкина. Первые два раскланялись с ним молча, но очень вежливо, и по этому поклону можно было заметить, что обоим им несколько неловко в душе за свою прежнюю холодность к опальному приятелю их молодости, который теперь вдруг подымается на высоту милостью

монарха и, быть может, будет играть очень видную и сильную роль в государственной и придворной жизни. Зато открытый и добродушный Нарышкин сразу же подошел к нему на цыпочках с выражением самой искренней радости и удовольствия.

– Сколько лет, граф!.. Сколько лет не видались! – взволнованно и шепотом говорил он по-французски, горячо пожимая руку Харитонова. – Да, граф! Достойное поведение и честный образ мыслей (верный или неверный – это все равно, лишь бы честный!), судя по вашему примеру, не всегда пропадают на земле втуне[187] и бесследно!.. Вы снова в нашей среде, после тридцати лет забвения и немилости, и снова такой же, как и были, каким вынуждены были покинуть нас... Вы здесь нужны, граф, а главное – пример ваш нужен, нужен именно теперь, когда и «время переходчиво», как говорится по-русски, и «люди переменчивы». Вы один из немногих, которые *не* *переменялись*.

Граф Илия слушал его с грустно-приветливой улыбкой.

– Нет, Лев Александрович, моя песня, ка-

жись, уже спета: стар стал, да и отстал от всего в своей медвежьей берлоге за тридцать лет...

– Что за старость еще! Полноте! – махнув рукой, перебил его Нарышкин. – Поглядите: Салтыков, Строганов, да и мало ли других, пожалуй, постарше вас будут, а и не думают о старости.

– Большим кораблям большое и плавание, – сказал по-русски граф Харитонов.

– Ну, вы тоже не из мелких суденышек.

– Молодежи пора место уступать... Вон сколько здесь молодых... Скажите, пожалуйста, кто такие?

– Новые люди, новые силы, граф, – еще тише заговорил Нарышкин. – Этот вот, что у самой двери в кабинет стоит, Иван Павлович Кутайсов.

– Как?... Кто такой? – наставив ухо, переспросил Харитонов.

– Кутайсов... Он турецкого происхождения; доселе брил государю бороду, а теперь, если захочет, то так отбреет нашего брата, что ай-ай!.. Сила, большая сила! В аристократы метнул...

– Какими судьбами?

– Не судьбами, а высочайшей волей... Государь изволил прямо высказать, что в России нет аристократии, что здесь только тот аристократ, с кем он говорит, и до тех только пор, пока он говорит с ним.

– Абсолютный монарх был вправе это высказать, – сдержанно заметил Харитонов. – А эти кто такие? – спросил он, указав глазами на группу из трех-четырех человек, стоявших в нише окна.

– Это наша деловая «молодежь», то есть, конечно, молодежь относительная. Это вот – статс-секретарь Нелединский-Мелецкий, известный стихотворец, это – граф Ростопчин, а подле него Обольянинов и Плещеев.

Вдруг растворилась дверь кабинета – все невольно вздрогнули, вытянулись и замолкли. На пороге, опираясь на трость, появился император, за спиной которого виднелась фигура Аракчеева.

– Граф Илия Дмитриевич!.. Пожалуйста, приблизьтесь... Душевно радуюсь видеть вас! – громким голосом и со светлой улыбкой сказал государь, выходя на середину прием-

ной комнаты и протянув по направлению к графу свою правую руку.

Харитонов-Трофимьев, отдав глубокий поклон, почтительно выступил на три шага вперед и, прежде чем принять поданную ему руку, хотел было, сообразно этикету того времени, преклонить перед монархом колено, но государь не допустил его до этого и быстрым движением предупредил склонявшегося старика.

– Нет, нет! Не так, граф! – быстро заговорил он. – Старые друзья не так встречаются... Обнимите меня.

И государь сам обнял и поцеловал графа Илию, глубоко потрясенного и растроганного таким неожиданным проявлением царской милости и внимания.

– Пойдемте в мой кабинет, мы давно не видались, а мне есть о чем поговорить и посоветоваться с вами, – сказал император, приглашая Харитонову следовать за собой.

Кабинетная дверь наглухо затворилась за ними.

Аракчеев остался в приемной и, подозвав к себе дежурного флигель-адъютанта, пошеп-





тал ему что-то на ухо с тем деловым видом, с каким обыкновенно передаются приказания свыше. Флигель-адъютант выслушал его со вниманием и озабоченно поспешил удалиться куда-то.

Встреча государя с опальным вельможей и прием, ему оказанный, произвели заметное впечатление на всех присутствующих.

– Однако! – с многозначительным видом исподтишка мигнул соседу один из сановников с портфелем, видимо озадаченный происшедшей сценой.

– Н-да-а!.. – сквозь зубы и шепотом процедил тот в ответ, раздумчиво закусив нижнюю губу. – Но только в каком же разуме надлежит понимать это?

– Да так и понимать, что *сила*, большая сила!

– И замечайте, даже его превосходительства Алексея Андреича не пригласил за собой...

– Поистине примечательно!

– И ведь никого еще из самых приближенных не удостоивал публично такого приема! Даже вопреки этикету.

– Н-да... А за какие заслуги, любопытен бы я знать, за какие подвиги? Что сделал? Чем ознаменовал себя?... Вот и служи после этого!

– Тсс! Осторожней: нас могут слышать.

– А пускай! Мне-то что! – с независимым видом слегка мотнул головой сановник. – Однако как бы узнать, где он пристал и когда принимает? – с некоторой озабоченностью заметил он после минуты раздумья.

– То есть кто это? – переспросил сосед.

– Да все он же, граф Харитонов-Трофимьев.

– Хм... Во дворце, чай, знают; надо справиться. А почто вам?

– Мм... Да так... Все же надо будет некоторый респект оказать ему, визит сделать, – пояснил чиновник, напуская на себя тон маленькой небрежности.

– Да, это не мешает, – согласился сосед, думавший в душе то же самое, – а тем паче в рассуждении сего приема, – продолжал он. – Как знать, что может быть и как еще обернется фортуна!

Придворные более или менее разделяли всяк про себя и мнение, и ревнивое чувство двух этих сановников. Чем доле оставалась

замкнутой дверь кабинета, тем более выросло в их глазах значение графа Харитонова и тем настоятельнее сознавалась необходимость в предупредительном оказании ему всяческого респекта. О чем беседовал с ним государь – это осталось обоюдной тайной, но беседа в замкнутом кабинете длилась более получаса, и когда наконец дверь растворилась снова, император вышел в приемную, ласково положив свою руку на плечо графа.

– Готово? – мимоходом вскинул он вопросительный взгляд на Аракчеева.

Тот предупредительно метнулся в сторону и жестом пропустил мимо себя двух камер-лакеев, которые приблизились к государю, держа перед собой массивное серебряное блюдо. На этом блюде, сверкая алмазами, красовались орденские знаки.

– Поздравляю тебя кавалером ордена Святыя Анны 1-й степени, – милостиво сказал государь графу Илие и собственноручно возложил на него звезду, а потом ленту.

– Я слышал, у тебя есть дочь. Ты, конечно, привез ее с собой? – спросил он после того, как Харитонов принес ему благодарность за

новый знак высокой милости. – Она должна быть представлена императрице, – продолжал государь, – и я укажу, когда сие должно будет исполнить.

– Благодарю, ваше величество, но заранее прошу для нее милостивого снисхождения, – заметил граф с глубоким поклоном. – Она у меня родилась и возросла в деревне одиноко, и для того опасаюсь, что обычаи большого света весьма мало ей знакомы.

– Это ничего, я поручу ее такой особе, которая живо сообщит ей надлежащий лоск. А благополучно ли вы доехали? – не спросил я еще тебя, – продолжал государь.

– Как не надо лучше и спокойнее, ваше величество.

– А что, ординарец, которого я послал к тебе в провожатые, хорошо ли он исполнил свою обязанность?

– Офицер самый достойный и вполне расторопный! – похвалил граф Черепова.

– И ты, стало быть, остался им доволен?

– Как нельзя более, государь!

– В таком разе, коли угодно, можешь взять его к себе в личные адъютанты.

И вслед за тем император милостиво отпустил от себя графа. Очередной статс-секретарь отправился в кабинет с докладом, а остальные из присутствовавших, знакомые и незнакомые, обступили Харитонову и кланялись, и рекомендовались, и знакомились, и пожимали руку, и сияя улыбками, по-видимому, от всей души поздравляли его «с толикими милостями монарха».

Граф Илия, выйдя из приемной, прежде всего пожелал поклониться праху усопшей императрицы. Один из камер-лакеев[188] почтительно повел его по дворцовым коридорам и залам. Весь двор был в глубоком трауре. Множество лиц, одетых в черное, толпилось и проходило взад и вперед по всем покоям, и только шелест женских шлейфов да легкий звук шагов нарушали глубочайшую тишину, которая царила в громадных залах и галереях. Кавалергардская комната сплошь была обита черным сукном: и потолок, и пол, и стены. Камер-лакей препроводил графа Илию в Малую Троицкую залу, куда 15 ноября торжественно перенесено было тело императрицы, покоившееся дотоле в ее опочивальне, при

полном дежурстве фрейлин и придворных кавалеров. Здесь перед глазами Харитонова предстало зрелище, невольно поражавшее каждого своим мрачно-роскошным величием. Посреди залы на возвышенном тронном помосте стояла кровать, богато и пышно драпированная малиновым бархатом, который покрыт был серебряным флёротом[189], оторочен золотой бахромой и украшен тяжелыми золотыми кистями. Российский императорский герб, расшитый чернетью[190], шелками, серебром и золотом, блистал в головах этой кровати, а по бокам ее на ниспадающих драпировках красовались вензелевые шифры Екатерины. Вокруг помоста стояло несколько массивных бронзовых канделябров, на которых в вышине сквозь туманные волны ароматного курева трепетно сияли целые клубки огня и заливали своим струящимся светом смертный одр, на котором в особенности резко выделялся строгий и величественный профиль покойницы. Тело императрицы облечено было в русское национальное платье из серебряной парчи, отделанное золотой бахромой и драгоценным кружевом, известным

под названием Point d'Espagne. Необычайно длинный и роскошный шлейф этого платья, ниспадая по ступени, изящно и пышно распростерт был до самого аналоя, на котором положен был образ, сверкавший драгоценными камнями. Малиновый бархат и белый серебристый глазет[191] с золотым позументом драпировали и аналой, и орденские подушки, и подзоры, и тронный помост.

В головах кровати, обвитые черным флёром, сверкали сталью два эспонтонна, на которые опирались два гвардейских офицера, капитан и капитан-поручик, поставленные сюда в виде почетной стражи. Вдоль смертного ложа по обе стороны, отступя на несколько шагов, неподвижно, как изваяния, с карабинами на плече, стояли шесть кавалергардов в своих рыцарских доспехах и в шишаках[192], повитых траурным флёром. У обеих дверей этой залы, внутри ее, на часах поставлено было тоже по два кавалергарда, а у ног покойницы в нескольких шагах находились четыре камер-пажа. Шесть почетных дам первых четырех классов, две фрейлины и восемь придворных кавалеров днем и ночью находи-

лись на дежурстве при теле императрицы. Духовенство, облаченное в черные бархатные ризы, ежедневно от 9 часов утра до часу дня, а потом от 3 и до 8 вечера совершало при теле церковную службу. Священники, чередуясь друг с другом, читали вместо Псалтири Евангелие, и чтение это производилось непрестанно, днем и ночью, на особом аналое. Лица всех сословий, за исключением одних только крестьян, беспрепятственно были допускаемы к руке покойной императрицы.

Эти волны фимиама и струящийся свет множества восковых свечей, блеск парчи и воинских доспехов, эта тишина, среди которой внятно раздается глухой низкобасовый и монотонный голос читальщика, эта неподвижная стража и множество, одна за другой преклоняющих колена, мужских и женских фигур, которые от контраста огней и черного цвета своих одежд все кажутся бледными и, как тени, тихо двигаясь в тумане ладана, напоминают скорее каких-то призраков, чем людей, наконец, этот величаво-спокойный вид усопшей на возвышении – все это обвеяло душу графа Илии благоговейным трепетом



и поразило ее мыслью о таинственном и суровом величии смерти. Он долго стоял в немом созерцании перед недвижимым телом той, которую помнил еще во всем увлекательном блеске ее красоты, молодости, характера и силы воли, когда тридцать четыре года тому назад она смело и гордо шла на рискованное предприятие в Петергоф впереди полков императорской гвардии. И восстал перед ним весь контраст ее громкого, славного царствования и своей собственной опальной жизни, но ни чувство горечи, ни чувство упрека не шевельнулись теперь в душе старого графа.

– Прости мне, если я был не прав перед тобой! – прошептали его уста, когда он с земным поклоном повергся у подножия смертного ложа великой женщины и великой императрицы.

## XI. Похороны императорской четы

Государственные регалии под эскортом кавалергардов были наконец перевезены из Москвы в Петербург и доставлены императору. Сыновнее чувство побуждало Павла Петровича воздать достодолжную почесть мертвым останкам его родителя, который тридцать четыре года назад был погребен в склепе Александро-Невской лавры. Местом погребения российских императоров служит обыкновенно Петропавловский собор Санкт-Петербургской крепости, но Петр III положен был в усыпальницах лавры на том основании, что он умер лицом некоронованным, то есть отрекшимся от престола. Настоящую минуту император Павел нашел благопотребною для того, чтобы исправить ошибку его покойной родительницы. Он задумал перенести останки Петра III сначала в Зимний дворец, с тем чтобы похоронить их рядом с гробом Екатерины II в Петропавловском соборе. С этой целью государь самолично с обер-церемониймейстером Петром Степановичем Валуевым составил церемониал перенесения гроба свое-

го родителя во дворец и его вторичного погребения обще с Екатериною II. Собственною рукою намечал он имена высших чиновников, назначенных им к несению императорских регалий. При этом граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский записан был «к императорской короне Петра III». Это было жестоко, но никто не имел возразить что-либо против справедливости возмездия, заключавшегося в той мысли, которая внушила государю дать это поручение именно графу Алексею Орлову. Князь Платон Александрович Зубов был приглашен к участию в совете по случаю перенесения останков Петра III. В это время он жил уже не во дворце, а на Английской набережной, в доме сестры своей, Жеребцовой, и между придворными мало кто интересовался теперь, обретается ли еще в живых его светлость, хотя Зубов все еще продолжал пользоваться должностью и званием генерал-фельдцейхмейстера[193].

Фельдмаршал князь Репнин послал к нему своего адъютанта Лубяновского доложить о назначении его в совет и спросить, угодно ли его светлости пожаловать в собрание. Лубя-

новский ни души не нашел ни на лестнице, ни в прихожей и уже в одной из смежных комнат наткнулся в сумрачном углу на частного пристава. Удивленный нечаянным появлением адъютанта, пристав осмотрел его с ног до головы и, допросив, кто он, откуда, от кого и зачем прислан, сначала позамялся, а потом бросился в переднюю и исчез где-то. Минут пять спустя пред Лубяновским растворилась дверь траурной гостиной. Князь Платон, читавший лежа на диване книгу, встал при его появлении. На бледном и унылом лице его пробежала легкая улыбка неожиданного удовольствия, когда он услышал, зачем был прислан к нему адъютант фельдмаршала. Зубов поблагодарил за внимание и просил передать князю Репнину свое сожаление, что по причине болезни он не может участвовать ни в совете, ни в церемонии.

Алексей Орлов, оповещенный повесткою из «печальной комиссии» о своем назначении к короне Петра III и никак не подозревая, что здесь участвовала личная воля государя, приехал в собрание совета «вполпьяна» и стал шуметь и браниться с Валуевым в пол-

ном убеждении, что Валуев самовольно, по собственному усмотрению делал расписание и дал ему такое «невместное» назначение, от которого Орлов решительно отказался, ссылаясь на слабость в ногах. Раздосадованный Валуев не без особого намерения положительно умолчал о своем столкновении с Орловым и об его отказе.

Наконец печальный церемониал был окончательно составлен, и государь заранее самолично сделал рекогносцировку[194] для войск от Зимнего дворца до лавры. Все наличные войска, предназначенные к участию в церемонии, отданы были под команду князя Репнина, по его фельдмаршальскому рангу.

За два дня до перенесения останков Петра III весь Петербург присутствовал при другой церемониальной процессии, унылее которой трудно было представить себе что-либо. Это было перевезение из Зимнего дворца в Александро-Невскую лавру государственных регалий ко гробу Петра III. Процессия двинулась в семь часов вечера, при двадцати градусах стужи, в совершенной темноте от густого морозного тумана. Более тридцати карет, обитых

внутри и снаружи черным сукном и запряженных каждая цугом на шесть лошадей, тихо тянулись длинным рядом вдоль по Невскому проспекту. Лошади с головы и до края копыт покрыты были суконными черными попонами с капором, и у каждой при уздцах шел придворный лакей с факелом в руке, в черной епанче[195] с длинными воротниками и в обложенной крепом широкой шляпе. В таком же наряде и тоже с факелами в руках шло по нескольку человек лакеев с обеих сторон у каждой кареты. Кучера на высоких козлах сидели в широкополых шляпах, как под наметами[196]. В каждом экипаже помещались высшие сановники и придворные кавалеры в глубоком трауре, держа на бархатных подушках те или другие предметы государственных регалий, от которых иногда в опущенном каретном огне отражался на мгновение сверкающий блеск драгоценных камней. Мрак непроглядной ночи, могильная чернота на людях, на лошадях и на колесницах, глубокая тишь во многолюдной толпе, какой-то зловецкий свет от гробовых факелов и бледные от того лица – все это вместе со-

ставляло печальнейшее зрелище.

Еще за несколько дней до этой процессии, а именно 19 ноября, тело Петра III по высочайшему повелению было вынуто из склепа и в своем старом гробе положено в гроб новый, великолепно отделанный золотым глазетом и серебристым газом и украшенный металлическими государственными гербами. Прах покойного императора выставлен был в нижней Благовещенской лаврской церкви, куда в тот же день к семи часам вечера прибыл император Павел с супругою и великими князьями. В присутствии императорской фамилии старый гроб был вскрыт не более как на минуту. Государь приблизился взглянуть на прах родителя, но – увы! – в этом гробе не нашел он уже ни образа, ни подобия Петра III: тело его окончательно истлело, уцелели же только шляпа, перчатки и ботфорты. Император оросил эти смертные останки горькими слезами и приложился к ним последним, прощальным поцелуем. Вслед за ним отдали ту же дань почтения царственному праху императрица Мария Федоровна и цесаревич Александр с великим князем Константином, а за-

тем крышка снова, и уже навеки, была наложена на гроб Петра III.

25 ноября, утром, приехал в лавру с великими князьями государь. Во время панихиды, при провозглашении «вечной памяти», он возложил на гроб родителя императорскую корону, а вечером того же дня происходило торжественное положение во гроб тела императрицы. К этому дню большая тронная зала была уже вся драпирована черным сукном и посредине нее, на тронном помосте, поставлен высокий «каструм долорис»[197]. К восьми часам вечера в Зимний дворец съехались лица обоего пола, имеющие приезд ко дворцу, и все высшее духовенство.

После литии[198], отправленной митрополитом Гавриилом, восемь камергеров[199] приблизились с обеих сторон к ложу усопшей и, подняв ее тело, переложили его во гроб. Четыре камер-юнкера[200] несли при этом шлейф ее платья. Затем ко гробу приблизилась императрица Мария Федоровна и возложила на главу усопшей императорскую корону. Как скоро это было исполнено, те же восемь камергеров подняли гроб и в предше-



ствии духовенства и четырех камер-юнкеров, несших крышку, перенесли его в большую тронную залу и поставили на «каструм долорис», а четыре старших камергера покрыли его богатейшим покрывалом. После этого была отслужена торжественная панихида и все присутствующие допущены к руке покойницы.

2 декабря, к десяти часам утра, в Александр-Невскую лавру прибыли все члены императорского семейства. Их ожидали уже там все высшие чины государства и двора, назначенные участвовать в церемонии по случаю перенесения гроба Петра III в Зимний дворец. От монастырских ворот и вплоть до дворца, на всем протяжении Невского проспекта, по обеим сторонам его, стояла гвардия. Между великанами-гренадерами в изящных светло-зеленых мундирах с великолепными касками теснились переведенные в гвардию мелкие гатчинские солдаты в наряде пруссаков времен Семилетней войны[201], что тогдашняя публика, вместе с екатерининскими гвардейцами, находила с непривычки смешным и безобразным. Массы народа, громоз-

дьясь на скамейках и лестницах, теснились за рядами войск. Все окна, все балконы, драпированные черным сукном, несмотря на сильную стужу, были раскрыты настежь и наполнены зрителями, которые унизывали даже домовые крыши.

После малой литии, отслуженной митрополитом вместе со всем высшим белым[202] и черным духовенством[203], приступлено было к поднятию гроба Петра III. Но тут, с самого первого шага, процессия несколько замялась. Государь заметил, что к императорской короне подходит не Алексей Орлов, а какой-то другой чиновник.

– Для чего не Орлов? Ведь он тут? – строго обратился он к Валуеву.

– Тут, ваше величество, но... Князь отказывается за слабостью.

Император с негодованием выхватил у чиновника бархатную подушку и толкнул ею Валуева.

– Ему нести в наказание! – сказал он громко, так что все ясно это слышали.

Но Орлова не было. Кинулись искать его и насилу нашли. Князь Алексей Григорьевич

забился в один из темных углов собора и плакал навзрыд. Ему передали непрременную волю разгневанного императора и заставили выйти из своего уединения. Руки его сильно трепетали, когда под магнетическим взглядом безмолвного государя брал он императорскую корону. Коснувшись ее, он зашатался и, смертельно бледный, при помощи двух ассистентов, подхвативших его под руки, должен был пронести эту легкую, но страшную для него ношу весь путь до самой тронной залы. Какие ужасные воспоминания и картины должны были терзать его совесть в эти минуты возмездия! Он нравственно проходил теперь сквозь строй не только гвардейских войск, но и бесчисленного народа. И действительно, общее внимание преимущественно обращалось на графа Орлова и еще на двух человек, несших концы покрывала Петра III. Эти двое были князь Барятинский и Пасек. Все трое занимали в процессии места, подобающие первым лицам в империи.

По перенесении в большую тронную залу гроб императора Петра III был поставлен на тот же «каструм долорис», рядом с гробом им-

ператрицы Екатерины, и над обоими торжественно отправлена общая панихида и провозглашена общая «вечная память». Почетная стража и дежурство были удвоены. Таким образом, два этих гроба стояли совместно в одной зале и на одном катафалке в течение трех суток, до 5 декабря. Во все это время по-прежнему отправлялись ежедневно церковное служение и чтение Евангелия над императорской четой, а лица всех состояний были денно и нощно допускаемы в известные назначенные часы к поклонению усопшим.

5 декабря вновь стояли шпалерами[204] войска, но уже не по Невскому, а по Миллионной и на особом, нарочно наведенном мосту от Мраморного дворца до ворот крепости. В предшествовании двух «печальных рыцарей», с головы до пяток закованных в стальные доспехи, медленно двигалась громадная и пышная процессия, в хвосте которой следовали одна за другою две погребальные колесницы: на первой помещался гроб императора Петра III, а на второй – императрицы Екатерины II. За этой последней шел государь, в черном одеянии, с воротником из кружев в несколь-

ко рядов, а за его величеством следовали: императрица, великие князья и княгини – все в таком же глубоком трауре.

Оба гроба поставлены были рядом в Петропавловском соборе, где оставались до 18 декабря. В этот же день, то есть на сорок третьи сутки со дня кончины императрицы, совершено было погребение. Литургию[205] и все вообще служение совершал Гавриил, митрополит новгородский, в сослужении шести архиереев[206], пяти архимандритов, четырех игуменов[207], духовника с придворным духовенством и петропавловского причта. После обедни отправлена была панихида по государыне Елизавете Петровне, в память дня ее рождения, а в начале девятнадцатого часа прибыл в собор император со всей высочайшей фамилией и был встречен со крестом. При начатии панихиды, когда раздавали свечи, во время ектений[208] митрополит кадил гробы и церковь, а по окончании каждения был снят с катафалка и опущен в склеп гроб императрицы; затем, точно таким же порядком, опустили рядом с ней и гроб Петра III. В это время панихида была окончена и усоп-



шей чете провозглашена пред Царскими вратами «вечная память». Гром пушечных выстрелов раздавался с бастионов крепости во время погребения. Ему вторили с набережной огонь полевой артиллерии и ружейные залпы.

Граф Харитонов-Трофимьев в сопровождении своего личного адъютанта по обязанности присутствовал при всех этих печально-торжественных церемониях.

Василий Черепов во время последней панихиды обратил его внимание на золотые надписи, крупно вырезанные на черных металлических досках в головах каждого гроба. На этих надписях значилось: «Император Петр III, родился 10 февраля 1728 г., погребен 18 декабря 1796 г. Императрица Екатерина II, родилась 21 апреля 1729 г., погребена 18 декабря 1796 г.».

– Да-а, – тихо заметил на это граф после минуты грустного размышления, – подумаешь, что эти супруги провели всю жизнь вместе на троне, вместе умерли и вместе погребены в один день.

– А что ж, – ответил Черепов, – пожалуй,

это скажут чрез несколько тысячелетий будущие историки, истолковывая уцелевшие надписи на неизвестном тогда уже языке русском. Это и ныне в истории частенько бывает.

## **XII. Новая фрейлина**

**Г**раф Илия, прочтя случайно в «Санкт-Петербургских ведомостях» объявление, что «в Садовой улице, против Летнего сада, в Турчаниновом доме, под № 799, отдаются для дворянства покои, богато убранные и с драгоценными мебельями, помесячно и в годы внаем», поехал осмотреть, что это за покои, нашел их «довольно пристойными, со многими удобствами», с людскими, конюшнями и сараями, и нанял для себя целый этаж, куда и переехал из Демутова трактира. Черепов тоже подыскал для себя маленькую пристойную квартиру по соседству и в положенные часы утра являлся к своему шефу за приказаниями, а затем сопровождал его в манеж, где граф, наряду с другими высшими генералами, должен был обучаться шагистике, приемам с эспонтоном и всем экзерцициям нового устава. Занятия этого рода были уже не по летам старому



графу и, в сущности, очень его тяготили, но отказаться от них не представлялось возможности, так как это делалось вследствие высочайшей воли, и сам государь нередко являлся в манеж во время подобных занятий, чтобы лично объяснять и указывать своим генералам новые правила воинских уставов.

Между тем в квартире графа, на половине графинюшки, шли суетливые приготовления. Харитонов-Трофимьев получил от Валуева официальное письмо, извещавшее о дне и часе, когда графиня Елизавета, а вместе с ней и сам граф Илия должны будут представиться императрице. Надо было торопиться, чтобы успеть приготовить парадную робу, соответственно требованиям этикетного траура, подумать о куафюре и о прочих мелочах и подробностях парадного туалета. Василий Черепов как человек досконально знакомый с Петербургом по просьбе графини Елизаветы Ильиничны поскакал на Малую Миллионную к одному из лучших тогдашних парикмахеров, Фичулке, и привез его к графинюшке для консилиума[209] насчет прически, причем Фичулка несказанно удивился природной длине и рос-

коши ее волос, сказав ей, «в комплементу», что все его букли и шиньоны никуда не годятся в сравнении с подобным «богатством материала».

Затем поехал Черепов к одной из самых модных портних-француженок, м-ме Ксавье, которая недавно еще появилась в Петербурге со своей модной лавкой и мастерской, славясь по столице репутацией богини Разума, так как про нее под сурдинку[210] ходили слухи, будто она в силу своего величественного вида и красоты, но только под другим именем была некогда избрана Робеспьером[211] и членами Комитета общественной безопасности[212] для разыгрывания роли богини Разума и разъезжала по Парижу на торжественной колеснице, принимая подобострастные поклонения и почести со стороны парижской черни. Мастерницы этой м-ме Ксавье, «ради пущего спеху», были перевезены для работы даже в квартиру графа Харитонова, а сама м-ме Ксавье и кроила, и шила, и примеряла, и источала целые потоки бойкой блестящей болтовни, комплиментов, пикантных намеков и маленьких сплетен из высшего дамско-

го света, который был ей доступен с заднего крыльца в силу ее артистического вкуса и профессии. Наряд, созданный ею для графини Елизаветы Ильиничны, действительно был изящен и великолепен при всем своем траурном характере. Старуха m-me Лантини, древняя знаменитость в качестве великосветской учительницы танцевального искусства, нарочно приезжала несколько дней подряд в графской карете, чтобы преподавать молодой девушке все правила церемониальных реверансов по требованию придворного этикета.

И вот настал наконец день представления императрице.

Граф Харитонов-Трофимьев сел со своей дочерью в парадную карету и поехал во дворец, а старая нянька Федосеевна в то же самое время наняла извозчика и с трепетом в сердце отправилась к Казанской[213], нарочито петь Владычице молебен, чтобы Бог помог ее Лизутке как ни есть наилучше представиться матушке императрице.

Обер-церемониймейстер Валуев ввел графиню Елизавету с отцом в приемную залу на половине государыни.

Через четверть часа в эту залу вошла императрица Мария Федоровна в сопровождении государя, статс-дамы[214] баронессы Ливен[215] и фрейлины[216] Екатерины Ивановны Нелидовой.

Смущенная и бледная, с замиранием сердца, графиня Елизавета отдала свой первый реверанс по всем правилам, удачно усвоенным ею от m-me Лантини.

Императрица милостиво улыбнулась и сделала ей знак приблизиться.

Государь самолично представил своей августейшей супруге графа Илию и его дочь, с которою, впрочем, и сам при этом впервые только познакомился. Императрица сказала обоим несколько милостивых слов и поблагодарила графа за его испытанную уже в прежние годы приверженность ее супругу, когда тот был еще великим князем.

– Вся жизнь моя, как в оны дни, так и ныне, по самый гроб всецело принадлежит его величеству, – с глубоким поклоном отвечал Харитонов-Трофимьев.

– Нам приятно видеть вокруг себя наших добрых, испытанных друзей, – заметила госу-



дарыня со своей обворожительной улыбкой. – И я надеюсь, – продолжала она, окинув взором девушку и тотчас же переведя его на супруга, – я надеюсь, государь не откажет мне в моей просьбе?...

– В чем дело? – вопросительно вскинул на нее император свой на этот раз светлый и веселый взгляд.

– Я желала бы иметь графиню Елизавету в числе фрейлин моего двора.

– О, с охотнейшим моим сердцем удовлетворяю желанию вашего величества! – весело воскликнул император.

Зардевшись от радости и вся преисполненная благодарным чувством за себя и за своего отца, девушка скромно и изящно отдала новый глубокий поклон государыне. После первых минут невольного смущения теперь она впервые только могла поднять на нее взоры и разглядеть как саму императрицу, так отчасти и особ, ее окружающих.

Государыня показалась ей очень красивой белокурой женщиной; высокий, стройный рост при некоторой полноте сообщал всей ее фигуре очень много величия, а необычайная

скромность и степенность ее манер придавали ей на первый взгляд даже нечто строгое и повелительное. За нею, в двух шагах с правой стороны, виднелось исполненное открытого достоинства, честности и доброты лицо баронессы Ливен, которую Мария Федоровна называла и почитала своим доверенным другом, а слева – в совершенный контраст с величественной наружностью государыни – стояла фрейлина Нелидова, маленькая, живая и подвижная, как ртуть, сухощавая брюнетка, с блестящими черными глазами и милостивым личиком, которое все дышало жизнью и выразительностью, отражая в себе малейший оттенок каждого впечатления. Эта маленькая брюнетка почиталась тогда самой яркой звездой интимного придворного кружка, где блистала игрой своего остроумия и изяществом манер и танцев.

Отпуская графа Харитонову с дочерью, государыня подозвала Нелидову и поручила ее вниманию и дружбе графиню Елизавету, как молодую фрейлину, не вполне еще знакомую с порядками придворной жизни, этикета и отношений, прося не оставлять ее, в чем по-

требуется, дружеским советом или указанием. Это было сделано согласно заранее сообщенному императрице желанию государя, который хотел дать молодой и неопытной девушке на первых шагах ее новой жизни надежного друга и руководительницу для того, чтобы не осталась она одинокой в сфере, пока еще для нее чуждой и незнакомой.

Веселая и счастливая, шумя шлейфом парадной робы, впорхнула графиня Лиза в залу отцовской квартиры, где ожидал уже возвращения графа Василий Черепов.

– Поздравляйте, поздравляйте меня! – смеясь и хлопая в ладоши и вся сияя живым восторгом, говорила она, подбегая к молодому адъютанту. – Это прелесть! восторг! божество! величество!..

– Кто? Что такое? – недоумело пробормотал Черепов.

– Как – кто? Она! Государыня! Какая благодать в ней, если б вы знали! Как она мило-стива! Как ласково приняла!.. Мне было сначала так страшно-страшно, а потом как взглянула на нее, на эту улыбку, взор божественный – так хорошо вдруг стало! И страх как ру-



кой вдруг сняло! Ах, какая же она добрая и величественная!

– Кланяйся, сударь, кланяйся и приветствуй! – весело и шутливо обращаясь к Черепову, говорил граф Харитонов. – Могу представить тебе вновь пожалованную фрейлину двора ее императорского величества. Каково метнула моя деревенщина!.. А?

– Поймай, папушка, не мешай! Дай рассказать все по порядку!

И Лиза, словно бы торопясь высказаться, наскоро стала передавать Черепову все впечатления, какие произвел на нее прием государыни и государя, их черты, наружность, разговор, обстановка дворца и прочее; только рассказ ее отличался отсутствием всякого порядка и последовательности, хотя она и намеревалась рассказывать по порядку. Все эти впечатления как бы толпились и теснились в ее душе и сразу, одно наперебой другому, порывались высказаться, выпорхнуть наружу.

Черепов слушал ее рассказ и любовался оживленными чертами ее лица, которое все сияло восторгом и полудетской гордостью достигнутого торжества и счастья. Заметно бы-

ло, что оказанное ей внимание льстит ее молодому самолюбию и начинает кружить пыльную голову. Он был рад и счастлив за графиню Лизу, но... в то же самое время нечто похожее на смутное предчувствие тревожно шептало ему, что это увлечение блеском двора, эта гордость первого успеха едва ли не будут в дальнейшем своем развитии служить помехой их взаимному сближению, которое началось еще так недавно и при таких, по-видимому, благоприятных условиях.

«Закружится... Ох, кружится пташка в этом придворном свете!.. Тут и молодость, и красота, и толпа поклонников, искателей, воздыхателей, и все новое, невиданное... Поди-ка, и не вспомнит про нас, грешных!» – думалось Василию Черепову.

«А ты не плошай и будь молодцом! Бери свое с бою!» – подсказывало ему в то же время собственное самолюбие.

### XIII. Екатерининская гвардия

«Нельзя изобразить, в каком странном и удивительном положении была до сего гвардия, – говорит один из бытописателей-современников этой эпохи, – и сколь многие злоупотребления во всем господствовали в высочайшей степени в оной. Ежели б все то изобразить, то составила бы прелюбопытная картина для потомства, и потомки наши не только б стали удивляться, но едва ли б в состоянии были поверить, чтоб все то существовало в самом деле, и скорее могли бы подумать, что то выдуманная баснь и совершенная небывальщина»[217].

И действительно, положение было странное. Гвардейские солдаты, в течение нескольких десятков лет живя неподвижно в Петербурге и неся одну только караульную службу, изнежились и избаловались до такой степени, что начальство с трудом поддерживало в своих частях кое-какие наружные признаки дисциплины. Многие из солдат обзаводились целыми домами, отдельным хозяйством, открывали лавочки и лавки, занимались тор-

говлей и промыслами; другие, пользуясь бесконечными отпусками, вовсе и не живали даже в своих полках. От этого происходило, что полки, считаясь в полном комплекте, налицо не имели и половины штатного числа людей, а между тем жалованье отпускалось на всех. Этим пользовались полковые командиры и скопляли себе из жалованья отпускных целые состояния.

Но и это еще были злоупотребления не первой важности. Одно из главных зол составляли дворяне, записывавшиеся в гвардию в звании унтер-офицеров и сержантов. Этих дворян за Екатерининское время понабилося в полки громадное множество; в одном Преображенском числилось их несколько тысяч, а во всей гвардии до двадцати тысяч человек! И не только дворяне, но и купцы, секретари, подьячие, духовенство, ремесленники, управители и даже господские люди благодаря протекции сильных лиц, а также чрез деньги и разные происки записывали детей своих в гвардию и тем самым доставляли им те же выгоды и преимущества, какими пользовались дворяне действительно служи-

лые. В гвардейские полки можно было записывать не только взрослых, но и грудных младенцев. Доходило даже до того, что отцы записывали детей еще не родившихся и получали на них законные виды и патенты с пустыми местами в строках для вписки имени. «И вся мелюзга сия, – говорит бытописатель и современник, – не только записывалась, но жалована была прямо либо в унтер-офицеры, либо в сержанты»[218]. Многие, однако, и этим еще не довольствовались. Нежные и заботливые родители зачастую добивались, чтобы действительная служба их младенцев и даже не родившихся будущих детей считалась непосредственно со дня зачисления их в списки гвардии. Таким образом, старшинство в чинах по линии производства шло этим фиктивным гвардейцам еще в утробе матери, и многие из них, едва достигнув десяти- или двенадцатилетнего возраста, выходили уже в отставку гвардии-капитанами или армии-подполковниками, а родители их похвалялись тем, то мой-де сын-дворянин уже окончил свой термин службы и имеет теперь право всю остальную жизнь безмятежно про-

Живать на покое в своем поместье.



Что же касается взрослых гвардейцев, то и из них большая часть не служила вовсе, а

проживала себе праздно где заблагорассудится. Все они «либо лытали[219], вертопрашили [220], буянили, бегали на бегунцах[221], либо с собаками по полям только рыскали да выдумывали моды и разнообразные мотовства» [222].

Но и это еще было не наибольшее зло.

Самое главное зло заключалось в том, что эти праздно проживающие гвардейцы, едва достигнув шестнадцати или восемнадцати лет, будучи еще сущими ребятами и молокососами, перечислялись в армейские части штаб-офицерскими или по меньшей мере капитанскими чинами, приезжали в свои полки и, не смысля ни аза в военном деле, да и грамоте едва ли зная, получали по праву в непосредственное свое командование не только роты, но батальоны и даже полки, с ежегодным доходом в несколько десятков тысяч и перебивали линию старшинства у действительных старых служак. Существует одна очень характерная песенка, сложенная И. И. Дмитриевым[223] в последние годы Екатерининского царствования, где автор говорит:

*Обманывать и льстить —*

*Вот все на разум правы,  
Ах, как не возопить:  
«О времена! О нравы!»  
Полковник в двадцать лет  
Подпорой нашей славы,  
А ротмистр[224] дряхл и сед, —  
О времена! О нравы!*

Представьте себе, в самом деле, каково было седоусому, опытному и боевому ротмистру, прослужив верой и правдой в поле двадцать пять, а не то и все тридцать лет, поступать вдруг под начальство двадцатилетнего полковника, который не только что не нюхал пороху, но даже и «налево кругом» не умел правильно скомандовать, но зато пользовался правом распекать, делать реприманды[225] и даже без объяснения причин давать абшиды [226], то есть увольнять подчиненных в отставку.

«Нельзя изобразить, – говорит бытописатель, – какое великое множество выпускалось таких мотов, невежд и сущих молокососов ежегодно в армию!»[227] Едва наступало 1 января, как эти молокососы штаб-офицерских рангов целыми сотнями выпускались в ар-



мейские части, и не было полка, в котором не состояло бы их иногда по несколько десятков сверх комплекта, и все до одного получали от казны полное содержание по штатам. Армейские военачальники и даже такие лица, как Румянцев и Суворов, решительно не знали, куда с ними деваться. Большинству из них выдавалось разрешение идти себе на все четыре стороны с сохранением старшинства и содержания, лишь бы только не мозолили глаза и не бременили своим невежеством порядка и требований действительной службы. Но это была мера паллиативная[228], так как с каждым новым годом на нашу армию все-таки выпускались новые тучи подобной гвардейской саранчи, которая все более и более садилась на шею заправским армейским служакам. Сверх того, множество гвардейцев выпускалось и к штатским делам со значительным старшинством и повышением в чине и точно таким же образом садилось на шею действительным дельцам гражданской службы, отбивая у них места и повышения, но нимало не внося с собой на новое свое поприще хотя бы маломальского знания дела. О выпус-

ке же в отставку полковниками и бригадирами[229] нечего и говорить: таких было множество, и все это в совокупности делало необычайно быстрым производство в гвардии, которое, по словам современника, «летело как птица на крыльях», так что в семь или восемь лет из прапорщиков люди выскакивали в бригадирский чин, «лежучи на боку и живучи в деревне». Никогда еще в России, ни до, ни после, не было так много «бригадиров и полковников-молокососов», как в этот период времени, и никогда гвардейские полки не были переполнены таким несметным множеством сверхкомплектных и бог весть где проживающих офицеров. «Монархиня у нас была милостивая и к дворянству благорасположенная, – говорит бытописатель, – а господа гвардейские подполковники и майоры делали что хотели, и не только они, но даже самые гвардейские секретари были превеликие люди и жаловали кого хотели за деньги»[230].

В таком-то положении застал гвардию и весь военный механизм государства император Павел Петрович.

Что же оставалось ему делать при подоб-

ных порядках? Уже с давнего времени, будучи еще наследником престола, Павел смотрел с прискорбием и беспокойством на такой ход дела. Он живо чувствовал и понимал ту нестерпимую обиду, какую несли армейские служаки, но, не имея собственной воли, по необходимости должен был молчать до времени. Но вот едва лишь успел он вступить на престол, как уже именным указом от 20 ноября[231] повелел оповестить повсюду, чтобы все гвардейские чины, уволенные в домовые отпуска, «непременно и в самой скорости» явились к своим полкам и командам, где должны впредь нести прямую службу, «а не по-прежнему наживать себе чины без всяких трудов».

Именные повеления и указы Павла исполнялись изумительно быстро и точно. Он приучил к этому с первых же минут своего царствования. Точно так же и этот последний указ сопровождался всей возможной быстротой и неукоснительностью. Что за тревога и гоньба поднялась вдруг по всем концам государства! Как переполошились гвардейцы взрослые и родители гвардейцев-малюток. Из

Москвы многих вытурили в течение нескольких часов, а иных выпроваживали даже и под конвоем; с больных брали подписки о скорейшем выезде, как только позволит состояние здоровья, никому не давали покоя, пока не было исполнено в самой точности царское повеление.

Весть об этом повелении, как громовой удар, поразила всю Россию, и по преимуществу дворянство. Паника увеличивалась еще новыми слухами о том, что буде кто не явится в срок, то не только что будет исключен из службы, но и имена всех таковых «имеют быть сообщены в герольдию[232], дабы впредь никуда уже не принимать исключаемых и вычеркнуть их из дворянских росписей. Тысячи нареканий, сетований, вопли и слезы посыпались отовсюду на новые „деспотические“ порядки. Множество гвардейцев из тех, что лежебочили в деревнях, успели не только пожениться, но и детей своих записать в гвардию; другие кусали себе с досады губы и пальцы, каясь, что не успели вовремя выйти в отставку, третьи рассчитывали на сей год наверняка выскочить в капитаны или

полковники, получить доходные полки. И вдруг все это лопнуло, все мечты и надежды рассыпались прахом!.. Все это гвардейство сходило теперь с ума и мучилось тоской, не зная, что делать и как предстать пред лицо монарха. Но безвыходнее всех оказалось положение тех отцов и матерей, у которых дети числились на службе гвардии сержантами еще в материнской утробе и, будучи теперь в младенческом возрасте, писались отпущенными домой для окончания образования в науках. Многим из этих младенцев благодаря деньгам и проискам не только служба считалась за действительную, но даже было „приклепано“ по несколько лишних годов, и нашлось множество примеров, что в полковых списках показывались 16- и 18-тилетники – те, кому, в сущности, не было еще и 10-летнего возраста. Как со всем этим было показаться на глаза государю, который строго и неукоснительно требовал к себе на личный смотр всех без исключения отпускных гвардейцев?

А между тем как ни круто было, но высочайшее повеление приходилось исполнить. Местные административные и воинские вла-

сти повсюду разыскивали гвардейцев и волей-неволей выпроваживали их в Петербург. Со слезами и горем, с воплями и проклятиями „деспотизму“ жены отправляли мужей, сестры – братьев, матери – детей своих. Все большие почтовые дороги усеяны были кибитками скачущих гвардейцев, старых и малых, и матерей, которые в страхе и трепете везли своих грудных сержантов и прапорщиков на смотр государю. Ямские слободы спешили пользоваться обстоятельствами этой усиленной гоньбы и драли за лошадей невероятную плату, умножая этим всеобщий ропот и неудовольствие. „Сим-то образом, – заключает бытописатель, – наказано было наше дворянство за бессовестное и бесстыдное употребление во зло милости милосердной монархини и за обманы его непростительные“ [233]. А вместе с тем надо заметить, что мера, в сущности вполне законная и справедливая, послужила для большинства дворян первым предлогом к ропоту и недовольству против нового правительства.

Надо было выбить из гвардии ее преторианский[234] дух, что воспитался в ней благо-

даря тем политическим переворотам, в которых со смерти Петра I она постоянно принимала участие и пользовалась за то мирволением да поблажками со стороны высшей власти. Надо было заставить гвардейцев сделаться в настоящем смысле солдатами, а не преторианцами, не лейб-кампанцами[235], среда которых постоянно доставляла контингент политических авантюристов, иногда высокодаровитых и даже гениальных, но чаще всего алчных и своекорыстных, при полной посредственности ума и характера. Павел вполне понимал все безобразие подобного преторианства и одной из первых своих целей поставил радикальное искоренение его. Все малолетние и неслужащие гвардейцы были исключены из списков, некоторые чины, как, например, сержантские, секретарские, обозничьи, были уничтожены и все вообще понижены против прежних рангов. До сего времени каждый гвардейский рядовой считал себя не иначе как наравне с армейским прапорщиком, а сержант – не ниже капитана. Император же Павел, согласно с регламентом Петра Великого, установил, чтобы одни лишь

гвардейские офицеры, но отнюдь не солдаты, считались выше армейских на один только чин и чтобы впредь из гвардии вовсе не выпускать в армейские полки с повышениями, да и в отставку увольнять не армейскими, а гвардейскими же чинами. Этим он добился того, что гвардия в его короткое царствование оставила свою былую кичливость и политическое самомнение, а сделалась только войском, и притом отлично дисциплинированным. А чтобы и самая внешность ее не напоминала ей прежнего преторианства, император заменил ей пышные и дорогие мундиры самыми простыми и дешевыми.

Служба стала строга и тяжела. В шесть часов утра все солдаты и офицеры, не исключая даже и великих князей, уже присутствовали на съезжих полковых дворах и до самого полудня – какая ни будь там стужа или слякоть! – занимались военными экзерцициями. О шубах, муфтах и каретах не стало и помину в среде гвардейского офицерства. Но... в большинстве этой среды все росло и росло затаенное неудовольствие и ропот. Новые требования и порядки после недавнего приволья ка-



зались гвардейцам насилием и произволом деспотизма.

## XIV. Заветный червонец

В отдельном кабинете ресторации Юге, которая помещалась в Демутовом трактире, сидело за завтраком несколько гвардейских офицеров. Чины все были небольшие: от прапорщика до капитана включительно. На столе стояли устерсы, холодный ростбиф да несколько бутылок портеру[236] и разных вин, которые своей пустотой очевидно доказывали, что господа офицеры успели оказать им подобающую честь. Лица состояльников уже достаточно подрумянились, пенковые пипки[237] дымились в устах, камзолы были нараспашку; но разговоры этой компании далеко не отличались той громогласностью, какая по-настоящему необходимо должна была бы сопровождать приятельскую беседу при таком «легком» подпитии. Говорили тише, чем в обыкновенный голос, – разговор шел о современных порядках. Екатерининские гвардейцы осуждали новые требования и строгости военной службы и приходили в

негодование и ужас от новой меры наказания, которая доселе никогда не применялась к офицерам и почиталась между ними за наказание позорное: на днях два гвардейских офицера за какую-то ошибку на вахт-параде отправлены были под арест на гауптвахту [238].

– Слыханное ли дело! Офицера, дворянина – и вдруг под сюркуп[239] часового!.. После сего и служить невозможно!

– Чего невозможно! – возражал Черепов. – Стоит только устав вытвердить.

– А ты его небось вытвердил?

– Я вытвердил.

– Исполать[240] тебе! Ну а нашему брату, ей-богу, это такая немецкая тарабарщина!.. То ли дело устав при матушке Екатерине!

– Ничего, стерпится – слюбится, ребята!

– Да, тебе хорошо говорить! Ты в харитоновских адъютантах сидишь, как у Христа за пазухой; а ты, сударь, пожалуй, изволь на наше место стать, в строй, на морозец, так иначе запоешь. Офицер должен украшать собой службу, а тем паче гвардейскую! Офицер, ежели он есть человек благородный, обязан

иметь гардероб пристойный и богатый, негнусный стол, выездной экипаж с гусаром либо с егерем... А ныне что?! Вырядили нас в эти грошовые обезьяньи мундирчики и заставили ездить верхом либо в простых санках в одиночку, да мало сего – еще за обедом опричь[241] двух блюд воспретили иметь! И ходи по чину, и одевайся по чину, и ешь по чину! Да я не по чину, а по утробе желаю!

– И однако ж это не мешает нам услаждать себя устерсами в сей ресторации, – улыбнулся Черепов.

– Да! Услаждайся под сурдину и разговаривать громко не смей! Мы теперь, брат, и караул не иначе заступаем, как захватив в карман несколько сотен на тот случай, что ежели неравно прямо с поста на курьерской тройке в Сибирь отправят, так чтобы хоть сколько-нибудь деньжонок было при себе на дорожные расходы!

– Уж будто так!

– Доточно говорю! Поверь, пожалуй!

– Н-да!.. Времена!.. – вздохнул один из офицеров, постарше других годами и чином. – Не единожды вспомнешь прежнюю службу! То-

то роскошь была!.. В карауле, бывало, стаивали по целым неделям, так что, отправляючись на пост, берешь с собой и перину с подушками, и халат, и колпак, и самовар. Пробьют это вечернюю зорю – поужинаешь, выпьешь здорово, разденешься и спишь себе вволю, как дома. Но уж в особенности в утеху было стаивать летом в загородных постах. Встанешь, бывало, с солнышком и пойдешь себе, не одеваясь, а так как есть, в колпаке да в халате, в лес за грибами – любо! И никаких никогда историй, и никаких происшествиев. Бог хранил! А уж этих формальностей вовеки не знали! А теперь тебя хуже чем в профосы [242] трафят[243]! То и дело читаешь в «Ведомостях»: таких-то и таких-то выкинуть из службы, яко недостойных! «Выкинуть»! Хм!.. Как ошурок[244] или тряпку какую!.. Срам и позор благородному дворянскому сословию! Каково терпеть-то это!

– А что, государи мои, не прокинуть ли с горя в фараончик[245]? – предложил кто-то из офицеров.

– Тсс! Какой тебе фараончик!.. Иль не читал разве? Запрет, строжайший запрет на

азартные игры!

– Ну и пущай его!.. Запрет сам по себе, а мы сами по себе. Прислуга здесь у Юге верная, не выдаст... Дверь на задвижку можно.

– Разве что на задвижку... Только, чур, не кричать, ребята, не разговаривать громко, а то беда!

– Ах, любезный друг, "беда – что текучая вода: набежит и сплывет". Вынимай-ка карты! У кого есть в запасе?

– У Черепова есть. Вася, есть у тебя?

– Найдется. Кто метать будет?

– Да чего там кто! Твоя колода, ты и мечи.

– Ин быть по сему! Пятьсот рублей в банке.

И, вынув из кармана шелковый вязаный кошелек, Черепов высыпал из него на стол грудку червонцев[246] и серебряных денег.

Началась игра.

Счастье колебалось: то везло оно Черепову, то отворачивалось от него, то заставляло его некоторое время балансировать на скользком уровне, как бы не говоря ему ни *да* ни *нет*, и снова хмурилось, и снова улыбалось. Игра с каждой минутой становилась интереснее, оживленнее и бойче. Игроки все более и бо-

лее одушевлялись и время от времени невольно громким восклицанием и спором сопровождали переменчивые обороты карточного счастья. Один только солидный капитан – тот самый, что вздыхал о халатах и перинах прежней караульной службы, – по праву старшинства в чине и в летах, сдерживал каждый раз чересчур уже громкие взрывы молодежи, напоминая ей о грозном запрете азартных игр по указу его императорского величества. И молодежь, любящая, в силу своих лет и горячей крови, что называется, поплясать на лезвии ножа, на минуту сдерживала, под давлением его авторитета, слишком громкое проявление своих азартных чувств и начинала говорить чуть не шепотом, но через некоторое время опять невольно отдавалась волнениям той же горячей крови и влиянию избытка юношеских сил. Каждый очень хорошо сознавал, что теперь уже не прежнее, еще недавнее, время, когда можно было где угодно и сколько угодно без запрета и без всякой опаски предаваться своим игрецким и иным пылким страстям юности; но тем-то и интереснее казалась для них игра, этот за-

претный плод новейших дней, именно потому, что он стал вдруг *запретным*, что тут приходилось теперь рисковать не одним своим карманом (это бы пустяки!), а всей карьерой, всею судьбой своей жизни.

Переменчивое счастье после нескольких оборотов своего колеса вдруг отвернулось от Черепова самым крутым образом. В несколько карт он спустил весь свой банк, который был сорван счастливым капитаном.

Молодой адъютант бросил колоду и объявил самым решительным тоном, что на нынешний день не станет более метать.

– Мечи кто хочет, ребята! С меня довольно: кошелек мой впусте.

– Играй на мелок[247], – предложил ему кто-то из товарищей.

– Гм... На мелок... Да мелков-то нет у нас.

– Ну на карандаш играй; карандашом записывать станешь!

– Не хочу! Довольно!

– Ну как знаешь. Займи, коли хочешь, и продолжай. Прерывать не следует.

– Довольно, черт возьми! Говорю, довольно! Продолжайте, государи мои, коли в охоту!

И он поднялся со стула.

Солидный капитан занял его место и стал метать.

Черепову было немножко досадно. Хотелось попытаться еще раз счастья – авось-либо вывезет! Но играть на карандаш или одолжаться у других ради игры ему не хотелось из самолюбия. Он отошел в сторону, налил себе стакан вина, развалился на канapé[248] и закурил тоненькую длинную голландскую пипку. А между тем, глядя на игорный стол, окруженный тесной группой молодежи, он чувствовал, как сердце его зудит страстным желанием попытаться снова свою удачу. В кошельке его оставался только один, и уже последний, «голландчик»[249]. Но этот червонец был для него заветным.

Его покойная мать, еще ребенком отправляя своего Васеньку в шляхетный корпус, вручила ему эту монету вместе с благословенным образом и заповедала сберечь ее на счастье или на самый крайний черный день, потому что этот "голландчик" принадлежал еще ее деду и спокон веку почему-то почитался в семье особенно счастливым. И Черепов до сей



минуты свято сохранял у себя дорогой подарок.

"Рискнуть разве?... Куда ни шло!.. Ведь он счастливым называется, ведь он заповедный! А коли счастливый, то должен выручить, – думалось ему в то время, как на столе золотые "голландчики" переходили из одной кучки в другую. – А что, если попробовать на ее счастье?... Ведь она и впрямь счастливая... Поставлю-ка я на бубновую даму... Ей-богу! Куда ни шло!"

И Черепов поднялся с места.

"Ну, моя радость, моя любимая, дорогая, желанная, выручай!.. Выручай меня!" – мысленно молил он, обращаясь в уме своем к светлomu образу той девушки, которая с недавнего времени всецело царила в его сердце.

– Атанде![250] – сказал он, вмешавшись в среду игроков, окружавших стол. – Золотой на бубновую даму.

– Ого! На девушку? – весело заметил кто-то.

– Да еще на какую, кабы вы знали! Уж коли эта не выручит...

– А вдруг изменит?

– Что-о?... Она изменит?... Мечите, капитан, мечите!

Вдруг в эту самую минуту кто-то внезапно дернул с наружной стороны за ручку запертой двери. Игра мгновенно прекратилась, карты исчезли со стола, и на грудки золота офицеры поспешили накинуть несколько салфеток. Заветный "голландчик" остался в кармане Черепова.

Один из игроков отомкнул задвижку и отворил. На пороге появился ресторанный слуга, а за ним выглядывала фигура гвардейского пехотного солдата.

– Что вы, черти, беспокоите!.. Чего вам надо?

– А вот кавалер про корнета Черепова пытаются, – почтительно объяснил лакей, – не здесь ли, мол, спрашивают, потому как они, сказывают, были у них на дому, и дома им сказали, что господин корнет здесь находится, то я им и говорю, что они точно здесь, и проводил сюда.

– От кого ты, любезный? Что тебе? – с неудовольствием спросил солдата Черепов.

– От их сиятельства графа Харитонов-Тро-

Фимьева очередной вестовой, – отвечал гвардеец. – К вашему благородию записка, – прибавил он, доставая из кармана сложенную и запечатанную облаткой[251] бумажку.

Черепов развернул записку и взглянул на почерк. Очевидно – почерк был женский.

"Господи! Неужели... Неужели она! Что ж это значит?" – тревожно екнуло его сердце, и он с нетерпеливым чувством жадно стал пробегать глазами наскоро начертанные французские строки.

*«Батюшке очень нужно зачем-то Вас видеть, – писано было в этой записке, – и так как я иногда по своей охоте разыгрываю, как Вам известно, роль его секретаря, то и спешу Вас уведомить, согласно его желанию, чтобы Вы приезжали к нам как можно скорее. Кстати, если хотите похвалить или покритиковать мой придворный сарафан, в котором я должна буду присутствовать на коронации и который только что привезен мне для окончательной примерки 2-жою Ксавье, то поторопитесь Вашим приездом».*

«Голубка моя! Дорогая!» – чуть было не вслух подумал обрадованный Черепов и, сунув кое-как записку в карман камзола, как ошалелый побежал вон из ресторана.

– Черепов!.. Вася!.. Друг! Куда ты? Что с тобой? – раздавались вслед ему голоса товарищей, изумленных этим поспешным и каким-то встревоженным бегством.

Корнет, не оборачиваясь, махнул им рукой и поспешил далее.

– Экой малый!.. Вот служака-то! Как спохватился вдруг! – пожимал плечами солидный капитан. – Ба! А ведь шпагу-то свою второпях и позабыл, – промолвил он, кинув случайный взгляд в угол, где стоял тяжелый кавалерийский палаш Черепова. – Эй! Сударь! Шпагу захватите! Шпагу! – кричал он ему вслед; но молодой адъютант, скрывшись за дверь, уже не слышал этих восклицаний.

– Вестовой! Подожди-ка, брат, на минутку, захвати шпагу корнета да беги за ним как наискорее! – распорядился один из офицеров, вручая гвардейскому солдату оружие Черепова.

Тот принял палаш и пустился вдогонку за



адъютантом.

Как назло, ни одного извозчика не было у подъезда ресторации. Черепов, проклиная и этот случай, и всех "ванек" на свете, спешно пустился шагать вдоль по Мойке, а вестовой что есть мочи нагонял его со шпагой и был уже в десяти шагах от своего офицера, как вдруг сзади обоих ясно и громко раздался чей-то повелительный и гневный голос:

– Солдат, стой!.. Господин офицер, стойте!..

Оба остановились, и в то же мгновение оба обернулись назад и замерли, окаменев в невольном испуге.

К ним, ухватив кучера за кушак и приподнявшись в одиночных легких санях, подъехал император.

– Чью несешь ты шпагу? – спросил государь вестового.

– Их благородия, – смущенно отвечал перепуганный гвардеец, указав глазами на Черепова.

– Их благородия? – повторил государь, принимая удивленный вид. – О?! Неужели! Стало быть, надо думать, что их благородию слишком тяжело носить свою шпагу, и она им, ви-

димо, наскучила. Пожалуйте-ка сюда, господин офицер, приблизьтесь! – строго позвал он Черепова.

Тот подошел, не предвидя ничего доброго.

– Ага, так это вы?! – гневно воскликнул узнавший его император. – Так это вы, сударь!.. Весьма сожалею!.. Жалуя вас в офицеры моей гвардии, не чаял я, сударь, что вы окажетесь столь небережливы к своему чину и притом столь нежны, что даже шпагу будете считать себе отягощением.

Черепов, не постигая до сей минуты, в чем дело и за что такой гнев, торопливо ощупал свой левый бок и только тут с ужасом заметил, что он без шпаги.

– Ну, любезный, – продолжал государь, обращаясь к вестовому, – так как сему офицеру шпага его тяжела, то надень-ка ты ее на себя, а ему отдай штык свой с портупеей[252] – это оружие будет для него полегче.

Ошеломленный Черепов понял, что этими роковыми словами вестовой произведен в офицеры, а он разжалован в солдаты, и машинально надел на себя амуницию рядового.

– Ступай в полк, – говорил между тем госу-

дарь гвардейцу, который живо подстегнул себе офицерское оружие, – явись твоему начальству и скажи, чтоб сего же дня при вечернем рапорте мне о тебе доложили. Как твое имя?

– Изот Нефедьев, ваше императорское величество!

– Хорошо, любезный! Ступай. А ты, – сверкнул государь глазами на Черепова, – становись на запятки!.. В крепость! – крикнул он затем кучеру – и бодрая лошадь помчалась.

Был четвертый час дня. На дворе стояла непогодь и ростепель, с моря дул порывами сырой и холодный ветер, но в улицах былолюдно, и на Невском проспекте сновало много экипажей. Еще издали завидя императора, народ торопливо снимал шапки и кланялся; возки, кареты и извозничьи санки останавливались среди улицы; из экипажей выскакивали седоки, сбросив свои шубы, и становились – мужчины прямо в грязь, на мостовую, а дамы на каретную подножку – и встречали проезжавшего государя глубокими поклонами. Беда, если бы кучер оплошал и не остановился вовремя: по проезде государя полиция



тотчас же арестовала бы виновных, причем и экипаж с лошадьми был бы отобран в казну, и кучер с фореитором насиделись бы на полицейской съезжей, где были бы высечены розгами, и выездному лакею (как и бывало то в иных случаях) забрили бы лоб[253], да и господа натерпелись бы множества хлопот и неприятностей. Эти строгие требования уличного этикета казались более всего обременительными и несносными для столичной публики, вызывая в ней постоянный ропот на новые порядки.

Видя гневное лицо государя и гвардейского офицера с солдатской портупеей на запятках его саней, прохожие с любопытством обращивались вослед последнему и окидывали его сострадательными взглядами. Всяк догадывался, что это, должно быть, новый несчастный, которого, наверное, упекут куда-нибудь далеко.

И сам Черепов думал про себя то же.

Смутно и горько было у него на душе.

"Теперь прощай!.. Теперь уже все пропало! – думалось ему в то время, как царский рысак бойко мчал легкие санки по людным

улицам. – Вот она, фортуна[254]!.. Ох, эта фортуна-цыганка, как раз обманет!.. А она... Она-то, моя радость, ждет, поди-ка, сердится: что, мол, замешкался!.. И не чаает, что ты уже в солдатах, на дороге в каземат, а оттуда, вероятно, в ссылку, в какие-нибудь отдаленные сибирские гарнизоны..."

Черепов знал, что в этих случаях не шутят, и высочайшие повеления выполняются комендантом Аракчевым немедленно, с быстротой изумительной. Ему стало жутко, когда подумал, что не успеет он теперь не только известить графа Харитонова письмом о своем неожиданном несчастье, что Лиза о нем ничего не узнает, но что не дадут ему даже захватить с собой перемену белья да кой-какое теплое платье, что так и посадят, как есть, в одном мундирчике, на курьерскую тройку, рядом с полицейским драгуном, и помчат через два-три часа в те страны, куда и ворон костей не носит. На свою беду, и деньги-то все проиграл он в проклятый фараончик! Как быть? За что ухватиться? С чем ехать в дальний и трудный путь?

В кармане у него оставался всего-навсего

единственный и последний его заветный червонец.

"Мать-покойница благословляла на счастье либо на крайний черный день... Вот он и пришел, этот черный! – думалось Черепову. – Как же теперь обернешься, да и много ли на такую сумму сделаешь?! Тулупишко да кенги [255] где-нибудь на попутном базаре купишь, коли дозволят, а на иное что и не хватит. Да пока купишь-то, ночью мороз ой-ой какой проберет... Смерть!.. Уж и теперь ветер до костей пронимает... Жутко!"

А бодрая лошадь меж тем все мчит и мчит по улицам легкие сани, и с каждым шагом все ближе и ближе к Петропавловской крепости, и прохожие все так же торопливо и смятенно спешат с глубоким поклоном обнажать свои головы.

"Господи! – думает Черепов. – Если бы была хоть какая-нибудь возможность заговорить, объяснить ему, как и почему это так случилось... Если бы он мог узнать все как есть и какие мои побуждения были... Да нет! Это невозможно!.. Нечего и думать пустое... Твоя, Господи, воля святая, будь что будет! Видно,

уж судьба такая на роду мне написана. Нечего, значит, и жалеть себя!"

И, думая таким образом, вдруг заметил Черепов на дощатых мостках какого-то дряхлого и больного старика нищего, очевидно отставного солдата, который, ковыляя на костыле и протягивая к прохожим руку, дрожал от холода и кутался кое-как в скудные и рваные лохмотья форменной епанечки.

"Я-то еще хоть молод и бодр, а вот этому каково! Может, семья с голоду да холоду помирает", – мелькнуло в уме Черепова, и сердце его сжалось от боли и сострадания при этой мысли.

И вдруг, по первому порыву сердца, почти не отдавая себе отчета, что делает и какие, еще более страшные последствия могут из этого выйти, Черепов повелительно крикнул царскому кучеру:

– Стой!.. Остановись на минуту!

Кучер по привычке, почти машинально придержал вожжи и в недоумении, одновременно с удивленным государем, оглянулся.

Лошадь остановилась.

Черепов соскочил с запяток, подошел к ни-

щему, полез в свой карман и, вынув заветный червонец, сунул его в дрожащую руку калеки.

– Дай тебе Господи... Спаси тебя Мать Пресвятая Богородица! – зашамкал, крестясь, во след ему несчастный.

– Пошел! – крикнул кучеру Черепов, спешно вскочив на запятки.

Лошадь снова помчалась.

Прошла минута – Павел не обронил ни единого слова. Прошла еще минута.

– А какой на тебе чин, братец? – вдруг обернул он искоса лицо свое на Черепова.

– Рядовой, ваше императорское величество, – отвечал тот.

– Рядовой?... Ошибаешься, братец, не рядовой, а унтер-офицер.

– Унтер-офицер, ваше императорское величество!

– То-то!

Едут далее. Переехали по льду через Неву. Вот и Иоанновские ворота Петропавловской крепости.

Черепов недоумевает: "Что ж это, в самом деле, значит и как объяснить себе? – произвел в унтер-офицеры, а все-таки везет в кре-

пость".

Перед самым въездом в ворота государь опять искоса повернул к нему лицо свое:

– Какой на тебе чин, сударь?

– Унтер-офицер, ваше императорское величество!

– Неправда, сударь, – корнет.

– Корнет, ваше величество! – подтвердил Черепов, все более и более приходя в недоумение и не зная, чем-то еще все это разрешится на главной гауптвахте, внутри крепости.

Он испытывал нечто похожее на внутреннее ощущение утопающего человека, которому кажется, что уж он совсем погиб, тонет окончательно, захлебывается, – и вдруг какая-то счастливая волна опять выносит его на поверхность, опять он видит на мгновение людей и небо и дышит воздухом, и вот кидают ему с берега спасательную веревку, он уже ловит ее руками, радостная надежда оживает в его душе, но он еще боится верить своему спасению: а вдруг капризный вихрь вырвет у него из рук эту веревку, вдруг новая волна опять окунет его в бездну...

Но – слава богу! – крепость проехали благополучно. Государь не остановился ни перед главной гауптвахтой, ни у подъезда комендантского дома; а при выезде из тех ворот, что мимо кронверка[256] ведут на Петербургскую сторону, опять обратился к Черепову:

– Господин офицер, какой ваш чин?

– Корнет, ваше императорское величество.

– Ан нет, не корнет, – поручик, сударь.

– Поручик, ваше величество.

– То-то.

Едут далее, по Петербургской стороне, мимо церкви Николы Мокрого, на Тучков мост выезжают.

– А каков ваш чин, господин офицер? – снова раздался голос государя, но уже на этот раз заметно повеселевший.

– Поручик, ваше величество.

– Гм... Поручик... Неправда, сударь, чина своего не знаете! Штабс-ротмистр, а не поручик!

– Так точно, ваше императорское величество.

– Что такое: "так точно"?!

И в этом последнем вопросе в голосе госу-

даря вдруг проявилась какая-то суровая нотка, от которой дрогнуло сердце Черепова и холодные мураши по спине побежали.

– Что – "так точно", сударь? – я вас спрашиваю! – еще строже повысил свой тон император. – Что чина своего не знаете, это, что ли, "так точно"?

– Никак нет, ваше величество, я говорю: так точно, что я штабс-ротмистр.

– Ага, то-то, сударь!

"Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Вынеси счастливо, Мати Пресвятая Богородица!" – мысленно молится Черепов, дрожа от холода на запятках. А санки meantime мчатся по Малому проспекту Васильевского острова и приближаются к Чекушам, к тому месту, где обыкновенно устраивается съезд на зимнюю дорогу в Кронштадт, проложенную по льду так называемой Маркизовой лужи. Тут стояла гауптвахта и при ней унтер-офицерский караул. Прохожих на этом пустыре почти не попадалось. На горизонте за взморьем, сквозь пустые тучи, начинали пробиваться рдеющие полосы заката, обещающая завтра мороз и ветер. Бодрый рысак нако-



нец устал и запотел. Пар валил от него клубами. Чтобы дать передохнуть лошади, государь приказал кучеру пустить ее шагом и повернулся к Черепову.

– Господин офицер, скажите мне чин ваш?

– Штабс-ротмистр, ваше императорское величество.

– Ан вот и неправда, сударь! Ротмистр!

– Ротмистр, ваше императорское величество! – бойко подхватил Черепов.

– То-то же, сударь, знайте! – кивнул ему государь с милостивой улыбкой. – Ну, скажите же мне, господин ротмистр, – продолжал он, – как могло таковое случиться, что вы позволили себе показаться на улице без оружия?

Черепов с полной откровенностью стал рассказывать, как было дело, как он после развода зашел с несколькими товарищами позавтракать к Юге, как после нескольких бутылок началась игра, как он проигрался в пух и, вспомня любимую особу, вздумал поставить на ее счастье, на бубновую даму, свой последний заветный червонец и как в это самое время явился графский вестовой с запиской.

– Кто играл с вами? – нахмурясь, спросил император.

Черепов в крайнем смущении потупил глаза, не решаясь выдать товарищей.

– Государь! Покарайте меня, я один виноват во всем! – произнес он с глубоким, искренно-сердечным чувством.

– Впрочем, я не любопытствую знать их, – сказал император, подумав. – Я ненавижу ложь и презираю лжецов, но в сем случае вполне понимаю побуждение, которое удерживает вас назвать ваших товарищей. Я вас прощаю. Но как могли вы все-таки забыть ваше оружие, тем паче если получили письменный ордер от вашего начальника и должны были спешить непосредственно к нему?

– Государь! – еще тише и смущеннее заговорил Черепов. – Я получил не ордер, а простую записку, и не от начальника, а...

– А от кого, сударь?

Черепов потупился и молчал.

– Уж не от той ли особы? – улыбнулся император.

– Вы угадали, ваше величество! – скромно поклонился Черепов. – И потому-то, – продол-

жал он, – как только увидел я строки, начертанные ее рукой, то и света невзвидел от радости и восторга, ибо это еще суть первые строки, первый знак внимания, полученный мною от нее... И я кинулся как ошалелый бежать на ее призыв, забыл оружие, забыл и все на свете, а уж это, вероятно, товарищи догадались передать мою шпагу вестовому, как вдруг встреча – с вашим величеством...

– Да, встреча с моим величеством, – перебил государь, начиная снова хмуриться. – Все это прекрасно! Но я желал бы знать, сударь, на каком это основании, и по какому праву, и по чьему, наконец, повелению солдаты моей гвардии летают любовными постильонами [257] и передают амурные цидулки [258]?

– Клянусь, государь! – с жаром воскликнул Черепов, подняв свою голову и прямо, искренно взглянув в глаза Павла. – Клянусь честью, это не амурная цидулка, это просто записка самого ординарного содержания.

– Охотно верю вашей искренности, сударь, но все-таки желаю знать, кто это дерзнул распоряжаться ради партикулярных посылок ординарцами графа Харитонов-Трофимьева?

Что было отвечать на этот вопрос и как назвать заветное, дорогое имя? Как выдать ту тайну своего сердца, в которой он даже и ей самой, этой "любимой особе", не осмелился еще признаться доселе?... Черепов снова смутился и снова потупился.

– Я жду ответа, сударь! – настойчиво и строго заметил государь.

Положение было ужасное. Неискренность, ложь или дальнейшее молчание могли быть пагубны для Черепова при этой вспыльчивости Павла, при этих резких и быстрых переходах его от гнева к милости и от милости вновь к жесточайшему гневу. Назвать имя графини Елизаветы Ильиничны – не значило ли бы скомпрометировать[259] ее, оставив в уме государя, быть может, подозрение насчет содержания письма, хотя бы и самого ординарного, как уверял он за минуту пред сим? И наконец, уже самый факт, что она, молодая, благовоспитанная девушка, вдруг ведет какую-то корреспонденцию с молодым адъютантом своего отца, – не кинет ли этот факт на нее в глазах государя хотя бы самую легкую тень и упрек в легкомыслии?... Что тут

осталось делать! А между тем это грозное «жду ответа, сударь», прозвучавшее из уст Павла непреклонным приказанием, светилось и в его взоре, пытливо и пристально обращенном на лицо молодого офицера.

Медлить далее было уже невозможно. Вместо всякого ответа Черепов достал из кармана записку Лизы и подал ее государю.

Павел Петрович пробежал ее глазами, и лицо его снова прояснилось, и на губах заиграла та благосклонная, приветливая улыбка, которую подчас он так умел очаровывать сердца и души.

– Так вот кто твоя зазнобушка! – сказал он, возвращая Черепову записку. – Ну, брат, извини, что узнал тайну твоего сердца. Впрочем, можете, сударь, быть спокойны: я ее никому не выдам.

Черепов почтительно склонил голову.

– И что же, – продолжал император после некоторого молчания, – молодая графиня отвечает вам взаимностью?

– Не знаю, государь... – со вздохом ответил Черепов. – Я никогда еще на сей предмет не дерзал объясниться с нею, хотя люблю ее го-

рячо и много.

– И на ее-то счастье ставили на карту свой заветный червонец? Ха-ха! – весело засмеялся император.

– Хотел было, ваше величество, – подхватил Черепов, – да не успел: не удалось! Но я твердо верю, что она выручила бы! Непременно!

– Гм... И лучше, что не удалось, молодой человек, поверьте!.. А какую же монету изволили вы, сударь, отдать нищему? – как бы домекнувшись о чем-то через мгновение и быстро переменив свой милостивый тон на несколько подозрительный, недоверчиво спросил Павел.

– Да все ту же, ваше величество! – усмехнулся Черепов.

– То есть червонец ваш?

– Так точно.

– Гм... Ну, вот видите ли, она и выручила! – снова самым веселым тоном и даже радостно воскликнул император. – Все-таки выручила! Там, где и не ждали! Ха-ха!.. Это прекрасный поступок, господин майор! – с некоторым увлечением продолжал он после короткого

раздумья. – Прекрасный поступок!.. У вас, господин майор, я усматриваю доброе и честное сердце... Я люблю это! Но мне нравится также и то, что вы чувствуете влечение к особе достойной! Я знаю ее – прекрасная девица, и вполне одобряю выбор вашего сердца. Думаете делать предложение?

– Не смею, ваше величество.

– Почему так?

– Да как сказать!.. Во-первых, неуверенность в ней, отвечает ли она моим чувствам...

– Мм... да, это до некоторой степени основательно. А во-вторых?

– А во-вторых, мое служебное, пока еще маленькое и скромное, положение...

– Н-ну, не совсем-то уж маленькое! – воскликнул, перебив его, император. – Ведь вы, сударь, насколько мне известно, кажись... э-э... тово... подполковник?... Не так ли?

– Точно так, ваше императорское величество!

– Ну, вот видите ли! Штаб-офицерский ранг! Это дело не маленькое и значуще облегчает, сударь, ваши шансы, если там у нас нет еще какого-нибудь неприятного «*в-третьих*».

– Увы! Есть и «в-третьих», ваше величество! – пожал плечами Черепов.

– Будто так?! Хм!.. Что же такое?

– Да разность положения. Я хотя и негнусного дворянского рода – старинной отрасли потомок, но... состояньишко невелико: всего-навсего триста душ в двух именьях, а она – дочь богача и вельможи... Такая ли ей партия пристойна!

– Об этом не думайте, сударь! – подумав, решительно сказал император. – Все это ваше «в-третьих», как есть, ничего не значащее. Она единственная дочь, и к тому же у нее и без вашего довольно. Старайтесь только, чтобы «во-первых» было удачно, то есть удостоверьтесь в ее чувствах к вам, а об остальном не заботьтесь.

В это время санки подъезжали к чекушинской гауптвахте. До платформы оставалось шагов сорок, не более.

– Караул – вон! – крикнул часовой у фронта [260], узнав императора.

И на его призыв из караулки выбежало человек десять измайловцев, которые спешно построились впереди сошек[261].



– Слушай, на пле-чо! Слушай, на краул! –  
скомандовал своему взводу старший ун-  
тер-офицер и, став на свое место, принялся са-  
лютовать алебардой[262]. Но этот салют «по-  
новому» выходил у него и неловко, и смешно.

Государь приказал кучеру остановить ло-  
шадь.

– Что за негодница стоит это за старше-  
го?! – крикнул он, мгновенно приходя в силь-  
ное негодование. – Дела своего не смыслит!  
Да, никак, пьян еще!

И действительно, наружность унтер-офи-  
цера отличалась далеко не воинственным ви-  
дом. Брюзгливое лицо с плаксивым выраже-  
нием глядело совсем по-бабьи, а несуразная  
одутловатая фигура на тоненьких ножках яв-  
ляла в себе нечто весьма комическое в этом  
военном костюме, и особенно с этой алебар-  
дой, которая была ей не по росту и, видимо,  
затрудняла собой неловкого воина.

– Несносный вид!.. Подите и прогоните его  
с платформы! – приказал государь Черепову.

Тот соскочил с запяток и побежал на гаупт-  
вахту. Но каково же было его удивление, ко-  
гда, подбежав ко фронту, узнал он в несураз-

ном унтер-офицере Прошку Поплюева.

"Вы какими судьбами?!" – чуть было не воскликнул Черепов, но воздержался, зная или скорее даже чувствуя, что на него наверное пристально смотрят теперь сзади два гневных глаза.

– Его величество изволил приказать унтер-офицеру убраться прочь с платформы, – сообщил он Прохору самым официальным тоном.

– Как?... С платформы? От фронта?... Меня?! Не можно тому быть, ваше благородие; я здесь начальство и стою на своем законном посту, – столь же официально возразил ему Поплюев.

– Его величество, говорю, самолично приказать изволил – прочь с платформы!

– А я говорю, что быть тому никак нельзя, и его величество приказать сего не может! Отстранитесь, ваше благородие, не мешайте мне делать салютацию и не стойте перед фронтом – сие порядок нарушает!

Черепов, пожав плечами, побежал обратно к санкам. В коротких словах он передал государю ответ Поплюева.

Павел Петрович, очевидно пораженный такой неслыханной дерзостью, два или три мгновения не произносил ни слова и, только глядя на Черепова, тяжело пыхтел и отдувался.

Это было у него обычным признаком сильнейшего гнева.

– Подите и сделайте то, что вам повелено. Арестуйте его сейчас же! – отчетливо отделяя слова, но не повышая голоса, сказал император.

Черепов снова побежал на платформу и сообщил приказание.

– Не верю, ваше благородие! – твердо возразил Поплюев. – И быть никогда не может такого приказа! Разве вы не знаете, что, прежде чем арестовать меня, вы должны сменить меня со вверенного мне поста? Извольте сменять, а тогда уже арестуйте.

Черепов опять побежал к саням и передал ответ унтер-офицера.

Это озадачило государя, но ненадолго. Подумав, он улыбнулся с довольным видом.

– А ведь прав! – заметил император. – И даром что пьяный, а лучше нас, тверёзых, знает

свое дело! Молодец, унтер-офицер! – крикнул он Поплюеву. – Спасибо за знание порядка службы!

– Рад стараться вашему императорскому величеству! – закричал со своего места Прохор.

Государь приказал поворотить лошадь и шибко поехал прочь от гауптвахты; Черепов едва успел вскочить на запятки.

Довольно долго ехали молча, и все это время Павел, казалось, погружен был в какое-то раздумье.

– Жаль! – как бы про себя подумал он наконец вслух. – Очень жаль, что пьян... А кабы не это, быть бы офицером...

– Да он не пьян, ваше величество, – решил-ся заметить Черепов, домекнувшись, что дело идет, вероятно, о Прохоре.

– Ты говоришь, не пьян? – повернув впол-оборота голову, нахмурился император.

– Точно так, ваше величество. Это уж он сроду так: мать-натура одарила его толиким невзрачием, и потому он сдает на пьяного, а он трезвый и дело свое в самой точности понимает.

– А вам, сударь, отколь он известен?

– Соседи по имению, ваше величество.

– Дворянин?

– Так точно, ваше величество, дворянин

Прохор Поплюев.

– Поплюев?... Тьфу! какая фамилия!..

– Фамилия точно что пасквильная, но человек хороший, и столь великую приверженность питает к воинскому делу, что даже у себя в имении учредил из дворовых людей мушкетеров с карабинерами, обмундировал их и очень деятельно обучал артикулу и гарнизонной службе.

– О?! Стало быть, любит?

– Отменно любит, ваше величество.

– И точно человек хороший?

– Беззлойный, ваше величество; чудак он немножко, но щедр и хлебосолен.

– А каков с крестьянами? Это главное.

– Да вот графу Харитонову хорошо известен он по ближайшему соседству; так граф однажды, как-то при случае, сказывал мне в разговоре, что с крестьянами он ничего себе, жалеет, и живут они у него в достатке и не печалуются на тягости.

– Ну, вот это мне очень приятно слышать! – с видимым удовольствием заметил император. – А вам, сударь, спасибо за то, что не оставили в заблуждении моих на его счет мыслей. Благодарю вас!

В это время санки подкатили к Салтыковскому подъезду Зимнего дворца.

Черепов быстро соскочил с запяток и, вытянувшись во фронт у самых дверей, приложил по форме левую руку к полю своей треугольной шляпы.

– А вы, кажись, порядком-таки продрогли, сударь, – заметил государь, выходя из саней и мимолетно взглянув в посинелое с холоду лицо офицера.

– Отнюдь нет, ваше величество! – поспешил бодро ответить Черепов. – Погода прекрасная, и я с удовольствием готов бы еще...

– Ага! Понравилось, сударь! – засмеявшись, перебил его император. – Видно, хочется быть полковником? Ну нет, брат, больше не надуеть! Пока довольно с вас и этого. Прощайте, сударь.

И государь скрылся за дверью подъезда.

Черепов вскочил в сани первого попавше-

гося извозчика и, посулив ему рубль на водку, велел гнать как можно скорее на Садовую улицу, к графу Харитонову-Трофимьеву.

Там о нем сильно беспокоились. Графиня Лиза в присутствии отца весело вертелась перед трюмо, осматривая на себе новую парадную робу из черного бархата, когда Аникеич, войдя с таинственным и испуганным видом, тихо доложил графу, что сейчас-де прибежал вестовой и рассказывает, будто с нашим адъютантом, с Василий Ивановичем, несчастье.

– Что такое? – встревожился Харитонов.

– Императору на улице попался, и сейчас его, значит, в солдаты и в крепость...

– Что ты врешь, старый дурак! О ком говоришь-то?! – недоверчиво и с досадой вскричал граф.

– Сами извольте допросить вестового, – пожал старик плечами. – Коли я вру, стало, и он врет.

Призвали вестового.

Тот, ошеломленный еще всем, что случилось с ним за несколько минут на набережной Мойки, рассказывал, насколько мог и

умел, все обстоятельства внезапной встречи с государем.

– Последнее слово их было "в крепость!" – с тем и поехали, – заключил свой отчет гвардеец.

Графу не верилось. Все это казалось так несбыточно, так странно...

– И ты не бредишь? – спросил он, колеблясь между сомнением и верой...

– Извольте взглянуть: на мне офицерская шпага, – как на доказательство, указал вестовой на свое оружие. – Это шпага вашего сиятельства господина адъютанта.

Дальнейшие сомнения были бы напрасны. Граф тотчас же отпустил вестового, которому по приказанию государя должно было немедленно бежать и сообщить обо всем полковому начальству.

– Бедный Черепов!.. Несчастный молодой человек! – в глубоком огорчении и в сильной тревоге повторял он, ходя по комнате и долго не замечая присутствия в ней своей дочери.

Но наконец, случайно вскинув глаза в ее сторону, граф увидел Лизу и остановился с невольным выражением вопроса и удивле-



ния.

Графиня Елизавета, вся бледная и скорбная, стояла безмолвно и неподвижно, как будто на нее столбняк нашел.

– Что с тобой?! Лиза!.. Лизонька! – с беспокойством подошел к ней граф. – Да откликнись же!.. Что ты!

– Это я виновата... моя записка... Это я погубила его, – с трудом и почти шепотом проговорила девушка.

– Ну полно, дружок! – начал было граф. – Могла ль столь пустая записка...

– Нет, нет, это моя вина... моя, – настойчиво и быстро перебила Лиза и вдруг порывисто схватила отца за руку.

– Папушка! Голубчик!.. Если любишь меня, спаси его! – с воплем и мольбою вырвалось из ее груди.

– Ах, милая, я рад бы сам, да нет путей сего исполнить! – с глубоким вздохом пожал граф плечами.

– Как – нет путей?! Как – нет?! Твой путь прямой: ступай к государю и проси его, поезжай сейчас же!.. Он тебя любит, он для тебя сделает это... Проси, моли его, – ну что ему

стоит!.. Ведь не преступник же Василий Иванович!

– Преступник устава воинской формы.

– Ах, бог мой!.. И что такое вся эта ваша воинская форма?! Ну и за что?... За что же?...

– Дитя мое, оставь, ты сего не понимаешь, – ласково и кротко успокаивал граф свою дочку. – Когда-нибудь, как император будет в особенно добром духе, я приступлю к нему, но ныне, когда он гневен – о, ты не знаешь, что такое гнев его! – ныне это решительно невозможно.

– Невозможно?... Ты говоришь "невозможно"?... Ну, так я сама пойду к нему! – порывисто и решительно вспрянула девушка. – Сама буду просить, кинусь в ноги, стану молить его, плакать... Я не допущу, чтобы человек погибал по моей вине... Я, я одна тут виновата! И он поймет же это, он тронется мною! А коли нет, то я скажу ему, что он тиран и деспот! Пусть и меня тогда заточат, для того что все ж таки я тут более всех виновата!

И с рыданием, наконец-то прорвавшимся наружу, вся заливаясь слезами, девушка упала на руки отца.

Долго ухаживал около нее граф и долго не мог ее успокоить. Он инстинктивно понял, что не одно лишь простое участие к знакомому человеку сказалось теперь в сердце девушки столь сильным и решительным порывом, что тут, кажись, кроется нечто иное, более глубокое...

Поэтому не хотелось ему делать кого-либо из домашних людей свидетелями ее слез и волнения, из чего потом могли бы, пожалуй, пойти разные преждевременные толки, предположения и заключения. Он сам, как мог и умел, успокаивал и утешал свою Лизу, как вдруг растворилась дверь, и послышались чьи-то быстрые мужские шаги...

Граф обернулся и даже вскрикнул от нечаянного изумления.

Весь сияя радостью и восторгом, к ним шел Черепов.

– Возможно ли?! – вскричал Харитонов, простирая к нему объятия и ясно слыша, как позади раздалось вдруг радостное восклицание дочери.

– Поздравляйте!.. Поздравляйте меня! – задыхаясь от сильного волнения и быстрого

взбега на лестницу, говорил Черепов.

– Спасен!.. Слава тебе, Господи! – крестясь, промолвили в одно время и граф, и Лиза.

– Мало того что спасен! С монаршею милостью поздравляйте! – восторженно говорил гвардеец. – С необычайною милостью! Я произведен в подполковники!

– Ну, полно, друг! – замахал на него рукой Харитонов. – С ума ты, что ли, спятил от радости!

– Ей-ей же, в подполковники! – побожился Черепов. – И даже так, что сам себе не верю, наяву ли то или во сне мне снится.

– Но как же это? Какими промыслами?

– Да так, что в течение единого часа разжалован в рядовые и из рядовых последовательным порядком произведен чрез все чины до подполковника включительно!

– Не верю!.. Воля твоя, не верю! Садись и рассказывай, если ты, сударь, и впрямь с ума не спятил.

И Черепов рассказал все, за исключением лишь той части своего разговора с государем, предметом которой была графиня Елизавета и его чувство к ней. Невольное смущение пе-

ред любимой девушкой и известного рода деликатность воздержали его от повествования об этой части.

Лиза слушала в нетерпеливом волнении и все время не сводила с него глаз, и чем далее шел его рассказ, тем все более и более выражение изумления и радостного восторга разливалось по ее красивому лицу.

– Господи! Спаси его, этого рыцарского, великодушного государя! Награди его за это! – воскликнула она в восхищении, когда Черепов закончил.

– Да, сударь, а все заветный червонец помог, из коего вы в черный день сделали столь достойное употребление! – весело заключил граф Харитонов-Трофимьев.

## XV. Коронация императора Павла

Еще с января месяца 1798 года стали делать приготовления к коронации. Двор соби-рался в Москву. Отряды гвардейских войск выступили туда же отдельными эшелонами. Вся придворная свита разделена была на несколько групп, из которых каждая должна была отправиться в первопрестольную столицу по особому расписанию. Еще ранее этого времени император купил у графа Безбородки его обширный и великолепный дом, против Головинского сада, и назвал его Слободским дворцом[263]. К этому дому приказано было пристроить по бокам две большие деревянные залы и домовую церковь. Свита великих князей, приехавшая в Москву ранее большого двора, разместилась против Слободского дворца, в здании Старого Сената, где была назначена квартира и великим князьям.

Сам император, прибывший с супругой после всех в сопровождении нескольких из приближенных лиц, остановился, по принятому обыкновению, в Петровском дворце.

Вскоре назначен был день торжественного

вшествия в древнюю столицу. На протяжении всего пути от Петровского до Слободского дворца расставлены были полки гвардии и армии: пехота, конница и артиллерия. К участию в церемонии наряжены были камергеры и камер-юнкеры, а так как день был холодный, то им приказано надеть супперроки, то есть род широких кафтанов из пунцового бархата. Один из военных участников этого парадного въезда[264] замечает, что «ничего не было смешнее, как видеть этих придворных (привыкших ходить по паркету в тонких башмаках и шелковых чулках) верхом бог знает на каких лошадях, и на тех не умеющих держаться и ими управлять: многих лошади завозили куда хотели, и оттого эти царедворцы потеряли свои ряды и наделали большую конфузию». Между ними в особенности была замечательна фигура графа Хвостова, бывшего тогда камергером[265]. Но в особенности странное впечатление на москвичей делали новые военные и гражданские мундиры участников церемонии, казавшиеся им с непривычки, после екатерининской роскоши, карикатурными. Все эти чиновники, во-

енные и статские, следовали по два в ряд, младшие впереди, что составляло «предлинную линию в виде протянутой веревки», как замечает участник[266]. После этих придворных ехал верхом император, один, и несколько позади него – два великих князя: Александр и Константин.

В Кремле государь остановился на несколько минут для того только, чтобы приложиться к святым мощам и иконам, после чего, сев опять на лошадь, продолжал шествие свое до Слободского дворца. Уже начало смеркаться, когда прибыл он к этому дворцу, и здесь, остановясь перед крыльцом, пропустил мимо себя церемониальным маршем все войска, участвовавшие в параде. Несчастные камергеры и гражданские чины должны были все это время оставаться верхом и до такой степени замерзли, что некоторых из них принуждены были снимать с седел почти в бесчувственном состоянии.

День своего коронования назначил император на 5 апреля, в самое Светлое Христово воскресенье.

На Страстной неделе вся императорская



фамилия говела и в Великий четверг приобрелась Святым Тайнам (кроме императора) в церкви Спаса за золотой решеткой. Обедня совершаема была митрополитом Платоном. Императрица Мария Федоровна, в полном блеске и цвете лет, великие княгини Елизавета Алексеевна и Анна Федоровна, великие княжны Александра, Елена, Мария и Екатерина Павловны, все одетые в белые платья, поражали взоры своей красотой и скромным величием. Митрополит Платон сумел выразить впечатление, производимое ими в ту минуту, как они предстояли пред алтарем в ожидании святого причащения. Когда торжественно растворились Царские врата, то, прежде нежели дьякон вынес сосуд с дарами, Платон вышел из алтаря и, как будто пораженный блеском августейших красавиц, отступил назад, а потом, обратясь к императору, сказал:

– Всемилоостивейший государь! Воззри на вертоград[267] сей! – И повел рукой, показывая на предстоявших.

У императора приметны были на глазах слезы.

Священный обряд коронования происхо-

дил, как обыкновенно, в Успенском соборе. Зрелище было исполнено величия в ту минуту, когда государь, самолично возложивший на себя императорскую корону, подал знак своей супруге приблизиться и короновал императрицу, преклонившую пред ним колена. Но замечательнее всего в этом обряде был момент, когда при возглашении "со страхом Божиим и верою приступите" Павел I вошел в алтарь через Царские врата, взял с престола чашу и как глава церкви сам причастился Святых Тайн. Это зрелище представлялось для присутствовавших особенно редким, потому что с самого 1728 года в России не было коронования *государя*. Причастясь в алтаре, император в короне и порфире[268] снова вошел на возвышенное тронное место и с высоты его сам прочитал во всеуслышание составленный им «Фамильный акт о порядке престолонаследия»[269] и повелел акт сей на вечные времена хранить в алтаре Успенского собора, в нарочно устроенном для того серебряном ковчеге[270].

Из Успенского собора коронованная чета в царских облачениях прошествовала под золо-

тисто-глазетовыми балдахинами вокруг деревянного Кремля в древний дворец российских государей; гром пушек, колокольный звон с Ивана Великого и со всех сорока сороков колоколен Москвы, звуки военной музыки и несмолкаемый гул восклицаний войска и бесчисленного народа сопровождали это торжественное шествие. Император милостиво и приветливо кланялся своему народу.

В этот день государь щедрой рукой осыпал многих наградами и отличиями. Весь штаб и обер-офицеры, служившие в гатчинских войсках, получили земли и деревни, смотря по чинам, от стадо двухсотпятидесяти душ, а некоторые, как Аракчеев, Кологривов, Донауров, Кушелев, по две тысячи душ. Кроме того, Аракчееву дано было баронское достоинство. Аркадий Иванович Нелидов – родной брат фрейлины Екатерины Ивановны Нелидовой, который при восшествии Павла Петровича на престол только что был выпущен из камер-пажей в поручики гвардии, а в марте 1797 года произведен в генерал-майоры и назначен генерал-адъютантом, – получил теперь Аннинскую ленту[271] и тысячу душ че-

рез пять месяцев своей действительной службы.

Из прежних екатерининских деятелей пожалованы: генерал-фельдмаршал граф Салтыков 1-й – крестом и звездой ордена Святого апостола Андрея Первозванного с алмазами, генерал-фельдмаршал князь Репнин – шестью тысячами душ крестьян; граф Безбородко – вотчиной, поступившей в казну после умершего бригадира Кантемира, и тридцатью тысячами десятин[272] земли в Воронежской губернии; сверх того, возведен в княжеское Всероссийской империи достоинство, с титулом светлости, и предоставлено ему на выбор шесть тысяч душ где угодно; Каменскому и Гудовичу 2-му – графское достоинство; вице-канцлеру Куракину – 4300 душ в Псковской и Петербургской губерниях; Ростопчину – орден Святого Александра Невского и 473 души в Орловской губернии; гардеробмейстер Кутайсов произведен в обер-гардеробмейстеры 4-го класса, граф Илия получил орден Святого Александра Невского. Много было и других наград; но при этом всеми замечено, что государственные деятели Екатери-

нинского времени, сравнительно с новыми, личными любимцами государя, награждены были гораздо щедрее. Впрочем, эти последние не роптали: для них впереди было еще будущее.

На другой день утром в Кремлевском дворце происходило торжественное "без-мен" (*baise-main*). Император и императрица на троне в Грановитой палате принимали поздравления от духовенства, высших сановников государства, сенаторов, придворных, военных, представителей дворянства и городских сословий. Рука императрицы покоилась на бархатной пунцовой подушке, и все мужчины, за исключением духовных особ, отдав поклон царственной чете, подходили к руке Марии Федоровны; дамы же ограничивались одним глубоким реверансом. Между духовенством всеобщее внимание обращали на себя несколько высших сановников церкви, украшенных орденскими лентами и знаками, что для москвичей составляло совершенную новость. Митрополит Платон, бывший некогда законоучителем Павла, присутствовал здесь в своем белом клобуке[273] и в фиолетовой бар-

хатной рясе, поверх которой красовалась орденская цепь Святого апостола Андрея Первозванного.

После "без-мена" был читан список вчерашних награжденных и пожалований им: всем крестьян роздано было более ста тысяч и надел землей по пятидесяти тысяч десятин каждому. Не забыты были и самые крестьяне: высочайший манифест, данный в самый день коронавания, возвещал, что, удостоившись принять священное миропомазание и венчание на прародительском престоле, император Павел почитает долгом своим перед Творцом повелеть, чтобы "никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам" и чтобы оные только три дня в неделю работали на помещика, а остальное время на себя, потому что "для сельских изделий остающиеся на неделе шесть дней по ровному счету вообще разделяемы, при добром распоряжении, достаточны на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям".

Этот манифест по всем церквам был читан народу, и когда по окончании "без-мена" госу-

дарь выехал верхом прогуляться по городу в сопровождении дежурного генерал-адъютанта и московского главнокомандующего графа Салтыкова, то громадные толпы простого народа со всех сторон окружили Павла, оглашая воздух криками "ура!". Тысячи шапок полетели вверх. Император с улыбкой милости и благоволения медленно двигался среди этого живого моря обнаженных голов. Какой-то мужичонка долго шел подле его стремени, все любуясь на своего царя. И вдруг он обтер пыль с сапога его величества, перекрестился и поцеловал его сапог. Это было как бы сигналом для толпы, которая таким же образом принялась целовать сапоги императора.

– Спасибо тебе, батюшка, ваше величество, за милости к нам, к серочи твоей! – раздавались голоса в ближайшей толпе народа. – Спасибо за то, что хлебушко нам удешевил! Войну пошабашил! Спасибо, что рекрутиков наших по домам вернул, воскресный праздник подарил нам, три дня барщины[274] прочь скостил! За все спасибо, милостивец! Ты нам как легче сделал!.. Чувствуем!

Государь отвечал, что прямо из Москвы на-

мерен сам поехать по России, чтобы собственными глазами видеть обыкновенный, повседневный быт своего народа, его нужды и потребности, и для того воспретил начальникам какие бы то ни было особые приготовления к его встрече.

Эта весть еще более усилила восторг простого народа.

Вечером был большой бал в залах Кремлевского дворца. Дамы съезжались в черных бархатных робах русского фасона, которые при блеске брильянтовых коле и брошей на белых куафюрах были необычайно эффектны. Мужчины – и военные, и статские – все были в самых простых форменных мундирах нового образца, в черных чулках и башмаках, в пудреной прическе с тупеем[275], с треугольниками под мышкой и при шпагах.

Между всем этим отборным обществом делал сильную сенсацию слух, передаваемый шепотом, что трем дамам из высшего московского света было отказано в приезде ко двору, несмотря на то что, по положению мужей своих, они имели к тому полное право.

– Как?! Что?! Почему? – шепотом перелета-





ли вопросы, обращенные друг к другу хорошими знакомыми из москвичей.

– А это надо понимать так, что сей акцией он торжественно обнаружил нетерпимость свою к вольной жизни.

– Которая весьма уже, и до самого высокого градуса, у нас усилилась, – подхватывали при этом в пояснение те, которые имели причины быть особенно довольными этим распоряжением.

– Положим, и так, но... Кому какое дело, что кума с кумом сидела! – возражали им защитники фривольных нравов.

– Ну, нет, монарх должен держать камертон всем нравам и порядкам своего государства, – оспаривали защитники нового павловского режима.

– Положим, и так, – продолжали оппоненты, – но это можно было бы выразить иным способом, не столь компрометантным для особ знатных фамилий.

– Э, нет, – настаивали защитники, – не говорите! Напротив! Он потому-то так и учинил, чтобы доказать самым делом свою антипатию к фривольству. Будь это незнатные гос-

пожи, ославившиеся слишком своевольной жизнью, мера не имела бы своего предостерегательного значения. То не была бы мера наказующая. А потому-то она и мера, что он учинил так, не уважив нимало, что эти три госпожи суть именитых фамилий.

– Совершенно истинно! – утверждали другие защитники новых порядков и взглядов. – Совершенно так и надлежало, потому что молва о сем наверное разнесется повсюду, и для того многие наши барыни в тот же час начнут воздерживаться и привыкать к жизни порядочной.

– Тсс... Смотрите, смотрите!.. Кто такова?... Чья?... Какая прелесть!.. Видите? Видите? – пробежал по зале гул замечаний и вопросов, и все глаза с любопытством и вниманием устремились в одну сторону.

По зале проходил граф Илия Харитонов-Трофимьев под руку со своей дочерью.

Она была действительно прекрасна. Роскошь естественных волос, красиво подобранных и взбитых в высокую прическу искусной рукой лучшего парикмахера; чүдная белизна роскошных плеч, выделяемая еще рельефнее

из-под черного бархата; ясность и сила искристого взгляда выразительных глаз; радостная улыбка, в которой так ясно выражалось все удовольствие, вся чистая полудетская радость, все бессмертное счастье, ощущаемое в эту минуту молодой девушкой, вывозимой еще впервые в большой свет и на такой бал, – все это в совокупности придавало графине Елизавете такую восхитительную прелесть, такую детскую наивную чистоту, не умеющую маскировать своих внутренних ощущений, что на нее невольно устремились внимательные взгляды старых и молодых ловецасов, давно уже отвыкших в своей придворной и светской жизни, среди любовных интриг и похождения, от созерцания подобной нравственной чистоты, свежести и, так сказать, девически детского величия. Такая неиспорченная прелесть – и физически, и нравственно – только и могла создаться в уединенной, почти глухой деревне, при помощи всех тех средств, которые были в распоряжении умного и честного опального вельможи. И этот контраст нравственной чистоты и обязательной прелести молодой девушки с этими

великосветскими искушенными модницами и кокетками петербургского и московского света невольно, сам собой, с первого взгляда бросился в глаза всем и каждому.

– Какая дивная особа! – глядя сквозь лорнет на графиню Елизавету, сказал Безбородко, стоявший рядом с престарелым Херасковым, которого перед этим он только что "удостоил" своего особого внимания и разговора как старейшего представителя нашей литературы и поэзии.

– Российская Цирцея[276]! – с видом старческого восторга сказал Херасков, отправив в нос добрую понюшку французского рапе[277] из тяжеловесной золотой жалованной табакерки.

– Нет, ваше превосходительство! Нет, не Цирцея! – с живостью перебил его Безбородко. – Цирцея – это слишком низменно, слишком плотски для нее!.. По-моему, скорей уже Мадонна, если нам нужны боготворения.

– Ваша светлость, позвольте согласить мое определение с вашим, – с почтительно-любезным видом, сквозь который, однако, проглядывала внутренняя независимость, сказал Хе-

расков. – Цирцея в образе Мадонны или Мадонна в образе Цирцеи. Не так ли? В ней есть и то и другое.

Безбородко, любуясь на графиню Елизавету и в то же время как бы соглашаясь с Херасковым, молча кивнул головой.

В это время Екатерина Ивановна Нелидова, завидя графа Илию с дочерью, прервала, извиняясь, какой-то разговор с одной из самых почтенных и взыскательных московских старушек и с доброй, милой улыбкой пошла навстречу графине Елизавете.

– Как я рада, что наконец-то вас встретила! – приветливо заговорила она по-французски, протягивая Лизе свои замечательно маленькие и изящные ручки. – Мой брат не дает мне покою: он давно уже слышал о вас от меня, но сегодня видел вас здесь впервые, ранее меня, и теперь просто сторает от нетерпения быть вам представленным. Он очень добрый мальчик. Позвольте мне вас познакомить с ним.

Лиза, не зная, что отвечать, полусмущенно взглянула на отца и потом на Нелидову.

– Я очень рад, Екатерина Ивановна; наде-

юсь, и она тоже, – поспешил ответить старик, заметив взгляд дочери, выражавший ее затруднительное положение.

Нелидова подала графу руку, и они втроем направились к почтенной московской старушке, за креслом которой стоял безбородый и девически свежий юноша, Аркадий Иванович Нелидов, в своем генерал-адъютантском мундире с Аннинской лентой через плечо и с необыкновенно счастливым, самодовольным выражением во взоре и улыбке.

Ярко-радостные лучи посыпались из его глаз, когда он увидел сестру, подходившую к нему вместе с графом и Лизой.

Фрейлина Нелидова представила их друг другу.

Но не успел еще разговориться молодой генерал-адъютант с пленившей его девушкой, как к ней уже подошел адъютант одного из высоких германских гостей и почтительно передал, что его высочество просит оказать ему честь – протанцевать с ним следующий контрданс[278].

– Передайте его высочеству, что я благодарю за честь и буду ожидать его, – совсем про-

сто проговорила Лиза.

– Ах, та cher[279]! – с видом легкой дружеской укоризны деликатно заметила ей Нелидова, обмахиваясь блестящим веером. – Надо было отвечать не иначе как приняв на себя вид почтительной благодарности и с глубоким реверансом, по этикету, ведь принц наверное смотрел на вас в эту минуту... Это большая честь!.. Я бесконечно рада за вас!

– Учите, учите, Екатерина Ивановна, мою добрую дурушку, – заметил граф, ласково хлопывая слегка по руке дочку, чтобы ободрить ее от невольного смущения, которое почувствовала она при словах Нелидовой.

– Граф, позвольте представить вам и графине, вашей дочери, моего доброго друга, – заговорил вдруг со своей лукаво-добродушной улыбкой Лев Александрович Нарышкин, подводя какого-то немощного, расслабленного субъекта, на лице которого было написано и старческое сластолюбие, и старческая жажда бодриться и молодиться во что бы то ни стало.

Харитонов с легкой вопросительной улыбкой окинул взглядом того и другого.



– Мой друг и достойный ментор[280] моей молодости, граф Ксаверий Балтазарович Лопачицкий, – продолжал Нарышкин, рекомендуя расслабленного субъекта, – камергер прежнего двора и генерал-поручик российской армии.

Харитонов протянул руку.

– Смотри-ка, брат, пожалуй, и этот хрен туда же! Каков? – чуть не прыская со смеху, заметил командир Конногвардейского полка, толкая под руку одного из своих старших офицеров, окружавших его целой группой.

– Что ж, ваше превосходительство, это означает, что мы вскорости будем пировать на его свадьбе, – шутя, заметил тот.

– Куда ему! – махнул кто-то из конногвардейцев.

– Как куда, помилуйте! Он еще не токмо сносен, но и бодр. Смотрите, смотрите, как увивается! – кивнул молодой офицер, граф Уваров.

– А вы знаете, ваше превосходительство, анекдот, который произошел с ним некое время назад? – обратился он к полковому командиру.

– Что за анекдот? Не знаю. Расскажите, пожалуйста.

– Как же-с, – начал офицер. – Покойная императрица Екатерина узнала как-то случайно, что этот чиновный, с отличными достоинствами и уже преклонных лет человек взял к себе в метрессы[281] некую танцовщицу. Обстоятельство, так сказать, экстраординарное, и всем оно стало, к вящему скандалу, досконально известно. Но что ж делает ее величество? Посудите сами: велела выучить заморского попугая сему упреку в его поступке и прислала ему ту болтливую птицу в день его именин вместо поздравления. Съехались эта гости, а он и хвастается: вот-де какой милостью изволила почтить меня ее величество! Еще никто-де из вас, господа, не удостоился получать таковой! Ну, те и возжелали видеть заморскую птицу. Приказал Лопачицкий принести клетку и поставить ее пред гостями. Горд и доволен своим преимуществом необычайно. Но вдруг глупая птица попугай как брякнет ему на чистейшем русском языке: «Стыдно, брат, на старости влюбляться, да еще в танцовщиц!» Можете заключить об эф-

фекте, который произвело это на присутствующих!

Офицеры, глядя на не лишённую комизма фигуру расслабленного старца, так и покатились со смеху.

– А ведь, гляди, чего доброго, женится! Предложение сделает! – воскликнул командир.

– Ну нет, едва ли! Соперник есть, и могущественный соперник! – сомнительно покачав головой, сказал веселый рассказчик.

– Соперник?... Кто таков? – спросили некоторые из товарищей.

– А вот, извольте взглянуть: его превосходительство генерал-адъютант Нелидов. Этот посильнее будет!

Подполковник Черепов, как офицер Конногвардейского полка, стоял в этой же кучке. Услышав имя Нелидова, в соединении с которым было произнесено слово "соперник", и метнув глаза в сторону, он одновременно почувствовал в груди прилив негодования, ревности, досады, опасения и боязни потерять свою надежду на возможность счастья с любимой девушкой. Анекдот о попугае не произ-

вел на него ни малейшего впечатления, в это время он чувствовал себя в состоянии задуть собственными руками этого Лопачицкого вместе с Нелидовым, который вдруг сделался ему ненавистным. Он видел, что графиня Елизавета весьма благосклонно и приветливо отвечает на любезности Нелидова и что старый граф вовсе не смотрит на это неприязненным взглядом; напротив, разговаривая с влиятельной московской старушкой и с фрейлиной Нелидовой, он этим самым как будто давал своей дочери возможность большего сближения с молодым блестящим генерал-адъютантом, который, по-видимому, стремился вполне воспользоваться предоставленным ему преимуществом. Так, по крайней мере, казалось Черепову.

Ревность, злость и досада с каждой минутой все более и более овладевали его сердцем. Он чувствовал себя в состоянии сейчас же подойти к этому ненавистному Нелидову и наделать ему всяческих неприятностей и дерзостей, вызвать его на дуэль, но... присутствие около него графини Елизаветы, во всей ее чистоте и прелести, невольно воздержало моло-

дого человека от всяких чрезвычайных и сильных проявлений своего взволнованного чувства.

Скрепив сердце и, по странному чувству, во весь вечер не решаясь подойти и заговорить с нею, он видел, какое лестное внимание оказывал ей во время контрданса блестящий германский принц и как на эту прекрасную пару с живым любопытством устремлялись внимательные взоры всех присутствовавших; видел потом, как танцевал с графиней Лизой молодой Нелидов и какой благосклонной улыбкой отвечала она на его, по-видимому, непрерывные любезности и внимание; видел, как потом подошел к ней расслабленный генерал Лопачицкий и пригласил на менуэт[282], который император Павел нарочно заставил всех екатерининских стариков протанцевать в этот день в Грановитой палате. Все присутствующие закусывали губы и строили серьезные мины, чтобы не прыснуть от невольного смеха, глядя, как все эти развалины в паре с молодыми красавицами выделывают антраше[283], грациозные пируэты и поклоны по старой танцмейстерской

школе.

Сам император, судя по его улыбке, казалось, нарочно устроил всю эту потеху.

За ужином Черепову пришлось очень далеко сидеть от графини Елизаветы, но он видел, и не столько даже видел, сколько чувствовал инстинктом каким-то, что она совершенно счастлива и довольна, встречая, с одной стороны, такое внимание к себе молодого принца, а с другой – будучи окружена Нелидовым и графом Лопачицким, которые напереерыв друг перед другом всячески стремились своею любезностью предупредить ее малейшее желание.

## XVI. «Звезда московска небосвода»

Траур по императрице далеко еще не кончился, и потому блестящие собрания в Дворянском доме, у главнокомандующего и у других первейших вельмож и сановников обходились без танцев. Единственное исключение было допущено только на бале во дворце, в самый день коронации. Дамы являлись на эти вечера, собрания и придворные куртаги не иначе как в черных робах, стараясь избежать роскоши в отделке и убранстве, потому что роскошь была неприятна государю. На самых больших из этих вечеров все дело ограничивалось одним полонезом, звуками которого встречали появление императорской фамилии. Государь с супругою в предшествовании двух церемониймейстеров с жезлами и в сопровождении лиц своего семейства, шествовавших за ним попарно – кавалер с дамой, – обходил под звуки полонеза вокруг залы, даря все собрание поклонами и улыбкой, а затем танцы совершенно устранялись. Общество, рассыпавшееся по смежным залам и гостиным, составляло вокруг небольших столов

партии в лото, бостон и дофин[284]; молодые люди и девицы играли в фанты, в колечко, в вопросы и ответы, в угадывание желаний и тому подобные игры.

Граф Харитонов-Трофимьев еще заблаговременно, до коронации, отделал заново свой московский дом и задавал в нем теперь вечера и банкеты. Один из этих вечеров был почтен присутствием императорской фамилии, и государь, всегда блиставший в обществе своим остроумием и очаровывающею любезностью, был весьма ласков к хозяину и внимателен к его дочери.

Графиня Елизавета еще с первого выезда в большой свет на всю Москву сделала положительное впечатление. В ней единогласно признала Москва звезду первой величины, ее все замечали, о ней все говорили, некоторые ей завидовали, но все восхищались ее наружностью, о ней даже злословили, и это последнее обстоятельство могло служить ручательством верного и полного успеха. Толпа поклонников, и молодых, и старых, и высокопоставленных, и ординарных, приветствовала ее появление в обществе, и всякий из них наперерыв



старался обратить на себя ее благосклонное внимание. Граф Ксаверий Балтазарович Лопачицкий, пользуясь привилегией своей почтенной старости, иногда получал от Лизы на свою долю более снисходительной полушутливой благосклонности, чем молодые и блестящие искатели. По этому поводу Лев Нарышкин частенько напоминал ему в шутку знаменитую фразу его попугая, но старый граф Лопачицкий не смущался этим нимало. Молодой Нелидов, казалось, тоже был весьма заинтересован графиней Елизаветой Ильиничной. Нелединский-Мелецкий посвятил ей и написал в альбом одно небольшое стихотворение, которое все находили прелестным и чувствительным. Даже сам "патриарх российских пиитов", старец Херасков, на склоне дней своих спустился с высот пиндарической [285] оды и нетвердою старческою рукою начертал в этом альбоме четверостишный мадригал [286] в честь «звезды московска небосвода».

Встречая теперь графиню Елизавету в обществе, Черепов не раз вспоминал ту минуту, когда эта прелестная девушка еще в Петер-

бурге, возвратясь домой после первого представления своего императрице, неожиданно пожалованная во фрейлины ее величества и упоенная блеском и счастьем своих впечатлений, восторженно рассказывала ему о приеме, которого была удостоена, о необычайном внимании, оказанном ей придворного знатью... Черепов тогда уже видел, насколько это все льстит ее молодому, чуткому самолюбию, насколько все это начинает ей кружить пылкую голову. Он тогда еще, радуясь вместе с нею ее счастью, смутно и тревожно почувствовал в душе, что эта вольная пташка закружится в вихре большого света, что эта гордость первого успеха впоследствии, быть может, послужит помехою его сближения с нею, которое началось так тихо, так просто, хорошо... Теперь, с болью в душе, он видел, что эти смутные предчувствия начинают сбываться.

Лиза действительно закружилась в этой упоительной атмосфере придворного блеска, светских успехов, похвал, поклонений и обожания. Тут все и повсюду льстило ее самолюбию, приятно щекотало гордость, будило дре-



мавшее чувство сознания своей красоты, своего положения, своего превосходства... Черепову казалось, что это была уже не та графинюшка Лизутка, какую еще так недавно знал он ее в глухой опальной деревне. Не то чтобы она вся мелочно погрузилась в радужную суетность окружавшей ее жизни, не то чтобы для ее души не существовало уже ничего вне ее светских успехов, – нет, душа-то у нее все-таки была хорошая, чистая, высокая и, в сущности, оставалась такою же, как и прежде, но... одурманенная на первое время фимиамом всех этих похвал и поклонений, она, не думая, не анализируя и даже как бы не понимая вовсе, зачем это надо думать и анализировать, когда все так хорошо, отдалась охватившему ее потоку, отдалась радостно и доверчиво, полная жизни, свежей и благоухающей молодости и жажды новых, светлых впечатлений. Она доверчиво и любопытно, как бабочка на огонь, вспорхнула в этот очаровательный блестящий свет из темной неизвестности своей деревенской жизни. «О чем тут думать! Здесь так хорошо, так светло, тепло и радостно, здесь все так меня любят, так хва-

лят... И все они, право же, такие прекрасные, чудесные люди – и мужчины и женщины – все без исключения, и мне так хорошо с ними, и я сама так люблю их... Пусть всем будет хорошо и весело жить на свете!» – так думала Лиза и беззаветно отдавалась уносившему ее потоку. Она искренно и глубоко была убеждена, что и всем так же хорошо, как и ей, что и все так же думают, как она, и так же чувствуют.

В отношении Черепова она не то чтобы переменилась, но стала как-то рассеянее. Мысль ее, постоянно отвлекаемая все новыми и новыми заманчивыми сторонами еще незнакомой и неизведанной ею жизни, менее сосредоточивалась, менее имела теперь случаев и поводов останавливаться на Черепове, чем прежде, в первое время в Петербурге, когда Лиза никого еще почти не знала и не видела вокруг себя, когда подле нее был один только он, да отец, да старая нянька. Теперь же в Москве какими-то судьбами вдруг отыскались и родственники, и друзья, и знакомые; пять кузин наперебой заискивали у нее дружбы, две двоюродные тетки – почтенные

московские барыни, что называется, барыни с весом и с голосом, – соперничали между собою в нежных родственных чувствах к племяннице, стремились взять ее под свое авторитетное покровительство и поговаривали о достойной партии. Но о последнем Лиза пока еще вовсе не думала.

Между тем Василий Черепов страдал и мучился втайне. Он ревновал ее ко всем ее светским успехам и испытывал порой нечто очень похожее на чувство совершенно беспричинной ненависти ко всем ее поклонникам. "Странное дело! – размышлял он иногда сам с собой. – И что это со мной вдруг случилось! Ведь надеялся же я не плошать, ведь хотел же брать ее с бою! С чего ж это теперь опускаются руки!.. Малый, кажись, не робкого десятка, и повели только она, так хоть на черта ради нее полезу, все сделаю, все превозмогу!.. И ведь было время, одно бы только слово сказать, признание сделать прямо и просто, и... Почем знать, быть может, о сю пору была бы уже моей... Одно лишь слово... Одно!.. Но почему ж оно, это слово заветное, почему не выговаривается?... Ведь был же я доселе не толь-

ко смел, но иногда и предерзок даже с иными женщинами; и удавалось, все удавалось... Почему же пред этой чувствую, что и ум мутится невольно, и язык немеет, и руки опускаются... Одни лишь глаза говорят, но она в глазах прочесть того не умеет или не может... А как знать? Быть может, и не хочет прочесть... Отчего это так со мной? Уж не оттого ли, что тех, иных женщин, я только обхаживал, волочился за ними, а эту люблю... люблю впервые истинной и большой любовью..."

Но от всех этих мучительных вопросов, дум и размышлений ему все же было не легче, и дело его ни шагу не подвигалось ближе к желанной цели. Напротив, теперь он стал гораздо далее от Лизы, чем в Петербурге. С тех пор как император внезапно осчастливил его в несколько чинов разом до подполковника включительно, он в силу своего штаб-офицерского ранга не мог уже оставаться личным адъютантом при графе Харитонове-Трофимеве и на другой же день был отчислен паролным приказанием государя в свой лейб-гвардии Конный полк. Хотя по новым штатам в старой гвардии этого чина и не полагалось,

но на сей раз такова была воля императора. С отчислением в полк уже не было причины по-прежнему бывать ежедневно в доме графа и проводить там почти все время; пришлось поневоле сделать свои посещения более редкими и менее продолжительными, да и случаи к разговорам с графиней Елизаветой выдавались теперь гораздо реже, и все эти препятствия служили только к тому, чтобы все больше беречь сердце влюбленного Черепова.

## XVII. В Английском клубе

Двор готовился к отъезду в Петербург, а император к путешествию по России в сопровождении Безбородки, Аракчеева и некоторых других лиц из ближайшей своей свиты. Его величество прежде всего намеревался посетить литовские губернии и вообще западную окраину своего государства. Гвардия тоже приготавливалась к походу в Петербург, на свои постоянные квартиры, и на днях уже должна была выступить.

Идучи однажды по Тверской, Черепов вдруг услышал, что кто-то сзади окликнул его



по имени. Он обернулся и увидел Прохора Поплюева, который в это время спрыгивал с дрожек, запряженных красивым рысаком собственного поплюевского завода.

– Ба-а! Вот оно кто! – удивленно воскликнул Черепов. – Эге, да что я вижу!.. Вы в офицерском мундире!.. Поздравляю! Давно ли это?

– А помните, в тот раз, как вы с его величеством в Чекуши приезжали, – сюсюкал Прохор самодовольным тоном. – Я было думал, что он меня тогда в гарнизусе куда-нибудь в Сибирь, а он, батюшка, на-ко! За изрядное знание службы в обер-офицерский чин пожаловал. Справку самолично обо мне навел в полку, ну, великий князь [287], спасибо ему, отзыв дал, что я ништо себе, не гнусен, и вскорости за то самое вдруг читаю в приказе... Так-то-с!.. Только – не в гвардию! – вздохнул Поплюев. – Написать изволил чином подпоручика в армию... Это, конечно, лучше, чем ничего, но... при матушке-императрице мы, гвардии сержанты, армии капитанами себя полагали, а ныне... Ну да и то слава богу!.. Куда шествовать изволите?

– Да вот думаю в какой-нибудь трактир зайти пообедать, – сказал Черепов.

– Самое настоящее дело! И я за тем же! – подхватил Прохор. – Я в Английский клуб еду, и буде вам то не в противность и все равно, где ни обедать, то поедемте вместе. Я ведь старый член, запишу вас гостем, а ныне там новому повару вторительная проба делается. Преотменный повар, я вам скажу! Поедемте!

Черепов согласился, и поплюевский рысак помчал обоих знакомцев к Английскому клубу.

Повар действительно был преотменный и показал себя на славу, так что Прохор с чувством самоуслаждения отдал всю достодожную дань справедливости его искусству и объедался до отвала. Здесь была вся московская знать, заштатные деятели Семилетней войны и вообще Елизаветинской эпохи, пред которыми люди "времен очаковских и покоренья Крыма" почитались в некотором роде как бы молокососами. Тут были и сенаторы, и генералы не у дел, и дипломаты Бестужевской школы, и экс-губернаторы, и вообще все то, что давало Москве особый тон и цвет

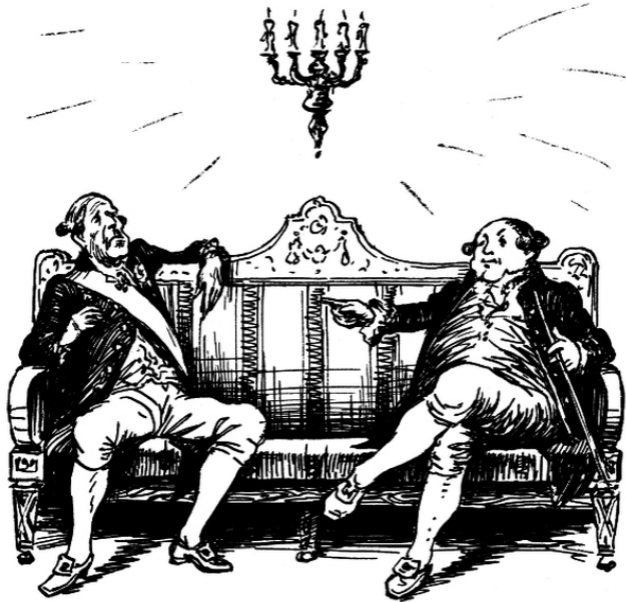
несколько брюзгливой и недовольной, но благодушной и патриархальной оппозиции новым людям и новым порядкам. Мнения здесь высказывались громко и независимо. Тут же присутствовало в качестве гостей и несколько петербургских стариков, некогда сослуживцев и старых приятелей московским старцам.

И те и другие встретились здесь за обедом радостно, как родные после долгой разлуки, и от удовольствия, казалось, помолодели. За-стольная беседа оживлялась воспоминаниями: кто рассказывал про службу в Оренбургском крае еще при Татищеве[288], кто про Пугача[289] и Шамхала[290] Тарханского, и про Остермана[291], и про Миниха[292], кто о переформировании Берг-коллегии[293] и московского архива что-то доказывал, кто про панинскую ревизию, а кто и кёнигсбергскую фрейлен Летхен вспоминал, и варшавскую панну Цецилию... К общей потехе каждый прилагал свое, не стесняясь; анекдот шел за анекдотом. Доставалось, кстати, и современным порядкам и нововведениям... Старички будировали[294] и высказывали вместе с тем

свое старинное, отменно тонкое умение вести в обществе умные и вместе приятнейшие беседы. А седовласые откормленные лакеи между тем разносили по разным концам столов то изумительную кулебяку, то чудовищных стерлядей на серебряных блюдах, и старший клубный метрдотель [295] с гордым сознанием собственного достоинства предлагал со- столъникам «манзанеллы, каркавеллы или франконского» и иные самые тонкие вина. Встав от стола с покрасневшимися щеками и взвеселившимся от воспоминаний сердцем и проходя мимо бюста императрицы Екатерины, старики вдруг словно опомнились, остановились, молча посмотрели на нее, как на живую, молча взглянули друг на друга, отерли глаза и отошли со вздохом.

Черепов, окончив обед, прошел покурить и отдохнуть в диванную. В мягком полусвете этой уютной комнаты как-то особенно хорошо дремалось под тихий говорок клубных старожилов, которые искони удалялись сюда для послеобеденной дремы и послеобеденной беседы.

Вдруг ему показалось, что кто-то произнес



имя графини Елизаветы Ильиничны. Очнувшись тотчас же от легкого полузабытья, Черепов кинул взгляд в ту сторону, откуда послышалось это имя, и увидел в углу на диване графа Ксаверия Балтазаровича, подле которого сидел Нарышкин.

– Сколь она прелестна! – старчески восторженно восклицал Лопачицкий. – Сколь прелестна! В особенности на последнем куртаге...

– "Стыдно, брат, на старости влюбляться!" – слегка похлопывая его по колену, подтрунивал Нарышкин.

– Ба-а!.. Но разве я столь стар, черт возьми!

– Однако!

– Однако я желал бы иметь потомка – вот что!

– Зачем это, милый ментор моей юности?

– Затем... затем... Ну, хоть затем, дабы род не угас, имя передать и состояние.

– Поздно хватился, брат.

– Для чего так? Для чего же поздно?

– Да для того, что потомка у тебя не будет.

– На каком основании не будет?

– Фу, боже мой! Да тебе сколько лет?

– Мне... Мне всего только семьдесят два года.

– А-а! Ну, это дело иного рода! – согласился Нарышкин. – Коли так, то женись смело: в семьдесят два года дети всегда бывают, и непременно!

– Ты таково думаешь?

– Уверен в том, ибо таков закон природы. Вот видишь ли, – продолжал Нарышкин, – в пятьдесят они еще иногда могут быть, но с трудом; в шестьдесят их совсем не бывает, но в семьдесят два – наверное и непременно! Надлежит только взять за себя молоденькую!

– Вот-вот!.. Я так и думаю, так и намерен! – подхватил плешивый селадон[296], потирая руки.

– Только гляди, брат, опасайся знатного риваля[297]! – шутя предостерег Нарышкин.

– Кого это?... Кто таков риваль мой? – прищурясь на собеседника, пренебрежительно двинул губой Лопачицкий.

– А Нелидов-то? Ты что себе думаешь?

– Oh, mon cher! Ce n'est qu'un, damoiseau! [298] – самоуверенно махнул рукой граф Ксаверий Балтазарович. – Какой это риваль мне! Помилуй!

– Однако, говорят, что не ныне-завтра он сделает формальное предложение, и это мною из наивернейших источников почерпнуто.

– Пф! Ему откажут!

– Едва ли. За него ратуют пять кузин и две

тетки. Да и самой-то ей, кажись, он вовсе не претит.

– Н-ну, mon cher, то мне лучше знать!

– Твое дело, конечно... А все-таки повторяю вслед за твоим попугаем: "Стыдно, брат, на старости влюбляться!"

– Alons donc, farceur![299]– с некоторой досадой мотнул головой влюбленный селадон и поднялся с места.

Этот разговор произвел на Черепова неприятное впечатление. Ему больно было слушать, что к той, кого он чтит столь высоко, люди относятся так легко, так шутливо, что этому поеденному молью, облезлому старцу может же вдруг прийти оскорбительная мысль сделать ей предложение. Но больше всего кольнуло его в сердце известие о намерениях юного генерал-адъютанта. Нарышкин, по-видимому, говорил совершенно серьезно и столь утвердительно, что с этой стороны Черепов почувствовал серьезную опасность. Нелидов молод, красив, умен, образован; один из первейших любимцев государя; пред ним впереди еще более блистательная карьера – при таких условиях что препятству-



ет ей отдать ему руку и сердце?

С пылающей головой и щемящим, тоскливым чувством в душе вышел Черепов из Английского клуба и быстрыми шагами бесцельно пошел по тускло освещенным московским улицам. Он шел, не глядя, куда идет, и ничего не замечая ни пред собой, ни около себя. В голове его вертелась в каких-то туманных обрывках все одна назойливая мысль, центром которой была графиня Елизавета и рядом с нею этот ненавистный, но прелестный Нелидов; в сердце подымались то злоба, то горечь и слезы, и казалось ему порой, будто земля ускользает из-под его ног и вместе с нею ускользало все его счастье и дымом разлетались мечты и надежды.

## XVIII. Масонская ложа

Двор и гвардия вернулись в Петербург, где добыденная жизнь того и другой вошла в свои колеи, резко и твердо обозначенные для них императором еще с первых дней его воцарения. Черепов надеялся, что после московских торжеств и праздников графиня Елизавета Ильинична, почувствовав себя опять среди своей мирной и тихой домашней обстановки, захочет несколько отдохнуть от светского рассеяния, более сосредоточиться в самой себе и тогда «авось-либо и про нас, грешных, вспомнит, авось-либо станет по-старому уделять долю своей дружелюбной внимательности и – как знать! – быть может, теперь-то и заметит, что она весьма не чужая моим сердечным чувствованиям». Так думал и надеялся Черепов, но – увы! – мечты его пока еще не оправдывались на деле: графиня Елизавета при встречах была с ним и приветлива, и любезна, но под этой любезностью как-то не чувствовалось той простоты и задушевности, какая была в ней прежде. Ему казалось, будто она в отношении его все еще находится в ту-

мане той рассеянности, в которой находилась все время московских празднеств, и он с болью в душе признавал себе, что эта рассеянность чуть ли не выражает полнейшего равнодушия к нему, – так казалось Черепову, и потому состояние внутренней затаенной тоски почти не покидало его. Все товарищи и приятели не без сожаления замечали промеж себя, что, положительно, он изменился.

Однажды как-то после вахт-парада заехал к нему по дороге один из его добрых знакомцев, некто гвардии-капитан Гвоздеев, человек пожилой и солидный.

Черепов приказал подать закуску, после которой приятели разговорились, и беседа их незаметно приняла характер задушевности.

– Скажите, государь мой, – говорил Гвоздеев, прохаживаясь с ним по комнате, – все мы, ваши друзья-приятели, примечаем, что вы досконально преобразовались как-то, стали вовсе не тот, что прежде, словно у вас докука некая в сердце... Ежели то с моей стороны не назойно и вам не претит, скажите, как другу... Быть может, у нас явится возможность помочь, облегчить или, по крайности, хотя

посоветоваться вместе.

– Да как вам сказать!.. Просто скверно живет на свете, – пожал плечами Черепов.

– Вам ли то молвить!.. Вы, который лично известны государю и он до вас столь милостив, служебная карьера вам улыбается, состояньишка, слава богу, хватает, из себя молодец и добрый малый, любим и уважаем товарищами, – чего вам более?...

– Все это так, да здесь-то вот непокойно, – сказал Черепов, указав на сердце.

– Аль зазнобушка?... Ну что ж!.. Это в натуре вещей: годы ваши такие, и коли любите, то эта непокойность и тем паче на благо вам, сударь.

– Да, хорошо любить, коли и вас взаимно любят... Но не в том сила... Отчасти, коли хотите, есть и это, а отчасти и другое нечто... Сумненья и мало ли что...

– Сумненья? – серьезно повел бровью Гвоздеев. – В чем же сумненья-то? В себе ли, в жизни или в верованиях?

– Всего бывает порой, – проговорил Черепов, как бы вдумываясь и вглядываясь внутрь самого себя. – Но опять-таки не в этом главная

сила, – продолжал он, – а в том, что просто скука давит, пустота вокруг какая-то, неудовлетворенность моральная... Чувствую, что не хватает чего-то, и живо чувствую, а чего – и сам не знаю, уяснить не могу себе. Но порой такие минуты находят, что, кажись, на всякую отчаянность, на всякое сумасбродство пошел бы со всей охотой, очертя голову, лишь бы забыться!

– На эту болезнь есть лекарство, – серьезно и с чувством внутреннего убеждения сказал Гвоздеев. – Лекарство сие – самоуглубление, размышление; надо познать себя в испытании естества своего и своей внутренней природы, и тогда вы обряцете в жизни духа такие утешения и сладости, каковых никогда не даст вам вся эта юдольная[300] суетность со всем ее блеском, со всеми ее благами и почестьюми.

Гвоздеев замолк на минуту и продолжал раздумчиво ходить по комнате.

– Известно ли вам, сударь, что-либо о "Великом Востоке"[301]? – остановился он вдруг перед Череповым. – Слыхали ли вы нечто о братстве «вольных каменщиков»?

– Случалось, – отвечал тот, – и не раз, и от людей весьма досточтимых, которые к нему относились со всем почитанием.

– Мудрый и не может отнестись иначе, – заметил собеседник.

– Да, но правительство наше, кажись, не совсем-то...

– То есть покойная императрица, сказать вы желаете? – перебил Гвоздеев. – Да, это так, но не нынешнее правительство. Ныне, напротив, – продолжал он, – сам император весьма сочувственен ко франкмасонству и всегда таковым оставался. Ныне в здешней ложе[302] можно встретить людей и знатных, и высокопоставленных. Стремление ко всеобщему благу не есть и не может быть преступно.

– Вы франкмасон? – открыто и прямо спросил Черепов.

Гвоздеев потупился в легком смущении и ответил не сразу.

– Хотя уставы братства, – сказал он, – и воспрепятствуют открываться профанам, но вы человек честный и мой приятель, и я вам откроюсь. Да, я франкмасон, и счастлив тем внутренно, ибо только с тех пор, как оным соде-

лался, мои горизонты расширились и я уразумел, что в жизни, помимо суетного себялюбства, есть еще жизнь духа, есть иные, более высокие задачи и мечты... Вот где, сударь мой, можно обрести целительный бальзам от тех духовных недугов, которые вас снедают! – с жаром глубокого убеждения заключил Гвоздеев.

Черепов с любопытством стал было спрашивать о сущности общества, о его задачах и стремлениях, но собеседник объявил наотрез, что не имеет права открывать их непосвященному, что в этом отношении его связывает добровольно данная клятва, что идея и задачи братства имеют несколько степеней и даже посвященным открываются не сразу, а постепенно, по мере убеждения высших членов в их духовном совершенствовании.

– Но если дух ваш точно жаждет новых сфер и достойного поприща, – сказал Гвоздеев, – то я могу предложить вас в члены и ввести в ложу; тогда, по мере удостоения вашего, вам все откроется, все станет ясно, и вы узнаете на земле истинное благополучие.

То состояние духа, какое за все это время испытывал Черепов, как нельзя более располагало его в пользу сделанного ему предложения. Тоска любви, исключительно наполнявшая его душу, неудовлетворенные стремления к счастью, не дававшимися в руки, внутреннее одиночество среди товарищей – все это делало в его глазах пустой и непривлекательной ту жизнь, которая повседневно его окружала. Он смутно, но верно почувствовал, что ему необходим какой-нибудь исход, какое-нибудь отвлечение в иную сторону, во что-либо новое, еще неизведанное им в жизни, и потому-то с радостным и благодарным чувством ухватился он за предложение Гвоздева.

– Углубитесь в себя, – сказал ему тот на прощанье, – подумайте хорошенько над самим собою, поразмыслите наперед, и если убедитесь, что хотение ваше не есть минутный порыв, а истинная воля души, жаждущей просветления, тогда решайтесь. Через два дня я заеду к вам, и коль скоро решимость ваша не ослабнет, а еще тем паче укрепитя, – я буду к вашим услугам, сударь, и мы



поедем тогда.

В назначенный срок Гвоздеев явился к Черепову.

– Ну что, не раздумали? – спросил он.

– Везите! – было ему решительным ответом.

– Коли так, то ожидайте меня завтра в шесть часов вечера.

На другой день в условленное время они сели в карету и поехали. Экипаж остановился вскоре на набережной Фонтанки, пред одним каменным домом солидной барской постройки, наружные окна которого были замазаны белилами, что как бы указывало на отсутствие хозяев, а в сущности, быть может, служило к тому, чтобы не привлекать праздное любопытство прохожих или внимание уличных соглядатаев. Вообще все внешнее устройство этого дома показывало, что он никак не предназначался для отдачи внаймы разным жильцам. В нем не помещалось ни лавок, ни ремесленных заведений, и видно было, что весь он составляет одну квартиру, одно широкое помещение, как бы нарочно приноровленное для барского богатого семейства. Двор

был чист и безлюден.

Оба приятеля, отпустив наемный экипаж, вошли в широкие полутемные сени с колоннами и лепным потолком и поднялись по широкой лестнице в приемную комнату.

Здесь Гвоздеев оставил Черепова и, предупредив, что ему придется несколько обождать, скрылся за внутреннюю дверь, которая за ним наглухо захлопнулась.

Минут через десять из этой самой двери вышел какой-то неизвестный человек, одетый в черный фрак, и приблизился к Черепову.

– Если желаете последовать за мною, вы должны позволить мне завязать вам глаза, – сказал он тихо и вежливо, приподняв к лицу его белую повязку.

– Это необходимо? – спросил Черепов.

– Это необходимо! – утвердил неизвестный самым решительным тоном.

Черепов в знак согласия подставил ему свою голову. Плотнo завязав глаза, незнакомец взял его за руку и повел чрез большой ряд покоев. Вдруг он остановился, и Черепов услышал гром тяжелых железных запоров,

вслед за которым закрипели массивные двери.

Оба переступили высокий порог и вошли в комнату, где провожатый посадил Черепова на стул.

– Когда я удалюсь отсюда, – сказал он все тем же вежливым тоном, – вы скиньте повязку и углубитесь в книгу, которая разверста перед вами.

Новый скрип двери и гром запоров возвестили об его удалении.

Черепов снял повязку и в недоумении огляделся вокруг. Его окружали совершенно черные стены какой-то мрачной пещеры. При слабом свете лампы, которая, тихо покачиваясь, висела над его головой, глаза его встретили человеческий череп и близ него разверстую Библию на бархатной голубой подушке, обшитой золотым галуном[303]. Все это помещалось на небольшом квадратном столе, который был покрыт тяжелой черной пеленой, со всех сторон падавшей до самого пола. Этот пол был тоже черный, затянутый сукном или войлоком.

Вся эта мрачная обстановка делала впечат-



ление могилы, которое усилилось еще более, когда Черепов заметил вверху сводчатого по-

толка, как раз над своей головой, какое-то темное мерцание. Вглядевшись пристальнее, он увидел, что это было круглое матовое стекло, на котором нарисован красками человеческий череп со скрещенными костями и с надписью вокруг: "Memento mori"[304].

Черепов придвинул к себе Библию и внимательно стал читать.

Через несколько времени в глубине пещеры беззвучно раскрылась совершенно незаметная потайная дверь, и в комнату вошел новый незнакомец, одетый в черное. Голубая лента обвивалась вокруг его шеи, опускаясь на грудь, и на ней висел золотой треугольник. Тот же эмблематический знак, но только меньших размеров, на ленте алого цвета с серебряными каймами, украшал левую сторону его груди. В правой руке незнакомца сверкал темным стальным блеском обнаженный меч.

Человек медленными шагами приблизился к столу и с важным видом спросил:

– Какое намерение ваше, вступая в братство "вольных каменщиков"?

– Открыть вернейший путь к познанию истины, – отвечал Черепов.

– Что есть истина?

– Свойство той первоначальной причины, которая сообщает движение всей вселенной.

– По силе возможности дасться вам понятие о тех путях. Но теперь, – продолжал незнакомец, – следует вам знать, что послушание, терпение и скромность суть главнейшие качества, коих требует от вас вначале общество, в которое вы вступить намереваетесь. Чувствуете ли себя способным облечься сими первоначальными добродетелями?

– Употреблю к тому все свои силы. Но знайте также, – поспешил прибавить Черепов, – что меня привлекает не любопытство к наружным обрядам общества; я хочу увериться в том, что жаждет, но не достигает дух мой; хочу иметь средства утвердиться в добродетели и знать, бессмертна ли душа моя?

– Лъзя[305] ли сомневаться в том! Ничто не исчезает в мире.

– Но, будучи частью предвечной души мира сего, каким образом душа, оскверненная пороками, соединится с чистейшим источником своим?

– "Ищите – и обрящете, толците – и отвер-

зется", но начните повиновением, – отвечал незнакомец с несколько торжественною строгостию и, позвав вслед за тем брата прислужника, приказал ему снять с Черепова все вещи, какие были при нем, – шпагу, часы, кошелек, форменный кафтан, камзол и один сапог – именно с левой ноги. Исполнив, что требовалось, брат прислужник накрепко и в узел перетянул ему разутую ногу платком выше колена, снова наложил на его глаза тугую повязку и обнажил грудь, спустив с левого плеча сорочку. Вслед за тем Черепов почувствовал, что к обнаженной груди его, как раз против самого сердца, приставлен меч, острие которого касалось его тела.

– Следуйте за мною, – все с тою же важною приказал незнакомец и, взяв Черепова за руку, повел его из пещеры.

Долго в таком положении делал он с ним различные круги и обороты по комнатам, не отводя стального острия от его груди, но наконец остановился и наложил его руку на какое-то массивное кольцо.

– Ударьте сим кольцом три раза в вертикальную плоскость, – приказал он, и Черепов

исполнил его веление.

Через минуту за дверями послышался голос:

– Кто нарушает спокойствие беседы братской?

– Профан, – отвечал путеводитель. – Он желает вступить в члены священного братства.

– Не тщетное ли любопытство влечет его к тому? – продолжал голос за дверями.

– Нет! Он жаждет озариться светом истины.

– Какое имя его? Звание? Лета? Место рождения? Занятый род?

Черепов через путеводителя должен был с точностью ответить на все эти вопросы, после чего дверь отворилась, и его ввели в большую залу и поставили, как показалось ему, должно быть, посередине нее. Повязка все еще оставалась на глазах его, и холодное острие касалось груди.

Через минуту среди глубокой тишины услышал он издали важный и тихий голос, который его спрашивал:

– Профан! Настоятельно ли желаешь ты вступить в священное сословие?



– Да! – отвечал Черепов.

– Имеешь ли довольно твердости, чтобы перенести испытания, тебе предстоящие?

– Да, – повторил он с внутренним убеждением.

– Брат учредитель порядка! – торжественно воззвал тот же голос. – Начни испытания и сверши с профаном путь продолжительный и трудный!

Тогда подошел к Черепову брат учредитель порядка и, снова приставя ему меч к груди, а другой рукой взяв его за руку, начал с ним путь от востока на запад и, тихо, малыми шагами продолжая водить его таким образом, громко и внятно говорил на философическую тему о жизни и смерти; потом остановился, потрепал его по плечу и воскликнул:

– Vénéérable[306]! Профан свершил первое испытание; твердость его подает надежду к перенесению дальнейших.

Вслед за сим эти же самые слова были повторены еще двумя какими-то голосами, и тогда повелевающий голос воззвал:

– Брат учредитель порядка! Начни второй путь!

И снова повторилось круговое хождение от востока на запад, и снова продолжалась ясная и твердая речь о материи и духе, о бесконечном и о бессмертии; и таким образом был пройден второй путь испытаний и за вторым – третий, который уже был последним. Когда же брат учредитель порядка поставил Черепова на место и, потрепав опять по плечу, отдал венераблю отчет, его речь слово в слово была повторена теми же двумя голосами, и тогда уже третий голос, тихий и сострадательный, произнес:

– Возлюбленнейшие братия! Профан окончил с похвалою испытания свои. Он достоин вступить в общество наше. Позвольте ли ему приобщиться к лику вашему?

Раздалось глухое рукоплескание многочисленных лиц, из чего Черепов догадался, что этим знаком братья изъявили свое согласие.

– Итак, да приблизится! – повелел издали голос.

Новопринятого брата повели прямо вперед, направляя его ноги так, чтобы он ступал на известные места, взвели на ступени, поставили одним коленом на подушку и возложи-

ли правую руку на Библию и меч. Кто-то наложил на эту руку свою длань[307] и повелел клясться в сохранении тайны.

По произнесении клятвы, слова которой Черепов повторял вслед за незнакомым ему голосом того, кто держал под своей ладонью его руку, его отвели задом на прежнее место, и здесь некто возле него сказал ему:

– Выстави язык! – и приложил к нему какое-то железо.

В то же самое время раздался повелевающий голос:

– Да спадет повязка с глаз его! Да удостоится увидеть свет лучезарный! – И она упала.

Мгновенно перед глазами Черепова вспыхнуло большое яркое пламя и столь же мгновенно исчезло. Тут он увидел пред собой в освещенной круглой зале около сорока человек, сблизившихся вокруг него в полукруг, с устремленными прямо на него мечами. За этими людьми, на возвышении, где помещался престол, под зеленым балдахинном, усеянным звездами, стоял великий магистр с повелительно простертою вперед рукою. По мановению его сонм[308] братьев занял места

свои.

Приглядываясь к этим людям, Черепов заметил, что все они сидели в черных шляпах и на каждом надет был белый лайковый передник, но у одних передники были просто белые, у других же – обшитые розовыми и голубыми лентами, что означало разные степени достоинств. Точно так же по степеням распределялись и те символические знаки, которыми украшались груди братьев. Золотые и серебряные треугольники у одних висели на голубых, у других на алых лентах, и при этом на шее или же в петлицах. Великий магистр тоже был в шляпе, только вместо треугольника на его груди красовался золотой многоугольник, подвешенный на голубой широкой ленте. Перед ним стоял стол, покрытый до самого пола зеленым бархатом. По трем углам этого стола возвышались три массивных шандала [309], а посередине лежали на подушках Библия, меч, белый молоток, циркуль и треугольник.

Когда все расселись по местам, великий магистр приказал подвести новопринятого члена к своему престолу.

Теперь, подходя к нему с уже открытыми глазами, заметил Черепов, что посреди залы лежал на полу большой план Соломонова храма[310]. Он догадался, что при первом приближении к престолу ноги его последовательно были переставляемы нарочно затем, чтобы ступать на известные изображения, и именно на те места, которые по плану ведут постепенно во святая святых.

Взойдя на ступени и приблизившись к престолу, Черепов преклонил колена. Великий магистр взял циркуль, поставил его на обнаженную грудь неофита[311] и троекратно ударил по нему молотком. Кровь брызнула из раны, к которой брат-учредитель поспешил подставить серебряную чашу. Каждое действие сопровождалось здесь особенными словами и изречениями по установленному обряду. Когда чаша уже достаточно оросилась кровью, великий магистр предложил Черепову одеться, для чего он был введен в смежную залу, где ему уняли кровь с помощью какой-то вяжущей жидкости и помогли облечься в его платье; и когда после этого он опять был введен в круглую залу и поставлен пред престол-

лом, венерабль обратился к нему с особенной речью.

– Возлюбленный брат! – начал он торжественным голосом. – Все, что ты ощутил и видел, суть гиероглифы[312] таинственной существенности: повязка на очах, темная храмина, умственные углубления, ударенье кольцом, пути с востока на запад, шествие по изображению храма Соломонова, – все это есть не иное что, как разительные черты того, что может возбудить в душе твоей мысли о ничтожности мира и желание к отысканию истины: «Ищите – и обрящете, толците – и отверзется». Мы уверены, что довольно бы было единого слова твоего к сохранению тайны; но мы ведаем также и слабость сердца человеческого и потому над священной сею книгою религии, наполняющей ревностью сердца всех нас, приемлем для обеспечения себя клятву твою, снизующую тебя с нами посредством сей священной книги. Для того требуем мы клятвы к сохранению тайны, дабы профаны, не понимающие цели братства сего, не могли издеваться над оною и употреблять во зло. Свобода и равенство царствуют между

нами. Под именем «вольных каменщиков» мы будем стараться вкупе о восстановлении здания, основанного на краеугольных камнях, изображенных в сей книге.

При этом венерабль указал на Библию. Затем, подавая Черепову лайковый передник и маленькую кирку, он продолжал:

– Любезный брат! Для того облакаем тебя, подобно каменщику, запоном[313] и вручаем кирку. Приими также и сию безделку – знак братского союза нашего – и носи на груди своей всякий раз, когда посетишь общество.

И он вручил Черепову прорезной золотой треугольник, на сторонах которого было изображено: "Les amis réunis"[314], а в середине – две соединенные руки. Этот орденский знак висел на алой с серебряными каймами ленте.

– Приими сии перчатки, – продолжал оратор, подавая Черепову пару, сделанную из батиста, – и да будут они тебе в знак сохранения чистоты твоих деяний; прими также и эти две женские перчатки – для подруги жизни твоей, если таковую изберешь себе. Прекрасный пол не входит в состав нашего общества, но мы не нарушаем устава Творца и природы.

Прими, наконец, сей меч, которым должен отсекасть страсти твои, и ведай, что общество соединенной братии, в которое ныне вступил ты, есть ничто само по себе, если не устремишь воли своей к отысканию истины; но это общество служит преддверием пути, который жаждет открыть пробужденная совесть падшей души.

По окончании этой речи великий магистр обратился к брату учредителю порядка и повелел ему облечь Черепова в символические знаки "вольных каменщиков" и научить предварительным гieroглифам. Тогда брат-учредитель принялся объяснить неопиту, что так как он, неопит, принадлежит пока еще к "Les apprentis", то есть к ученикам, которые составляют первую степень масонства, то знак этой категории есть как бы хватающее прикосновение правой руки к шее, потом перенесение этой руки на правое плечо, слагая большой палец с указательным, и, наконец, опущение ее вдоль по бедру. Знак же "для познавания брата" заключается в пожатии рук таким образом, чтобы большой палец одного подавил руку другого два раза, с малой оста-



новкой, а в третий гораздо сильнее и продолжительнее.

– Слово для узнавания масона есть Saquin, – продолжал брат-учредитель, – и говорится оно после пожатия руки так: "Скажи мне первое слово, я тебе скажу второе", тогда вопрошаемый, буде он масон, произносит: "s", а вопросивший вслед за ним: "a", первый "q", второй "и", и так далее. Слово священное есть Tudalcain, и все эти слова и гиероглифы имеют свое значение, но первой степени оные не открываются.

Этим последним объяснением закончилось посвящение Черепова в масоны. Проэкзаменовав его тут же относительно правильного усвоения им гиероглифических знаков и найдя, что он усвоил их верно, ему подвязали лайковый передник, повесили на пуговицу кирку, а в петлицу треугольник, дали в руки обнаженный меч, велели надеть шляпу, подобно всем братьям, и указали то место, которое должно принадлежать ему во время братских собраний. После этого все члены поднялись со своих мест и чинно отправились в особую столовую, где ожидало их братское

пиршество.

## **XIX. Общественная жизнь в Петербурге при императоре Павле**

**П**ервая, ученическая степень масонства, в которую был посвящен Черепов, не открыла перед его нравственно-духовными очами никаких особенных тайн и откровений, которые двинули бы жизнь его на новую дорогу, указали бы ему иные, высшие цели и задачи. А он так желал, так надеялся именно на это!.. Гвоздеев утешал его тем, что не все-де может быть открыто сразу, что наперед нужны основательная подготовка и строгая последовательность в степенях, а затем со временем все само собою станет ясно и маэстозно для его ищущего и пытающего духа. Но пока все это сулилось еще впереди, а в настоящую минуту, при всех своих усердных и аккуратных посещениях ложи, Черепов видел одну только внешнюю сторону масонства, одни лишь обряды, часто вовсе не постигая их смысла и ни во что не успевая проникнуть далее и глубже этих чисто внешних формальностей. Такое положение вскоре намного

охладило его рвение, и он стал уже гораздо реже посещать собрание. Разочарование последовало еще и оттого, что многие из масонов, не только низшей, но и более высоких степеней, не стеснялись в обществе говорить легко и даже иронически как о братьях, так и о своем собственном масонстве. «Что ж, это одна мистическая забава, игра взрослых детей в страшную игру!» – с горечью думалось ему в иные минуты.

Но положительный результат, приобретенный Череповым в масонской ложе, заключался в новых знакомствах с некоторыми из тогдашних профессоров Академии наук. Императрица Мария Федоровна оказывала особое внимание и покровительство этому ученому учреждению, и даже несколько профессоров русского происхождения пользовались от ее величества особыми субсидиями за чтение публичных лекций в залах академии и в Кунсткамере. Профессор Гурьев читал там высшую математику, Захаров – химию, Севергин – минералогию, а Озерецковский – зоологию и ботанику. Публика в особенности любила последнего; хотя он говорил и грубо, не

разбирая выражений, но всегда умно, ясно и увлекательно. В числе слушателей его были многие морские и горные офицеры; посещали иногда аудитории и молодые гвардейцы, между которыми Черепов был не из последних. Эти лекции доставляли им случаи к развитию многих понятий и к приобретению основательных сведений о некоторых научных предметах. Гвоздеев тоже был в числе наиболее ревностных слушателей и, подбодряя Черепова, говорил ему, между прочим, что это есть один из существеннейших путей к усвоению масонских стремлений и "абсолютной истины".

Академия того времени хотя и не отличалась особенным блеском, но приносила обществу несомненную пользу. Подле знаменитых иностранцев: Эйлера, Эпинуса, Палласа, Шуберта и Ловица стояли русские имена: Румовского, Лепехина, Озерецковского, Севергина, Иноходцева, Захарова, Котельникова, Протасова, Зуева, Кононова и Севастьянова. Правда, не все из этих русских были люди великие и гениальные, притом многие же из них придерживались чарочки, но все они трудились

и честно действовали на пользу и преуспевание России. Первое место в числе их занимал Озерецковский, человек умный, настоящий ученый, но вздорный, сквернослов и большой руки кутила. Гвоздееву удалось как-то ввести Черепова в профессорскую компанию, и хотя он был плохой ученый собеседник, но профессора уважали его за добрый, открытый нрав, за полную и беззаветную готовность во всякое время дня и ночи на всякую лихую отчаянную штуку, за умение хорошо выпить, еще лучше угостить, да, наконец, и блестящий конногвардейский мундир в глазах многих ученых того времени тоже что-нибудь значил. Словом, не один из них находил, что быть с Череповым в знакомстве и лестно, и приятно.

Обо всей этой компании ходило тогда много анекдотов. Рассказывали, например, что однажды летом все члены Академии были на свадьбе у одного из своих товарищей на Васильевском острове. Часу в шестом утра шли они домой, гурьбою, в шитых мундирах, в орденах, и присели дорогой на помост канавки, чтобы отдохнуть и перевести дух. В это время

лавочник отворял свою мелочную лавку. Озерцовский предложил зайти и напиться огуречного рассолу, что преотменно действует после попойки, и крикнул лавочнику подать им ковш "сего нектару". Напились ученые. "Эх, да и хорош же у тебя рассол, собака! Что же мы тебе должны? Сколько с нас следует?" – "Ничего-с, ваши превосходительствы и сиятельства!" – отвечает купец с поясным поклоном. "Как – ничего?!" – "Да так, ваши превосходительствы, потому ведь и с нашим братом это случается".

Чтобы размыкать свою внутреннюю тоску, Черепов в это время отдался разным течением, кидался в разные сферы общества, жизни и занятий, нимало даже не заботясь, "пристойно ли сие гвардейскому мундиру". Ему просто хотелось как бы то ни было и где бы то ни было забыться, заглушить, потопить эту назойливую и ревнивую кручину, которая по временам, и особенно после встреч в большом свете с графиней Елизаветой, глубоко забиралась в его сердце.

Но ни масонство, ни наука, ни даже профессорские кутежи не помогали. Вне графини

Елизаветы все казалось ему скучным, бесцветным, мертвенным, ничто не привлекало, ни в чем не почерпалось забвения.

Да и самые условия жизни тогдашнего общества все более и более становились тесными и печальными. Время было тяжелое, и вообще, и в частности, и сделалось оно таковым вскоре по возвращении государя из путешествия по России; но в особенности казалось оно тяжким по сравнению с привычками и жизнью Екатерининского времени. Все переменялось разом так резко и круто, и общество остановилось в полном недоумении перед явлениями новой жизни. Государь на многих придворных и сановников имел подозрения, и сколько из них, чуть ли не ежедневно, были отставляемы от службы и ссылаемы на житье в деревни! Тайная канцелярия[315] была завалена делами, преимущественно раскольничьими; Обольянинов разбирал основания разных сект; многих из сектантов брали в Тайную, брили бороды и ссылали на поселение. По отзывам современников, то настала «эпоха ужасов». Один из них говорил, что «сердце болело, слушая шепоты, и рад бы не

знать того, что рассказывают»[316]; а другой свидетельствует, что в то время «надлежало остерегаться не преступления, не нарушения законов, не ошибки какой-либо, а только несчастья, слепого случая»[317]; и все жили тогда с таким точно чувством, как во время какой-нибудь повальной болезни, – прожили день – и слава богу. Если в каком-либо доме занимал квартиру квартальный надзиратель, то он свободно мог являться тираном и страшилищем всего дома – была бы лишь охота; его слушались со страхом и трепетом, от него прятались и убегали на улицах. Донос полицейского агента нередко мог иметь самые губительные последствия. Даже самые невинные удовольствия не всегда проходили без приправы страха и горечи. Многие были до того напуганы, что если, бывало, слышат курьерский колокольчик, то так и затрясутся, так и побледнеют;

все чудилось, будто фельдъегерь[318] или даже сам полицмейстер Эртель едет брать их в Тайную. Брали иногда бог весть почему, даже по такого рода доносам прислуги, что господа говорили-де о курносых[319]. Это было



уже усердие паче меры и разума, и государь большей частью даже вовсе и не знал о нем.

А в то же время трудно и представить себе то бешеное веселье, которое в эти самые дни царило в петербургском обществе. В десять часов по распоряжению полиции все огни в домах должны были быть погашены, но обыватели выдумали шторы на двойной подкладке, которые, будучи спущены в урочный час, препятствовали видеть комнатное освещение с улицы, и хозяева, простившись со слишком строгими блюстителями законных формальностей, оставались в кругу людей, не заботившихся о том, что ожидает их завтра, — веселились напропалую, танцевали до упаду, вели речи самые безбоязненные, произносили суждения самые резкие. Но часто с наступлением грозного завтра гости при возвращении домой находили ожидавшую их тройку, которая отвозила "по назначению". Случалось, что и хозяева были отправляемы туда же так скоро, что созванные ими с утра гости не находили их. Но эти внезапные исчезновения не удивляли и не смущали никого: всякий мог ожидать на всякий час подобной же

участи, а до того с русской беззаботностью старался запастись весельем. Но еще более может показаться невероятным, что в стране, подчиненной таким грозным порядкам, могли люди пользоваться замечательной свободой порицания. В том ящике, который был выставлен в одном из нижних окон дворца для кидания просьб и жалоб, государь нередко встречал карикатуры и пасквили на свою особу, и — замечательная черта характера — иногда он смеялся, если находил их остроумными, и всегда оставлял их, все без исключения, без всяких последствий для авторов. Известен, между прочим, факт об одном камергере, который постоянно позволял себе говорить о Павле Петровиче, еще в бытность его наследником, самые резкие вещи, что, конечно, было неизвестно его величеству. Сделавшись государем, Павел однажды во дворце увидел своего давнего недруга, который старался теперь всячески удаляться и прятаться за других, чтобы не попасться ему на глаза. Подойдя к нему самым милостивым образом и взяв его за руку, государь сказал: "Что вы так прячетесь все от меня! Поверьте, ми-

лостивый государь, все то, что великий князь знал и слышал, он не скажет о том императору". Таково же точно было его отношение и к пасквилям. Пламя камина обыкновенно тотчас же поглощало эти произведения подпольных авторов.

Придворные балы, торжества и празднества не поражали теперь таким ослепительным блеском и баснословною пышностью, как в предшествовавшее царствование, но всегда были оживленны и нередко весьма оригинальны. В последнем отношении особенно выделялось торжество накануне Иванова дня, 23 июня. Оно учредилось с тех пор, как государь в январе 1797 года заключил конвенцию с "державным орденом Мальтийским"[320] об установлении этого ордена в России.

Святой Иоанн, как известно, был почитаем в качестве патрона мальтийских рыцарей. Накануне дня этого праздника все "великое приорство[321] российское" собиралось в одном из загородных дворцов, преимущественно в Павловском, и составляло орденскую думу, вело «протокол всем своим советовани-

ям» и «делало о том в Мальту потребные сообщения». Впоследствии, когда император Павел принимал права и титул гроссмейстера этого ордена, он назначил на остров Мальту русский гарнизон и особого коменданта, а город Мальту повелел внести в академический календарь «наравне с губернскими Российской империи городами». Накануне мальтийского празднества, обыкновенно вечером, все наличные войска были собираемы парадом вокруг дворцовой площадки, а самый дворец занимали кавалергарды и лейб-эскадрон конногвардейцев, которые размещались по покоям на проходе его величества. К назначенному часу все находившиеся в Петербурге кавалеры и командоры ордена Святого Иоанна Иерусалимского собирались во дворец и открывали процессионное шествие по два в ряд. На них тогда красовалось особое одеяние: алый орденский супервест[322] с вышитым на груди изображением белого мальтийского креста. В замке этой процессии шел император в сопровождении орденского оруженосца Павла Ивановича Кутайсова и командира кавалергардского корпуса с палашом наголо.

Вся процессия троекратно обходила около девяти костров, разложенных на площадке, обрамленной войсками, после чего император и один из высших сановников ордена бросали на костры пылающий факел и зажигали их, а затем шествие тем же порядком между горящими кострами возвращалось во внутренние дворцовые покои. Императрица с женской половиной царской фамилии, дамы высшего круга и весь двор обыкновенно любовались на этот древний рыцарский обряд из-под намета особой палатки, разбивавшейся поблизости.

Но более всего бывало оживленно в Гатчине во время осенних маневров. Здесь, в этой колыбели павловской армии и флота, в этом питомнике их организации, учреждений, выработки и дисциплины, было любимейшее местопребывание императора во время осени. Петергоф он еще любил и жил там среди освежающих фонтанов в самую жаркую летнюю пору, но Царское Село терпеть не мог и почти никогда в него не заглядывал.

В Гатчине еще при жизни императрицы Екатерины благодаря постоянному пребыва-

нию там наследника образовалась как бы совсем иная атмосфера, где все приезжающие во дворец были принимаемы с любезностью и радушием; но вместо непринужденности и легкой, веселой свободы, господствовавшей при большом дворе, здесь все было чинно, скромно, семейно и бесшумно. Все здесь было устроено несколько на прусский лад, и именно по старинным образцам прусским: повсюду трехцветные шлагбаумы на въездах и выездах из городка, повсюду часовые, которые, бывало, на прусский манер окликают проезжающих и стоят в старинной форме времен Фридриха-Вильгельма I [323]. Там был выстроен форштадт – совершенное подобие маленького немецкого очень чистенького городка; казармы, конюшни, гауптвахты и вообще все казенные строения – точь-в-точь такие, как в Пруссии, что так нравилось Павлу Петровичу еще со времени его путешествия по Европе.

Здесь, в уединении, он мог свободно предаваться своим любимым занятиям: воинским экзерцициям, составлению военных проектов, реформ, уставов, верховой езде и чтению научных книг. Известно, что он был одним из

лучших ездоков и наездников своего времени и еще с раннего возраста отличался в каруселях[324]; он знал в совершенстве языки: русский, славянский, французский и немецкий, владел достаточно хорошо итальянским и латинским, был хорошо знаком с историей, географией и математикой, говорил и писал весьма легко и свободно и всегда отличал особым вниманием людей остроумных.

Гатчина уже и в это время была прекрасным уголком среди петербургских окрестностей. Лучшим ее украшением служил дворец или, точнее, замок, с башнями и подземными ходами, построенный просторно и прочно из тесаного местного плитняка и окруженный каменной стенкой, рвами и земляными валами, на которых и доселе еще стоят орудия того времени. Парк и тогда уже был тенист и очень обширен и изобиловал превосходными старыми дубами. Прозрачный поток и теперь, как тогда, вьется по парку и по садам, во многих местах расширяясь в обширные пруды, которые почти можно назвать озерами и на которых красовались в полном боевом снаряжении две прекрасные яхты. Вода в этих пруд-

дах до того чиста и прозрачна, что можно считать камешки на глубине двенадцати или пятнадцати футов[325], где плавают большие форели и стерляди. Этот замок вполне удовлетворял романтическим, рыцарственным наклонностям императора Павла.

Во время осенних смотров, парадов и маневров здесь происходили большие увеселения: концерты, балы, маскарады, фейерверки и спектакли, преимущественно французские, непрерывно следовали одни за другими. Кажется, что на эти немногие ясные осенние дни все удовольствия, все развлечения Версаля[326] и Сан-Суси[327] сосредоточивались в Гатчине. Но эти празднества часто помрачались строгостями всякого рода, как, например, арестом офицеров или мгновенного ссылкию их в отдаленные полки. Государь часто бывает сердит и особенно вспыльчив; но замечательно, что из уст его никогда, ни при каком случае, не вырывалась грубая или обидная брань. Он и в гневе умел сохранять свои врожденные свойства присущей ему рыцарской вежливости. Случались также и несчастья, какие нередко бывают на больших



и горячих кавалерийских маневрах, и эти случаи весьма раздражали императора; но он постоянно выказывал много человеколюбия и сердечной теплоты, если кто-либо из солдат или офицеров серьезно был ранен.

## **XX. «Справа повзводно, в Сибирь на поселение!»**

Осенние маневры 1798 года отличались особенным оживлением. Весь двор и высший петербургский свет переселялись на это время в Гатчину. Все обывательские дома этого маленького городка были заняты временными постояльцами, которые за какую-нибудь небольшую комнату платили неслыханно дорого – от пяти и даже до десяти рублей за две недели. Войска, собранные под Гатчиной, разделялись на два отряда: одним командовал граф Пален, другим – Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Великий князь Константин Павлович временно исполнял должность военного губернатора Гатчины. Утро обыкновенно проходило в поле, воинственные клики, звуки барабанов и гром выстрелов оглашали мирные гатчинские окрестности, а по

вечерам все общество собиралось в залах обширного дворца наслаждаться звуками прекрасной музыки и изящной игрой французских актеров. И воинские экзерциции, и придворные увеселения – все это шло прекрасно, стройно, удачно, и потому государь все дни находился в отличнейшем расположении духа. Рассказывали несколько происшедших за это время случаев, которые получили даже анекдотическое значение. Так, например, говорили, что однажды утром дежурный адъютант в чине поручика рапортует государю о состоянии одной воинской части, подав ему предварительно написанную рапортичку, где было проставлено число людей, наряженных в караул, на дежурство; больных и арестованных не было никого. Государь по этой записке следил за словесным рапортом адъютанта, а тот, рапортуя: «дежурных столько-то, больных столько-то», по рассеянности или по невольной привычке произносит: «под арестом», да вдруг спохватился, что под арестом-то нет никого, и замолк, совершенно осекшись.

– Кто под арестом? – спросил император.

Адъютант смутился еще более и молчит.

– Кто под арестом? – строго повысив голос, повторил его величество.

– Я, государь! – промолвил адъютант, преклоняя колено.

– Встань, капитан! – весело сказал император, довольный находчивостью этого ответа.

В другой раз, во время самого маневра, его величество посылает ординарца своего Рибопьера, только что произведенного в корнеты конной гвардии, с какими-то приказаниями к генералу Кологривову, который командовал кавалерией. Рибопьер, не вразумясь или не вслушавшись хорошенько, отъехал в сторону и остановился в крайне критическом положении, не зная, как ему теперь быть и что делать. И вдруг он видит, что к нему скачет сам государь с вопросом:

– Исполнил ли повеление?

– Ваше величество, я убит с батареи по моей неосторожности, – почтительно доложил ординарец.

– Ступай за фронт! Вперед наука! – довершил император.

Эти анекдоты, бывшие новостью дня, пере-

давались из уст в уста и служили как бы мериллом того прекрасного расположения духа, в котором находился император.

В один из воскресных дней на разводе, данном от Преображенского полка, его величество, по званию батальонного командира, в штиблетах и пешком парадировал во главе батальона пред императрицей и ловко, искусно и легко салютовал эспонтоном.

По окончании развода, окруженный всем генералитетом, начальниками разных частей и полковыми командирами, государь выразил им и велел передать войскам свое особое благоволение и удовольствие по поводу образцового хода маневров и всех вообще воинских занятий.

– Я знал, господа, – прибавил он при этом, – я знал, что образование войск по уставу было не всем приятно; я ожидал осени, чтобы вы сами увидели, к чему всё клонилось; теперь вы видите плоды общих наших трудов во славу и честь оружия российского.

Одним словом, все предвещало милости и награды, начальство было необычайно довольно, как вдруг одно обстоятельство помра-

чило общее настроение духа.

На следующее утро после этого счастливо-го развода лейб-гвардии Конному полку назначено было линейное учение. Надо заметить, что государь отчасти имел предубеждение против этого полка за его прежний дух и иногда полушутя-полусерьезно называл конногвардейцев якобинцами.

"Vous êtes jacobins, – говаривал он полковнику Саблукову, – pas vous, mais le régiment"[328]. И таково было его постоянное убеждение. Но на сей раз его величество, будучи весьма доволен полком, пожелал оказать ему особую честь и объявил, что завтра он сам будет учить конногвардейцев.

Наутро погода стояла хотя и ясная, сухая, но с ночи еще дул сильный и порывистый ветер, который ни на минуту не унимался.

Конногвардейцы вышли на учебный плац в самом блистательном виде, облеченные в свою полную парадную форму.

Они рассчитывали показаться государю истинными молодцами и поддержать относительно себя его благоволение. Ряды открытых экипажей, придворные линейки, наполнен-

ные нарядными дамами и кавалерами, и множество публики наполняли окраины плаца – все это стеклось сюда любоваться на учение самого блестящего полка русской кавалерии. Графиня Елизавета и Нелидова тоже присутствовали между фрейлинами. Окончив обычный развод, государь около девяти часов утра прибыл на плац-парадное место и принял полк в свое командование. Чтобы показать полку особое его внимание, он нарочно оделся в конногвардейскую форму.

Встреченный трубными звуками и салютом преклонившихся штандартов, его величество в сопровождении блестящей свиты поскакал вдоль фронта, приветливо здороваясь с эскадронами. Затем свита отъехала далеко в сторону, и государь, оставшись один пред полком, начал учение. Сначала все шло прекрасно. Началось с "перемены фронта назад". Для этого была подана команда: *«Перемена фронта и флангов. Весь полк по четыре, направо рысью марш!»* Эскадроны отчетливо заехали отделениями направо. Предстояла одна из самых эффектных и красивых кавалерийских эволюций того времени, но зато же она

была и самой трудной, самой головоломной и опасной.

– *Стой, равняйся!* – скомандовано было тотчас же после заезда. – *Укроти поводья! С места, марш-марш!*

И вслед за этим словом первое отделение первого эскадрона сразу и круто поворотило "левое плечо вперед кругом" и во весь карьер помчалось почти по той же линии фронта, которую занимал полк до команды. Все остальные отделения полка тем же аллюром следовали на хвосте за первым. Таким образом, одна половина полка мчалась в глубокой колонне навстречу другой почти локоть к локтю встречного всадника. Лошади в нашей кавалерии того времени вообще были недостаточно выезжены, и на таких-то лошадях приходилось проделывать подобную молодецкую штуку! При этом нередко случалось, что они заносили, и всадники не всегда могли с ними справиться: кони сталкивались, люди сшибались друг с другом, отчего выходили и несчастные случаи. Но на сей раз Бог помиловал: эволюция была исполнена не только вполне благополучно, но и блиста-

тельно по своей эффектной стройности. Вся громадная вереница всадников мчалась до той минуты, пока не поменялась флангами, то есть пока правый фланг не очутился на месте левого, а левый на месте правого.

Тогда раздалась команда: *«Стой!.. Во фронт, марш! Стой, равняйся!»* – И мчащаяся вереница на месте осадил коней и по отделениям сделала заезд во фронт, то есть задом к прежней линии фронта.

– Хорошо, ребята! – слышался довольный голос государя.

Весь полк, как один человек, грянул молодецки:

– Рады стараться!

Но затем учение пошло уже менее удачно. Неистовые и шумные порывы ветра порой не только относили слова команды, но даже и трубный звук сигнала делали неясным, особенно если он подавался издали. Дивизионным и эскадронным командирам из-за этого ветра приходилось иногда командовать и делать построения чисто наугад, по вдохновению или по соображению с каким-нибудь одним словом, которое случайно долетало к



ним из целой командной фразы. Понятно, что при этом нередко исполнялось вовсе не то, что командовалось, а порой происходила даже и путаница во фронте. Император видимо начинал досадовать и сердиться.

Новый устав, выработанный под сильным и непосредственным влиянием Аракчеева, вносил во фронт буквальную и строгую точность, каждый прием исполнялся не иначе как по темпам; каждому движению, да и вообще всему была положена строго и определенно очерченная рамка, выходить из пределов которой не осмеливались даже генерал-фельдмаршалы. Устав предписывал всем, начиная от фельдмаршала и кончая рядовым, "все то, что должно им делать", и не допускал ни малейших отклонений от своих формул, подчиняя своей букве всех и каждого и требуя только безусловно точного, так сказать, автоматического исполнения.

Конногвардейцам было жутко: они видят, что путают, чувствуют, что государь, глядя на них, должен быть гневен, ветер меж тем так и свистит, так и бьет на просторе.

– Господа офицеры, к атаке! – командует

император. – Весь полк рысью вперед – марш!



И вслед за этим он повернулся и поехал рысью; отъехав шагов шестьдесят, крикнул: «Марш-марш!» – дал шпоры и пустил коня полным карьером.

– Стой, равняйся! – раздалась его команда в виду всей публики, почти на самом краю плаца.

Осадив коня, император повернулся назад – и что же?... Развернутый полк виднеется вдали – и ни с места! Как стоял, так и стоит словно вкопанный.

Государь сильно натянул повод, закусил губы, плашмя и свободно опустил вниз палаш и сдержанным троттом[329] отъехал на ближайшую дистанцию к полку, на то место, с которого обыкновенно пропускал полки мимо себя церемониальным маршем. Свита, предполагая, что линейное учение кончено и сейчас начнется церемониал, спешно приблизилась к государю и стала позади него красиво-пестрой свободной группой.

– Полк, слуша-ай! – отчетливо, размеренно и громко раздалась его команда. – По церемониальному маршу!.. Справа повзводно... в Сибирь... на поселение... шагом... марш! Господа

офицеры!

И вот лейб-гвардии Конный полк по знаку его палаша плавно тронулся с места. Впереди всех на рослом пегом коне красиво выступал полковой адъютант, за ним ехал залитый в золото литаврщик со своими богато изукрашенными инструментами, далее два трубача, за ними полковой командир, потом командир лейб-эскадрона, имея позади себя двух младших корнетов, а затем, уже по порядку своих номеров, красиво следовали стройные взводы. Пред каждым на ретивом коне в лансадах[330] ехал взводный офицер и салютовал палашом, парадирюя мимо императора. Трубачи протрубили «поход», или, как называлось тогда, «фанфар», и вслед за ними полковой хор грянул марш лейб-гвардии Конного полка на своих волторнах, тромбонах, флейтах и гобоях.

Это была минута необычайного эффекта. В ответ на салют каждого взводного командира император прикладывался к полю своей треугольной шляпы. Бледные лица безмолвной свиты выражали испуг, беспокойство, недоумение... Все свитские очень ясно слышали



роковую команду императора; у многих из них в строю этого самого полка были внуки, сыновья, братья, племянники, друзья и приятели... Надо отдать справедливость конногвардейцам: они прекрасно, спокойно, с великолепным эффектом уходили церемониальным маршем в свою неожиданную сибирскую ссылку.

Публика на окраинах плаца еще не знала, в чем дело, и с удовольствием любовалась на красивый шаг конногвардейцев.

Пропустив мимо себя последний взвод и

не проронив ни единого слова, император угрюмо съехал с плаца в одну из аллей и направился домой. Свита, пораженная чуть не паническим страхом, в глубочайшей тишине следовала за ним шагом.

Дежурный фельдъегерь, гремя в пыли на своей взмыленной тройке, нагнал на дороге Конногвардейский полк и подал пакет командиру; тот, не останавливая церемониального марша, вскрыл конверт, между страхом и радостью надеясь, что эта бумага несет прощение с приказанием возвратиться в казармы, но вместо того затуманившимся взором прочел он маршрут, которым определялось следование до Новгорода, с пояснением, что дальнейший маршрут до Сибири будет ему выслан своевременно. "Идите весь путь неукоснительно церемониальным маршем", – прибавляла инструкция в заключение.

– Будет исполнено в самой точности, – промолвил командир, приложив руку к шляпе, и фельдъегерь тою же дорогой помчался обратно.

Первый ночлег полку назначен был в То-

сне – ямской слободе на Большой Московской дороге.

## **XXI. «Налево кругом!»**

**Н**а другой день после этого происшествия, в предобеденное время, графиня Елизавета Ильинична сидела в комнате Екатерины Ивановны Нелидовой, обсуждая с нею, в каком наряде следует быть на нынешнем интимном вечере, который предполагался в гатчинском дворце, на половине императрицы, для небольшого, самого отборного общества.

В это время вошел ливрейный камер-лакей и подал Лизе письмо на серебряном подносе. Сургуч на конверте был самого скверного достоинства и вместо печати притиснут медной копеечкой.

– Прислано с нарочным, – пояснил лакей, откланиваясь.

Недоумевая, откуда бы могло быть это послание, Лиза сломала печать и равнодушно принялась за чтение. Но чем более она углублялась в письмо, тем все тревожнее и взволнованнее становилось выражение ее красивого личика.



*"Пишу к Вам ночью, с яма Тосны, – чи-*



тала она, – с самого первого нашего этапа в отдаленное сибирское странствие. Мог ли я еще ныне утром считать на такой исход дня, прекрасно начавшегося!.. Вы, конечно, уже известны о той злополучной судьбине, коя постигла наш полк, а в том числе и меня, на ученье сего утра. Все дело в одном великом недоразумении. Мог ли кто-нибудь, не токмо[331] уже целый полк, дерзнуть в помышлении, чтобы сознательно учинить что-либо супротивное воле его величества! Тем не менее мы все несем кару за послушание команды, которой вовсе не расслышали. Противный несносный ветер совершенно относил в иную сторону слова команды. Мы видели, как его величество поехал рысью с пункта, достаточно от нас отдаленного, видели, как помчался он карьером, но не дерзнули учинить того же вослед за ним, опасаясь преступить наистрожайшее требование устава, не допускающее ни малейшего движения во фронте помимо команды ближайших начальников. Ни я, ни кто-либо из нас не осмелился взять сего движения вперед на свой

риск, хотя и чаятельно было, что означает оное вероятную атаку. Но так как мы и без того достаточно в сие учение погрешили, то и не желали новою погрешностию отягчать свои невольные вины, а потому и остались на месте в неподвижности. Но как бы то ни было, теперь уже дело это конченное и непоправимое. Мы идем в Сибирь, чтобы в ее хладных степях скончать всю нашу дальнейшую служебную карьеру. О выходе в отставку не может быть и помышления, так как идем мы не своей охотой, а впоследствии грозовой опалы его величества, и потому должны служить, где укажет его величайшая воля, доколе сам он не преложит гнев свой на милость. Мы, однако, пока и в самом мечтании не считаем на пощаду. Знаем только одно: что, куда бы ни кинула нас суровая судьба, мы все до единого пребудем до конца в неколебимой верности и преданности государю и Отечеству. Таково наше всеобщее убеждение. Но довольно о сей материи. Простите великодушно, что дерзаю утомлять внимание Ваше столь длин-

ным посланием, но смотрите на меня теперь как на человека не от мира сего и как бы умершего. Уповательно, что в сей жизни мы с Вами никогда более не встретимся, а потому примите снисходительно и благосклонно сию первую и последнюю мою исповедь. Среди светских утех и рассеяний, среди блистательных поклонников Ваших Вы, графиня, едва ли примечали то глубокое, нежное чувство, которое молча питал я к Вашей особе. Теперь, отходя на вечную разлуку, можно сказать по чести и прямо о том, чего никогда не дерзал я выразить Вам в лицо. Причиной сему опять же сие самое мое чувствование, которое я чтил и лелеял слишком свято в своей душе, чтобы осмелиться высказать его наружу... Меня удерживало сомнение, как Вы его примете. Теперь – дело иное[332], и, кончая сии строки, я прошу Вас верить, что там, где-то в глубине снегов сибирских, всегда будет биться для Вас преданное сердце, которое до последнего своего содрогания не престанет благоговейно чтить Ваш образ. Прощайте навсегда.

## Василий Черепов"

Когда Лиза читала последние строки, лицо ее сделалось бледно и на глазах показались крупные слезы. В словах Черепова заключалось для нее открытие такой тайны, о которой она и не подозревала доселе, и это открытие было ей приятно, сладко, утешительно. Почему? Она и сама не могла бы дать себе в том отчета; но, перечитав еще раз эти строки, почувствовала на сердце какую-то удовлетворенность, нечто теплое, и хорошее, и благодарное. Это чувство казалось ей похожим на то, как будто она среди роскошного, но чужестранного города, в котором все так шумно, пестро и весело, где ей самой тоже весело, но где она никого не знает и среди чуждой толпы сознает себя совершенно одинокой, вдруг неожиданно и негаданно повстречалась с добрым старым знакомым, с которым вот именно теперь, в эту самую минуту, и нужно было встретиться, с которым именно в эту-то минуту и влечет поделиться всей своей душой... Но увы! – этот «старый знакомый» в действительности уходит теперь далече, на темную, неизвестную и суровую жизнь, и уже

никогда, никогда больше не доведется с ним встретиться.

Вот какое смешанное чувство вызвало эти невольные слезы.

Нелидова все время, пока Лиза читала письмо, внимательно взглядывала на нее из-за своего тамбурного[333] вышивания и, с чисто женским любопытством улавливая все изменчивые оттенки в выражении ее лица, старалась по ним разгадать как содержание письма, так и чувства, волновавшие Лизу.

– Друг мой! Что это?... Никак, вы плачете? – с полуиспугом и участием воскликнула она, заметив Лизины слезы. – Зачем? Отчего?... Скажите, бога ради! Неужели это письмо причиной?... Если так, то какое же оно противное!

– Да, это письмо причиной, – подтвердила Лиза, – но оно не противное, нет! Оно славное, доброе, хорошее письмо!.. Господи! Как бы помочь этому горю!

– Но, моя милая, в чем дело, если это не нескромно?

– Читайте сами.

И Лиза подала ей письмо, которое Екатери-

на Ивановна стала читать с полным и серьезным вниманием...

– Бедные! Несчастные! – воскликнула она со свойственной ей живостью и восприимчивостью, окончив чтение и, словно ртуть, вскакивая с места и принимаясь быстро ходить по комнате. – За что это они так терпят!.. Надо сегодня же сказать государю!.. Я беру это на себя... Ведь вы, конечно, не будете против?

– О нет... Спасите, если возможно!.. – кинулась в объятия к ней Лиза.

– Милая!.. А вы любите?... Да?... Да? Любите его? – говорила Нелидова, целуя ее.

– Я?... – в некотором замешательстве подняла на нее Лиза взор. – Я... право, не знаю... Мне доселе как-то ни разу не думалось об этом... Но он такой добрый, славный, честный... Я только теперь это поняла. Спасите его, дорогая моя!.. Спасите!.. Вы одна только это можете!

В эту самую минуту в смежной комнате слышались быстрые и твердые, хорошо знакомые им обеим шаги. Нелидова вздрогнула, закусила губу и, как бы остерегая Лизу, быстро и крепко схватила ее за руку.

В этот миг распахнулась тяжелая портьера, и на пороге появился император. Он мгновенно оценил состояние обеих девушек в их обнявшейся позе, растерянном выражении лиц, увидев и слезы Лизы. Письмо было еще в руке Екатерины Ивановны.

– Само Небо посылает вас! – воскликнула она, бросаясь к нему навстречу.

– Что такое? В чем дело? – весело спросил государь, вздернув голову, что было его привычным движением, в котором выражалось так много царственного, повелительного и великодушного.

– Дело, государь, несложно. Читайте – и вы все узнаете.

И она подала императору письмо Черепова.

– Это письмо к вам? – спросил ее Павел Петрович.

– К ней, ваше величество, – указала Нелидова на смущенную Лизу, у которой на ресницах еще сверкали слезы.

– Что вижу?... Вы плачете? – обратился к ней император.

– Читайте, государь, читайте! – затеребила

его Нелидова.

– Вы позволяете? – спросил он графиню Елизавету.

– Прошу о том ваше величество, – ответила та с глубоким почтительным поклоном.

Император стал читать и с первых же строк сосредоточенно отдал письму все свое внимание.

При всей изменчивости своего нрава в первую половину царствования он охотно подчинялся нравственному влиянию Нелидовой. Лица, занимавшие в это время главные места, принадлежали по большей части к прежним гатчинским собеседникам государя – это были друзья или родственники Екатерины Ивановны. Двое братьев Куракиных, граф Буксгевден, Нелидов, Плещеев находились между собой в тесной связи и составляли при дворе особый кружок, центром которого была Нелидова. Все ее уважали за ее образование и своеобразный, симпатично-веселый и колкий ум и не могли не пленяться ее беседою, когда она чувствовала себя в добром расположении духа. Правда, подчас капризный характер ее становился несносен, выра-



жаясь в ворчливости и требовательности по отношению к близким ей людям; но все это легко прощалось и забывалось ей за ее теплое сердце, чуткое и отзывчивое ко всему доброму и хорошему. Влияние ее простиралось далеко, и справедливость требует заметить, что она пользовалась им во благо императора и не раз спасала невинных людей от его гнева, причем ее никогда не удерживало эгоистическое опасение прогневить своего царственно-го друга. Ей нередко удавалось отклонять некоторые резкие меры и распоряжения государя, и, между прочим, если орден Святого великомученика и победоносца Георгия не был отменен, то этим обязаны Нелидовой, которая настойчиво и горячо убедила императора не исполнять задуманного им решения. Словом, в первую половину царствования Павла она была предметом его рыцарского почитания и первым лицом при дворе. Все восхищались ее умением танцевать, прелестью и миловидною грациею всех ее движений, блеском и живостью ее ума. Она любила зеленый цвет – и в угоду ей придворные певчие получили новые зеленые кафтаны. Она одна гово-

рила императору что ей вздумается, а иногда даже и отказывалась говорить с ним. Всецело принадлежа двору, Екатерина Ивановна находилась в самой тесной близости ко всему императорскому семейству. Она всю свою жизнь была лучшим другом императрицы Марии Федоровны. Она, конечно, могла бы воспользоваться своим положением, извлечь для себя и для своих близких всякие прибыли, как и делали многие до нее и после нее; но она отличалась образцовым бескорыстием, и ей случалось многократно отвергать или умалять щедрые милости, которыми стремился награждать ее император.

Окончив чтение, государь поднял светлое лицо на Нелидову.

– Я был не прав, – сказал он, – и от всего сердца благодарствую вам, что подали мне возможность узнать истину и не допустили совершиться несправедливости. Если простому смертному не довлеет быть несправедливым, то кольми паче[334] государю.

И, взяв со стола бронзовый колокольчик, он позвонил громко и нетерпеливо.

Тотчас же вошел дежурный флигель-адъ-

ютант, дожидавшийся в коридоре.

– В сию же минуту дать с фельдъегерем приказание Конному полку "налево кругом!". Возвратиться обратно! – сказал государь, и адъютант исчез, полетев исполнять высочайшее повеление.

– А молодой-то человек, как видно, любит вас не на шутку, сударыня? – весело заметил император, возвращая Лизе письмо Черепова.

– Я только что узнала про то, – смущенно пролепетала девушка.

– Будто ли так?... И можно ли тому стать-ся?!

– Уверяю вас, государь...

– Хм... Так не знали?... Ну а я знал... Вот, видите ли, раньше вас знал и давно уже знаю об этом.

Лиза с выражением вопроса и удивления подняла было на него взор, но государь, круто повернувшись на каблуке, выходил уже из комнаты.

## XXII. Из-за тупея

Первая встреча графини Елизаветы с Череповым после его письма произошла как-то вовсе не так, как предполагал и мечтал о ней каждый из них заранее. Оба они были не то что сконфужены, но им вдруг стало несколько неловко, и они ушли вглубь себя и далеко не высказали друг другу того, что хотелось бы высказать. Вместо пламенного, сильного слова разговор между ними вообще не клеился, вертелся около самых обыкновенных и вовсе для них посторонних тем, и оба они, как бы боясь вывести его на настоящую и столь желаемую каждому дорогу, усиленно старались поддерживать его именно на этих посторонних темах. Все, что заранее было так стройно и хорошо обдуманно, вдруг улетучилось, испарилось из мысли и памяти, показалось вовсе некстати, вовсе ненужным, неуместным. О письме ни с той, ни с другой стороны не было сказано ни слова, ни намек, как будто за эти дни вовсе не произошло ничего особенного ни в судьбе Черепова, ни в их взаимных отношениях. Итак, эта первая

встреча прошла самым обыкновенным образом и, сравнительно с их прежними встречами, даже суше, чем обыкновенно. Но не то было в душе: графиня Елизавета чувствовала, что Черепов стал не чужой ее сердцу, и почувствовала это еще живее и как бы осязательнее именно в ту минуту, когда он удалился после этой первой встречи и когда не сказалось ему того, что хотелось и задумано было высказать.

Они продолжали встречаться в свете, но оба боялись и, скорее, избегали, чем искали, встреч между собою. В их взаимных отношениях оставалось что-то незавершенное, недосказанное, и оба они чувствовали, что стоит только сделать первый приступ – сказать всего лишь одно заветное слово, именно то слово, которое *нужно* сказать, – и все выскажется, все довершится, все станет ясно и хорошо между ними, но это-то слово и не выговаривалось...

Так прошли осень и зима и наступил март-месяц 1799 года.

Блестящие победы молодого генерала Бо-

напарта на полях Италии в 1796 году и Кампоформийский мир[335], заключенный в октябре следующего года, сделали Францию грозю для ее соседей и дали ей решительный перевес на западе Европы. Французское правительство, увлеченное успехами своей армии, перестало полагать всякие пределы своим политическим притязаниям, и потому-то насильственные меры, принятые Директориею)[336], побудили несколько держав образовать вторичную коалицию против Французской республики. В этой коалиции приняли участие: Англия, постоянно враждовавшая с Францией; Россия, ручавшаяся по Тешенскому трактату[337] за самостоятельность Германии; Австрия, вполне убежденная в безуспешности Раштаттских переговоров[338]; Турция, оскорбленная самовольным захватом Египта; короли неаполитанский и сардинский, которые боялись потерять свои владения ввиду угрозы Франции; и, наконец, некоторые из германских князей, владения которых были сопредельны Французской республике.

В 1799 году со стороны союзных государств предложено было напрячь все усилия против

господства беспокойной Директории. Значительные армии направлены были в Германию и Италию, и в то же время Австрия и Англия обратились к императору Павлу с просьбой о вручении командования союзными войсками в Италии полководцу, никогда еще не бывшему побежденным, – Суворову.

Гениальный старик после смерти императрицы Екатерины почувствовал перемену в началах армейского военного быта, не сошелся во взглядах на требования нового воинского устава и, подвергнутый опале, удалился в свое село Кончанское. Здесь, играя с деревенскими мальчишками в бабки, звоня на колокольне и читая в церкви Апостол[339], он в то же время внимательно следил за ходом войны, бывшей следствием Французской революции, составлял для собственного удовольствия планы кампаний против французов и, бодрый духом, хотя убеленный сединами, томился в бездействии. Император вызвал его в Петербург и принял с особенным почетом и милостию. Во всей столице только и разговора было о Суворове. Имя его перелетало из уст в уста, повторялось и в богатых гостиных, и в

убогих подвалах, и на всех перекрестках; что ни день, то новый анекдот распространялся о Суворове; им восторгались, его лелеяли, на него возлагали все надежды – это был герой дня, на которого с гордостью смотрела вся Россия. Одушевление в обществе сделалось необычайное: молодые силы бурлили, искали исхода и порывались к войне с врагами целой Европы. Хотя нам, собственно, мало было дела до Франции и нас она ни в чем не касалась непосредственно, но в тогдашнем русском обществе были еще сильны и живучи некоторые принципы и основы, и потрясение их в Европе отзывалось негодованием в русских городах и усадьбах. Притом же общество это не утратило еще живых воспоминаний о грозном блеске и громкой славе русского имени при Екатерине II. Долг, честь, слава и доблесть не были для него пустыми звуками, и меркантильные интересы личного эгоизма не смели беззастенчиво возвышать свой мещански либеральный голос там, где дело шло об общем государственном величии. В этом обществе при всех его грубых недостатках была еще та особенная закваска, которая порой



исполняла его бескорыстными порывами широкого великодушия и готовностью на многие жертвы. Наши деды вообще были сильные люди.

На площадке пред дворцом выстроился развернутым фронтом гвардейский батальон со знаменем и несколько взводов иных частей войск, назначенных к заступлению караулов. В ожидании развода генералитет и офицерство, не участвующие в строю, толпились большими пестрыми группами около главного подъезда. Война, французы и Суворов были почти исключительной темой всех разговоров, расспросов и сообщений между офицерством.

– Господинуподполковникуумею честькляняться! – подошел к Черепову Поплюев.

– Ба-а! Господин прапорщик!..

– Подпоручик-с, – поправил Прохор.

– Как? Уже?! Простите мою оплошность, не заметил сразу.

– Н-да-с, уже! Иные сверстники, гляди, в капитаны метнули, а мы своим ходом только до сего ранга подвинулись.

– Что же так медленно?

– Линия-с... Ну и притом же, признаться сказать, по несправедливости однажды обошел был представлением к чину. Незадача мне...

– Давно ли в Питере?

– Только четвертого дня в двадцатисемидневный отпуск прибыл с высочайшего разрешения; да вот все, до сего утра, со своими старыми измайловцами путался, а то бы непременно к вам заехал решпект отдать.

К Черепову подошли и поздоровались еще два-три знакомых измайловца.

– А наш-то Прошка каков? А? – кивнул один из них на Поплюева. – Как вы думаете, зачем в столицу изволил пожаловать?

– Пожуировать, конечно.

– Какое! Ищет перевода в действующую армию.

– Вот как! – слегка удивился Черепов.

– А почему бы нет? – вступился за себя Прохор. – Я уж давно в себе мечтание питал такое, а время теперь самое подходящее. Чин на мне скромнехонький, обиды мною ничьейшее быть не может, ну а война авось-либо и

вывезет... Я уж думал было абшид брать вчистую, да мундир по офицерскому рангу пока еще не выслужил, а без мундира что за абшид!.. Это уж не токмо что пред своим братом дворянином, но и пред подлого класса людьми довольно в стыд мне будет.

– А куда ваш знаменитый майор девался? – спросил Черепов, невольно как-то вспомнив при этом поплюевскую Усладушку и инспекторский смотр отца архимандрита.

– Майор-то? – переспросил Прохор. – Да куда же ему деваться! Все у меня на хлебах живет при вверенной ему команде.

– А вы не распустили ее?

– Помилуйте, зачем распускать! Аль хлеба у меня не хватает? Пусть живут себе с Богом!

– А знаешь, брат, что? – шутя обратился к Поплюеву один из его измайловских приятелей. – Ты бы вместо себя-то майора на войну послал.

– Зачем так?

– Да понадежнее будет.

– То есть в каком разуме надлежит понимать сие?

– Да весьма просто. Во-первых, для чего те-

бе твой благородный лоб под пули подставлять, а во-вторых, ведь и струсил-то, пожалуи, перед французом...

– Кто?... Я?! – подпрыгнул Поплюев.

– Ты, сударь.

– Я?... Перед французом?... Государь мой, вы меня плохо понимаете! Не токмо что перед французом, я, коли захочу, то и перед самим чертом не струшу.

– Зачем черта! До черта далеко! – продолжал подтрунивать приятель. – А вот и сего почтенного старца, – кивнул он на стоявшего впереди пузатенького генералика, – стоит лишь оглянуться ему на тебя, так и того струшишь.

– На каких резонах изволишь полагать обо мне такое? – все более и более подфыркивал Прохор. – Я коли захочу, то и доказать могу, что не струшу.

– Ну и докажи.

– И докажу!

– Поди и дерни его за тупей, тогда поверю.

– За косицу-то?... Его?... Вот еще! Стоит труда! Нашел доказательство!

– Да уж каково ни есть, а не дернешь.

– Ан дерну!

– Ан врешь!

– Я?! Не дразни, брат, лучше! Эй, не дразни!.. Меня стоит только раздражить, так я бедовый!

– Бедовый-то бедовый, а за косицу все-таки не дернешь.

– Да не токмо что старца, а... понимаешь ли кого! И то дерну!

– Ну, брат Прошка, никак, ты во хмелю!.. – засмеялись приятели. – Много ли чефрасу хватил сегодня? С утра уж благословился. Закуси-ка лучше гвоздичкой, а то дух будет.

– Гвоздичкой-то я закушу, а дернуть все-таки дерну, коли мне такое расположение блеснет.

– Пари, что не дернешь! – продолжал потешавшийся приятель.

– Идет! – расхорохорился Поплюев. – Идет, коли на то пошло! На что угодно?

– Да что тебя много разорять-то! На десяток устеров у Юге с аглицким пивом. Вот я на твой счет и позавтракаю.

– Господа, будьте свидетелями – разнимите!

– *Смирно-о-о!* – раздался вдруг громкий голос штаб-офицера, командовавшего разводом.

Мгновенно все смолкло; генералы вытянулись в одну шеренгу против фронта, за ними во вторую шеренгу стали все штаб- и обер-офицеры, а третья образовалась из юнкеров и унтер-офицеров, не участвовавших в строю.

Пять минут спустя раздалась новая команда: фронт взял "на краул", барабаны грянули встречу, эспонтоны и знамя отдали салют, и все живое на площадке замерло в напряженном ожидании.

С крыльца сходил император.

Начался вахт-парад. Штаб-офицер сначала заставил фронт проделать все ружейные приемы по флигельману[340], потом скомандовал «*батальон, шаржируй!*», то есть стреляй, – и фронт, не производя огня, проделал примерное зарядание, прицеливание и вновь зарядание. Затем была подана команда барабанщикам: «*Бей сбор!*» Те вышли и стали боком к фронту – и вновь грянули барабаны, после чего на середину вышел плац-майор и скомандовал: «*Слушай, на плечо! Подвысь! Гаупт-вахт направо, гренадеры налево!*» Во время ис-

полнения данного движения фронтовые офицеры, взяв эспонтоны вверх, в правую руку, и выйдя вперед, стали по старшинству чинов пред середину парада, а за ними в две шеренги вытянулись унтер-офицеры. Здесь плац-адъютант разделил их всех по постам, и тогда по команде: «Господа обер- и унтер-офицеры, на свои места! Марш!» – все разом разошлись по рядам направо и налево. Затем: «Повзводно направо заходи! Марш!» И весь парад под звуки флейт и барабанов шел церемониалом мимо императора.

Государь остался вообще доволен парадом и по окончании развода, собрав вокруг себя тесную толпу офицеров, стал передавать начальствующим лицам парольный приказ и разные замечания. Черепову случайно довелось стоять как раз за спиною государя. Вдруг видит он, что рядом с его локтем протягивается вперед чья-то рука – и хватить за черную ленту косицы!

У Черепова захолонуло сердце и на мгновение в глазах помутилось. Он понял, что это такое и чем может грозить подобная проделка. Государь в то же мгновение обернулся, и

вопросительно строгий взгляд его в упор остановился прямо на Черепове.

"Погиб!" – как молния мелькнуло в уме последнего. Надо было выручать уже не Поплюева, а самого себя, и как можно скорее.

– Простите, ваше высочество! – почтительно и тихо проговорил он, стараясь казаться как можно спокойнее. – Тупей лежал не по форме... Чтобы молодые офицеры не заметили...

Государь молча продолжал смотреть ему прямо в лицо тем же сурово-блестящим взглядом, и Черепову показалось вдруг, будто он тоже понимает, в чем дело, и дает ему чувствовать это. С полминуты, по крайней мере, продолжал государь держать его под этим магнетически действующим взглядом, и какое-то смутное чувство говорило Черепову, что если он оробеет и смутится, то пропал безвозвратно и навеки. Но он чувствовал себя правым, совесть его была спокойна.

– Благодарю, *полковник!* – громко сказал государь и отвернулся, продолжая прерванную речь с генералом[341].

Черепов оглянулся – за ним ни жив ни



мертв и весь бледный как полотно стоял и тряся, как в лихорадке, Прохор Поплюев.

После развода Черепов по пути заехал к Юге позавтракать. Несколько минут спустя появился там и Поплюев со своей компанией.

– Благодетель мой!.. Спаситель! – плаксиво, смущенно и вместе с тем радостно кинулся к нему Прошка. – Сколь виноват я пред вами!.. Нет слов и меры моей вины и моей благодарности!..

– Зато вы пари выиграли, – равнодушно улыбнулся Черепов.

– Что пари!.. В Сибири места мало мне за это!.. Я растерялся, но я думал... Клянусь вам, думал, что если на вас обрушится беда, то – была не была! – выступлю вперед и брякну: так и так, мол, я это сделал!

– Напрасно не вышел – полковником был бы, – подтрунил измайловский приятель.

– Эх, братец ты мой! Пустой ты, как вижу я, человек! Что полковник!.. Не полковник, а ум нужен, находчивость, сметка – вот что нужно! А Прошка – дурак, и ничего больше!.. Но нет! – продолжал Поплюев, с чувством обращаясь к Черепову. – Вы великодушны!.. Вы до-

казали то... Ну и, значит, вы меня простите!.. А я вам за сие всю жизнь, как собака... Понимаете ли, как собака, буду вам предан! Издыхать у ног ваших стану!.. Выпьем!

– Так-то, брат Пронька! – хлопнул его по плечу приятель. – Хоть пари я и проиграл тебе, а все же ты не в барышах! Уж чего бы, кажется, вернее награды, как нынче, ан глядишь – и тут тебя обошли-таки чином!

– Что делать, братец мой!.. – пожал плечами Поплюев. – Незадача мне!.. Выпьем!

В тот же день, вечером, к Черепову явился вестовой и объявил, что граф Харитонов-Трофимьев просит его немедленно же пожаловать к себе по высочайшему повелению.

Черепов оделся по форме и поехал.

Он застал графа одного в его обширном, слабо освещенном кабинете. Старик сумрачно ходил по комнате и казался чем-то озабоченным.

– Государь император, – сказал он Черепову, – поручил мне, как бывшему вашему шефу, передать вам, чтобы вы отправлялись в действующую армию к графу Суворову. Вот

вам пакет: в оном найдете вы маршрут, подорожную, прогоны и приказ о своем назначении. Вы отправляетесь в распоряжение фельдмаршала, и государь надеется, что на поле чести потщитесь[342] вы найти более достойное применение избытку ваших сил и смелости.

– Как скоро должен я выехать? – почти-тельно спросил Черепов.

– Немедленно же. Чтобы к утру вас уже не было в городе.

– Воля его величества будет исполнена, – проговорил Черепов и уже хотел было откланяться, как граф с участием взял его за руку.

– Пожалуй, дружок, скажи на милость, – заговорил старик, меняя свой официальный тон на дружескую и душевную ноту, – что это за несчастная блажь пришла тебе в голову дергать за тупей?

– Граф! Неужели вы думаете, что я мог дерзнуть на что-либо подобное?! – искренне и с чувством достоинства воскликнул Черепов.

– Как так?! – изумился Харитонов. – Стало быть, дернул не ты?

– Не я, клянусь на том честью!

– Так кто же?

– Я знаю кто, но прошу вас, не невольте меня называть его имени. Он уже достаточно наказан своей совестью, и я ни в коем случае не назову его.

Старик в задумчивости прошелся по комнате.

– Молодой человек, – с чувством заговорил он, снова взяв за руку Черепова, – это с вашей стороны благородно!.. Не сомневаюсь, что вы говорите мне правду; и верь, друг мой, при случае я доведу о сем похвальном поступке до государя, а теперь прощай, Господь с тобой!.. Поезжай с Богом и постарайся возвратиться, как подобает храброму!

И с этими словами он поцеловал Черепова и отпустил его из кабинета.

Миновав смежную комнату и проходя через большую неосвещенную залу, Черепов вдруг заметил, как впереди мелькнуло женское платье.

– Это вы, графиня? – тихо спросил он голосом, упавшим вдруг от неожиданного волнения. Сердце его дрогнуло и забилось тревожно и сладко.

– Я... Постоите на минутку, – шепотом пролепетала Лиза, – я знаю всё... Давеча отец мне сказывал... Вы едете?

– Сею же ночью... Прощайте, быть может, не увидимся.

– Нет, нет, не говорите так!.. Не надо! – порывисто заговорила она, схватив его руку. – Не надо... Не надо так говорить! Вы вернетесь!.. Вы должны вернуться!.. Я верю!.. Я буду молиться!.. Постоите!.. Вот вам... – И, быстро сняв с себя золотой крестик на золотой цепочке, она поцеловала его, перекрестила им Черепова и надела ему на шею.

– Он сохранит вас... Молитесь и... не забывайте меня... вашу... Лизу.

И с этим словом в голосе девушки прорвались сдержанные слезы.

Схватив ее дрожащую руку, Черепов с благоговейным чувством восторженно покрыл ее влюбленными поцелуями, и вдруг в душе его стало так ясно, тепло, светло и отрадно, и вся будущность озарилась чудным, радужным блеском.

Заветное, желанное слово, которое не выговаривалось так долго, наконец-то было ска-

зано.

## XXIII. В Италии

Черепов нагнал Суворова уже около Вены и тотчас представился фельдмаршалу, вручив ему высочайший приказ о своем назначении в его распоряжение.

– Крестика, чай, хочешь? Затем и поехал? – с некоторым неудовольствием спросил Суворов, прочтя бумагу.

– Совсем напротив тому, ваше сиятельство! – с чувством внутреннего достоинства возразил Черепов. – Я здесь совсем случайно и даже самому себе неожиданно.

И он, зная, что старик не любит терять много времени на лишние разговоры, вкратце, но с толком рассказал ему причину своего внезапного отправления в действующую армию.

– Помилуй бог! Какой молодец! – весело вскричал фельдмаршал. – Из-за тупея!.. Ха-ха!.. И товарища не выдал! Похвально!.. Ну, будем служить с Божьей помощью! При мне оставайся.

И он милостиво отпустил от себя Черепов-

ва.

Суворов прибыл в Вену 15 марта и был встречен приветливыми кликами всего населения. Император Франц II принял его ласково и с почетом. В Шёнбрунне[343] Суворов впервые после долгой разлуки увидел русские войска и радостно приветствовал их.

– Здравствуйте, чудо-богатыри, любезнейшие друзья мои! Опять я с вами! Здравствуйте!

И на восторженных лицах героев Кинбурна, Фокшан, Рымника, Измаила[344] и Праги [345] показались слезы...

Вкратце объяснив императору Францу свои стратегические предположения, Суворов спешил уехать в Италию, где с нетерпением ожидал его русский вспомогательный корпус генерала Розенберга.

Но барон Тугут, первый министр австрийского кабинета, мелкая личность, взобравшаяся на высоту из ничтожества, всячески домогался, чтобы русский фельдмаршал представил венскому гофкригсрату[346] точный и подробный план будущих военных действий и,





не видя этого плана, под разными предложениями задерживал Суворова в Вене. Эти домогательства не повели, однако, ни к чему. Суворов очень хорошо понимал, что такое гофкригсрат, знал за ним «неискоренимую привычку битым быть», называл членов его *унтеркунфтами*, *бештимтзагерами*, *мерсенерами*[347] и вообще не располагал доверять своих планов Тугуту, секретарь которого служил некогда секретарем при Мирабо[348] и поэтому казался Суворову подозрительным и продажным. Да и сам Тугут был далеко не симпатичной личностью. Эгоистически и ревниво заботясь только о своем влиянии при дворе, он не допускал никого действовать самостоятельно, вмешивался во все и, вовсе не будучи военным человеком, связывал по рукам австрийских генералов, не смевших шагу ступить без категорического предписания из Вены.

Подобная система, конечно, не могла нравиться Суворову, который хотел сражаться независимо от методических соображений гофкригсрата. Старик не согласился даже за просто побывать у Тугута для объяснений хо-

тя бы словесных, о чем не раз намекал ему граф Разумовский, русский посланник в Вене.

– Андрей Кириллович, – отвечал обыкновенно на эти намеки Суворов, – ведь я не дипломат, а солдат... Русский... Куда мне с ним говорить? Да и зачем? Он моего дела не знает, а я его дела не ведаю!.. Знаете ли вы, Андрей Кириллович, первый псалом? "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых..."[349]

Кончилось тем, что на все приставания Тугута Суворов вручил ему кипу белой бумаги и показал чистый лист с бланком императора Павла со словами: "Вот мои планы!"

Эта суворовская шутка окончательно взбесила Тугута и была зерном той затаенной неприязни австрийских властей к русскому главнокомандующему, следствием которой были и бесплодность лавров, обильно пожалтых Суворовым в Италии, и, еще более, бесплодность невероятных подвигов, им же совершенных в Швейцарии.

2 апреля он прибыл в Верону. Жители со свойственной им итальянской живостью и пылкостью сделали ему много шумных оваций: они выпрягли из кареты лошадей и по-

везли ее сами до дворца, отведенного фельд-маршалу.

Здесь Суворов принял под свое начало австрийских и русских генералов. Представление последних происходило отдельно и как бы домашним образом, сопровождаясь разными оригинальностями. Пока Розенберг называл чин и фамилию представляемого, Суворов стоял навытяжку, с закрытыми веками, и при каждой неизвестной ему фамилии быстро открывал глаза, говоря с поклоном:

– Помилуй бог!.. Не слышал! Не слышал!..  
Познакомимся.

Дошла очередь до генерала Милорадовича.

– А-а! Это Миша?! Михайло?! – вскричал Суворов.

– Я, ваше сиятельство! – поклонился статный двадцативосьмилетний красавец в генеральском мундире.

– Я знавал вас вот таким! – продолжал старик, показывая рукою на аршин от полу. – Я едал у вашего батюшки Андрея пироги. О! Да какие были сладкие! Как теперь помню... Помню и вас, Михайло Андреевич! Вы хорошо тогда ездили верхом на палочке! О, да и как

же вы тогда рубили деревянной саблей! Поцелуемся, Михайло Андреевич! Ты будешь герой! Ура!

Милорадович, растроганный до слез, говорил, что постарается оправдать мнение о нем фельдмаршала.

Наконец Розенберг назвал фамилию генерал-майора князя Багратиона. При этом имени Суворов восторженно открыл глаза, вытянувшись, откинулся назад и спросил:

– Князь Петр? Это ты, Петр?... Помнишь ли ты?... Под Очаковым[350]! С турками! В Польше! И, подвинувшись к Багратиону, он его обнял и стал целовать в глаза, в лоб, в губы, приговаривая: – Господь Бог с тобою, князь Петр!.. Помнишь ли?... А?... Помнишь ли походы?

– Нельзя не помнить, ваше сиятельство, – отвечал Багратион со слезами на глазах, – не забыл и не забуду...

По окончании представления Суворов быстро повернулся, заходил широкими шагами, потом, вдруг остановясь, вытянулся и, с закрытыми глазами, начал произносить скороговоркою, не относясь ни к кому именно:

– Субординация! Экзерциция! Военный шаг – аршин, в захождении – полтора. Голова хвоста не ожидает. Внезапно, как снег на голову! Пуля бьет полчеловека; стреляй редко, да метко; штыком коли крепко. Трое наскочат – одного заколи, другого застрели, а третьему карачун! Пуля дура, а штык молодец! Пуля обмишуются[351], а штык не обмишуются! Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию. Мы пришли бить безбожных, ветреных, сумасбродных французишков, они воюют колоннами – и мы их будем бить колоннами!.. Жителей не обижай! Просящего пощады милуй!

Проговорив эту инструкцию, Суворов умолк и, как бы утомясь, склонил голову, наморщил лоб, углубился в себя... Но чрез несколько секунд вдруг вострепнулся, приподнялся на носки, живо повернулся к Розенбергу и сказал:

– Ваше высокопревосходительство! Пожалуйте мне два полчка пехоты и два полчка казачков.

И следствием этого "пожалуйте" было немедленное выступление авангарда под на-

чальством князя Багратиона.

В Вероне издано было воззвание Суворова к итальянцам: "Из далеких стран Севера пришли мы защищать веру, восстановить престолы, избавить вас от притеснителей. Наказание непокорным, свобода, мир и защита тем, кто не забудет долга своего – сражаться со злодеями!"

Русский корпус в Италии состоял из верных сподвижников Суворова в войнах турецкой и польской. Каждый солдат знал своего "батюшку".

Утомленные продолжительным и быстрым походом войска авангарда немедленно начали ряд славных подвигов.

Первое дело русских с французами произошло при Палаццо. Когда Суворову были представлены пленные французы, взятые в этом сражении, он отпустил их немедленно во Францию со словами: "Идите домой и скажите землякам вашим, что Суворов здесь". 9 апреля Багратион и Край[352] взяли укрепленную Бресчио[353]; 14-го – Моро[354], разбитый при Лекко и Треццо[355], бежал за реку Адду, а Серрюрье[356], настигнутый при Вер-

дерио[357], сложил оружие. Возвращая шпагу пленному Серрюрье, Суворов произнес стихи Ломоносова:

*Великодушный лев злодея низвер-  
гает,  
Но хищный волк его лежащего  
терзает, —*

велел перевести эти стихи французскому генералу и вышел из комнаты.

– Quel homme![358] – воскликнул удивленный Серрюрье.

Император Павел, получив известие об этих победах, велел дьякону возгласить в конце благодарственного молебна "Высокоповелительному фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому многая лета" и, посылая победителю портрет свой в перстне, осыпанном брильянтами, писал в рескрипте[359]: «Примите его в свидетели знаменитых дел Ваших и носите на руке, поражающей врага благоденствия всемирного». Сын Суворова тогда же был сделан из камер-юнкеров генерал-адъютантом и отправлен к отцу, причем государь сказал ему: «Поезжай и учись у него; лучше примеру тебе дать и в лучшие руки от-

дать не могу».

Стояли дни Страстной недели. На бивуаках [360] разбивалась палатка походной церкви, и кто хотел, тот шел молиться. Суворов, вместе со всем штабом питавшийся в эти дни исключительно постной пищей, несмотря ни на какую усталость, постоянно присутствовал при богослужении и все время службы был в величайших хлопотах: пел на клиросе [361] с дьячками и досадовал на них, когда несогласно с ним пели, читал Апостол «с великим напряжением голоса», беспрестанно перебегал с клироса на клирос, то в алтарь, то молился перед местными образами и клал положенное число земных поклонов, наблюдая в это время из-под руки, все ли усердно молятся. «Религии предан, но пустосвятов не люблю», – говорил он и уподоблял их вазам, которые звенят, потому что внутри пусты. Когда были присланы первые австрийские и русские ордена для его подчиненных, он приказал священнику окропить эти знаки отличия святой водой в алтаре, а после молебна, при выносе их на блюде, каждый удостоенный монаршей милости становился на колена, и



тогда Суворов с поцелуем и приличным приветствием возлагал на него орден. И сам престарелый австрийский генерал Мелас, которого он называл «папой Меласом», должен был с коленопреклонением принять от него Крест ордена Марии Терезии[362] 2-й степени.

Изумив всю Италию и Европу быстрым переходом от Вероны до столицы Ломбардии, Суворов в Страстную субботу остановился в виду Милана.

– Demain j'aurai mille ans![363] – сказал он каламбур при этом, и действительно, на следующий день, 16 апреля, в самый Светлый праздник, русские полки торжественно вступили в этот город. Народ с восторгом приветствовал своих избавителей, хотя и сильно-таки побаивался этих «северных варваров». Суворов ехал позади своего секретаря Е. Фукса и генерал-лейтенанта Ферстера, приказав им вместо него раскланиваться с публикой. Когда же русские полки, пройдя церемониальным маршем, в тесных колоннах построились в каре на городской площади, Суворов посреди них, сняв шляпу, запел: «Христос воскрес из мертвых».

– "Смертию смерть поправ, И сущим во гробех живот даровав!" – разом, как один человек, подхватило за ним 18 тысяч голосов русского войска.

Все это действительно "соделалось стадом одного пастыря", замечает очевидец[364]. Троекратно повторился гром этой торжественно-священной песни, и эффект хора был поразителен. Миланцы дрожали в исступленном восторге и своими приветственными криками покрыли окончание православного гимна.

– Христос воскресе, ребята! – когда все смолкло, крикнул Суворов солдатам.

– Воистину воскресе, отец! – грянуло ему войско.

Это был могучий отклик на православное приветствие, какого никогда еще не раздавалось в Милане.

Суворов слез с коня и стал христосоваться с окружающими. Его обступили офицеры и солдаты. По замечанию очевидца, "не оставалось ни одного фурлейта[365], которого бы он не обнял и троекратно не поцеловал"[366]. Даже сам пленный Серрюрье не избегнул его ло-

бызания, и Суворов заставил его отвечать по-русски: «Воистину воскресе». Но когда общий восторг достиг полного энтузиазма, старик вдруг прослезился. Он вспомнил любимых своих фанагорийцев.

– С сими чудо-богатырями взял я Измаил, – говорил фельдмаршал, – с ними разбил при Рымнике визиря... Где они?... Как я бы желал теперь с ними похристосоваться! [367]

Черепов присутствовал при всей этой грандиозной сцене и живо ощущал в груди своей трепет какого-то священного восторга. Сердце его замирало от радости, и в то же время хотелось плакать, и он не замечал даже, как из глаз его одна за другой падают крупные слезы, и так он был горд сознанием, что и он тоже душою и телом принадлежит к этой доброй, честной, православной семье, которая с дальнего Севера явилась в этот роскошный южный город и здесь, среди чуждой страны и природы, сознает себя все той же извечной и неизменной силой, которая зовется русским народом. Вспомнился также ему и образ Лизы...

Она далеко; но он чувствует ее близко, со-

всем близко, как бы тоже здесь, рядом с собою, и шепчет ей свое приветствие: "Христос воскрес, моя милая!"

И под влиянием этого чувства достал он из-за пазухи крестик, надетый Лизой на его шею в минуту прощанья, и благоговейно приник к нему губами.

Он мысленно христосовался с нею.

Солдаты рассыпались по улицам и отведенным для них квартирам, и Милан как-то вдруг превратился совсем в русский старинный город. Солдатики наши на улицах, в домах, в лавках – крестятся, целуются, обнимают друг друга, меняются красными яйцами, которые они какими-то судьбами успели тотчас же раздобыть и накрасить в сандале[368], угощают друг друга пасхою в итальянских булочных, славят Христа; везде по отведенным квартирам теплятся восковые свечи пред походными медными складенцами[369], которые русские люди сейчас же повесили на гвоздиках рядом с католическими изображениями. Толпы праздно шатающейся городской черни, не понимая ничего, с любопытством бегали повсюду за солдатами, рассмат-

ривали их, как нечто диковинное, дотрагивались до них и ощупывали руками мундиры, оружие, разевали рты, корчили рожи, жестикулировали, добродушно смеялись и горлопанили между собою. Наши сейчас же обгляделись и обошлись с ними по-свойски.

– Ну, брат-пардон, Христос воскрес! – говорили они иному итальянцу. – Хоша ты и бурсурман, и глуп, а все же человек, значит. Поцелуемся!

И какой-нибудь Беппо от души лобызался с каким-нибудь Мосеем Черешковым из Вологодской губернии, и Черешков понимал Беппо, и Беппо понимал Черешкова. Между ними сейчас же отличнейшим манером устанавливались взаимное понимание и своеобразные разговоры, которыми и те и другие были очень довольны.

– Вступление сюда, – говорил в этот день Суворов всем окружающим его, – вступление именно в день торжества торжеств и праздника праздников есть предзнаменование на врага церкви победы и одоления.

Отслушав нарочно для него отслуженные заутреню и обедню в домашней греко-россий-

ской церкви, он отправился на литургию и в городской католический собор. Жители были в восхищении от его ласкового обращения. Итальянские поэты, импровизаторы и композиторы слагали в честь его блистательные оды, писали торжественные кантаты, марши и гимны. Когда же вечером посетил он городской театр, то был принят публикой с испуганием дикого восторга.

– Помилуй бог! – вскричал при этом старик. – Боюсь, чтоб не затуманил меня фимиам [370]! Теперь пора рабочая!

В этот же вечер занялся он планом дальнейшей кампании.

– Когда вы успели все это обдумать?! – воскликнул изумленный маркиз Шателер, когда Суворов открыл ему свои предначертания.

– В деревне, – отвечал фельдмаршал, – здесь было бы поздно обдумывать: здесь мы уже на сцене.

– И вас, – сказал Шателер, – и вас называют генералом без диспозиции [371]!

Черепов в качестве русского полковника, принадлежащего к свите фельдмаршала, пользовался большим почетом со стороны го-

родской знати и зажиточной буржуазии. В первый же вечер в фойе и партере театра пересознакомился он почти со всеми представителями местной аристократии и золотой молодежи. Двери лучших домов были ему раскрыты с полным радушием. Но – увы! – в этих богатых салонах нашел он невежество, которое казалось ему невероятным. О России, которую здесь знали только по слухам, ему приходилось выслушивать нелепейшие вопросы; относительно Германии здесь были убеждены, что вся она вмещается только в одной Австрии; о Швеции, Норвегии, Дании почти и не слыхивали. В высшем миланском обществе Черепов не встретил ни одного человека, который бы побывал где-нибудь за границей. "К чему нам, – говорили они, – выезжать из своего сада Европы!" Многие из первых вельмож и знатнейших дам просили его сказать им откровенно, под величайшим секретом: правда ли, что *gli sarussini russi*, то есть что казаки – русские капуцины[372] (так их чествовали за их бороды) – зажаривают и едят детей?

На следующий день, когда довелось ему

быть с визитом у Милорадовича и он стал рассказывать про эти вопросы, в комнату врывается вдруг какой-то аббат[373] и в испуге бешенства ревет с отчаянным видом:

– Генерал! Если в вас есть Бог, то спасайте! Но спасайте скорее!

Все стремглав побежали за ним вниз.

– Ессо Io![374] – кричит итальянец. – Вот он! Вот! Спасайте!

– Что такое?! В чем дело?!

Все в смятении, в испуге смотрят, ищут глазами – и что же?... Казак-ординарец, сидя на ступеньке каменного крыльца, как нежная нянька, держит на руках младенца и смотрит на него умильно, со слезами.

– Ты что тут делаешь? – строго спросил его Милорадович.

– Извините, ваше превосходительство! – говорил тот, поспешно поднявшись с места. – Это дите так смахивает на мово Федьку-пострела... на Дону... что я расцеловал его, да вот... виноват... и расплакался малость.

Милорадович не мог скрыть своего гнева на итальянского патера[375] и выругал его до-





стойным образом.

Австрийские генералы просили Суворова дать войскам в Милане более продолжительный отдых, но он отвечал им одним коротким: «Вперед!» И вот 26 апреля пред ним спускает свой флаг Пескьера[376], этот ключ Пьемонта, а через два дня после нее то же следует с крепостями Пиччигетоне и Тортоною. В самый день сдачи Пескьеры прибыл в главную квартиру Суворова великий князь Константин Павлович в сопровождении генерала от кавалерии Дерфельдена. Моро, атакованный 1 и 2 мая, опять вынужден был отступить к Асти и Кони. 12 мая союзники овладели Феррарою, 13-го – миланскою цитаделью, 14-го – феррарскою, а 27 мая Суворов вступил в Турин, столицу Пьемонта, и обложил тамошнюю цитадель. Рассматривая на карте движения Моро, он сказал с удовольствием: «Моро понимает меня, старика, а я радуюсь, что имею дело с умным полководцем. Но не тот умен, о коем все говорят, что он умен, а тот, кого другие дураком считают».

И здесь он оправдал слова свои, ибо, понявши хитрые маневры французского полко-

водца, сумел заставить его думать, будто да-  
ется в обман, и перехитрил его гениальней-  
шим образом. Имея в виду не допустить Мак-  
дональда[377], двигавшегося от Неаполя до со-  
единения с Моро, и разбить его отдельно, Су-  
воров начал такие странные движения войск,  
что они решительно спутали все расчеты Мо-  
ро и Макдональда.

Между тем император Павел, узнав, что в  
один месяц вся Верхняя Италия уже очищена  
и остатки разбитой армии Моро отброшены в  
Ривьеру Генуэзскую, писал Суворову:

*«В первый раз уведомили Вы Нас об од-  
ной победе, в другой – о трех, а теперь  
прислали реестр взятым городам и  
крепостям. Победа предшествует Вам  
повсеместно, и слава сооружает из са-  
мой Италии памятник вечный подви-  
гам Вашим».*

Обеспеченный уже со стороны Моро, то  
есть с фронта, Суворов смело обратился на но-  
вого противника, свежие силы которого угро-  
жали союзникам с тыла. Этот новый против-  
ник был Макдональд, уже спустившийся с  
Апеннин и начинавший дебушировать[378] в

долину реки По.

Суворов, не любивший ожидать нападения, оставил один австрийский корпус наблюдать за Моро, а сам устремился с главными силами против Макдональда, которого и оттеснил первоначально до реки Требии[379].

Здесь, на том самом месте, где за две тысячи лет до того Аннибал[380] сокрушил римлян, повторилась великая битва Требийская. «Папа Мелас», пред началом сражения читая краткую и ясную диспозицию, остался очень изумлен, что в ней ничего не было предписано на случай отступления, и прислал адъютанта спросить, куда надлежит отступить?

– Куда? За Требию, в Пьяченцу, – ответил Суворов.

Это значило, что отступления нет, а надо гнать неприятеля и двигаться вперед или умирать. Других исходов не признавал и не понимал Суворов. В этом сражении, между прочим, великий князь Константин Павлович вел в атаку кавалерийский полк, а Багратион, несмотря на отчаянное сопротивление, решил дело штыками, подтвердив еще раз на кровавом опыте превосходство русской "шты-

ковой работы" пред изобретателями ружья – этого страшного оружия. Начавшись в десять часов утра, сражение окончилось только в десять часов вечера, завершившись полным отступлением французов за Требию. Наутро началась новая битва. Макдональд дрался с Суворовым три дня подряд (7, 8 и 9 июня) и наконец, потерпев окончательное поражение, бросился в беспорядочном бегстве обратно за Апеннины, чтобы хотя бы берегом моря успеть как-нибудь соединиться с Моро, начинавшим в отсутствие русских одерживать некоторые успехи над австрийцами. Эти успехи, однако же, прекратились с появлением Суворова, который снова заставил Моро уйти в горы. Союзники перешли Требию и овладели Пьяченцою, где было взято 7 тысяч человек, 4 генерала, столько же полковников и 350 офицеров.

Жара все это время стояла нестерпимая, убийственная до такой степени, что, разбирая тела на поле сражения, находили умерших без всякой видимой причины: очевидно, что они были поражены солнечным ударом или же задохались, падая от бессилия и будучи

завалены мертвыми и ранеными. Суворов поспевал всюду и носился по полю битвы на своем поджаром горбоносом дончаке в одной полотняной сорочке и подштаниках, обутый в ботфорты и покрытый легким колпаком вместо шляпы или каски. Закусывал он в это время только солдатским сухариком да сухим донским балычком, который, составляя его любимую закуску после водки, во всех походах имелся у него в запасе. Потери Макдональда были громадны: за время трехдневной битвы 9 генералов было ранено, 6 тысяч человек убито, свыше 12 тысяч пленено, в том числе 510 офицеров, да, кроме того, у французов отнято было 7 знамен и 6 орудий. Но и союзникам далась победа не дешево: у них было насчитано до 1000 убитых и около 4 тысяч раненых, между которыми были Багратион и еще два генерала.

Известие о Требийской битве шумно полетело по всей Европе: в Вену, в Петербург, в Лондон... Император Павел прислал Суворову свой портрет, осыпанный брильянтами.

«Портрет Мой на груди Вашей, – писал го-

сударь старику, – да изъявит всем и каждому признательность государя к великим делам своего подданного, ими же прославляется царствование Наше».

Вслед за Требийской битвой, к крайнему негодованию Суворова, последовало более чем месячное бездействие австрийцев. Это был подвох мстительного Тугута, приковавшего все внимание Венского двора к продолжавшейся осаде Мантуи, стойкость которой служила для бездарного гофкригсрата уважительным предлогом противодействовать дальнейшему развитию наступательной системы русского Суворова. Фельдмаршал жаловался императору Павлу на робость гофкригсрата, на зависть к себе, как чужестранцу, на интриги частных двуличных начальников и безвластие свое в производстве операций прежде доклада о них в Вене. Но наконец сдалась и Мантуя, а за нею пала Александрия. Суворов вздохнул свободнее: он почувствовал теперь возможность оставить ненавистный ему дефенсив[381] и, перейдя в наступление, проникнуть в Ривьеру Генуэзскую.

Но это предполагаемое наступление не состоялось по той причине, что его предупредил новый главнокомандующий республиканских войск в Италии, молодой генерал Жуберт, которого сам Бонапарт называл "наследником своей славы". Усилив армию Морона многими подкреплениями, Жуберт снова перешел с нею Апеннины и занял сильную позицию при городе Нови.

– Юный Жуберт пришел учиться; дадим ему урок! – сказал тогда Суворов и, пылкий не по летам, стремительно атаковал его позицию 4 августа.

Битва была отчаянная и стоила жизни самому Жуберту. Трудность овладения новыми высотами, нестерпимая жара, грозная артиллерия и стойкое мужество неприятеля делали тщетными все усилия русских. До трех часов дня высоты три раза переходили из рук в руки. Русские начальники, кроме самого Суворова, не знали, куда девался Мелас с его отрядом, и удивлялись: что это старик длит сражение и остается спокоен, видя его безуспешность? План фельдмаршала и верность его взгляда поняли только тогда, когда



он вдруг велел учинить усиленное нападение на центр. Тогда-то начался самый страшный разгар битвы. Багратион был отбит. Суворов сам бросился в ряды солдат. При нем находился великий князь Константин.

– Друзья! Богатыри! Дети! С нами Бог! Ура! – восклицал старик.

И вот "в слепоте исступленной храбрости, под градом смертоносных орудий, не думая о превосходстве неприятельской позиции, презирая неминуемую смерть, бросились русские солдаты. Сугубо восстали на них смерть и бедствие; но, ободряемых примером вождей, их уже невозможно было удержать" [382]. В это время вдруг загрела в тылу неприятеля неожиданная канонада: это Мелас, удачно сделавший обход, громил теперь французов. Нападение на центр было усилено еще больше. Противник, видя невозможность держаться долее, решился бросить на жертву часть своих войск, чтобы спасти остальные, и спешно начал отступление в горные ущелья, укрываемый мраком наступившей ночи. Французы потеряли убитыми и ранеными более 10 тысяч; русские и австрийцы – 8 тысяч.

До 5 тысяч пленных и 36 пушек достались победителям. Когда австрийцы заспорили было о числе этих последних трофеев, причитавшихся на их долю, и требовали себе половину, Суворов порешил вопрос коротко и просто:

– Отдать им всё! – приказал он. – Пускай их! Где им взять! Мы еще возьмем!

И пушки были отданы беспрекословно.

Подвиги Суворова достойно оценивались и монархом России, и освобожденной Италией, и изумленной Европой, возбуждая в то же время ужас правителей Франции. За освобождение в четыре месяца всей Италии "от безбожных завоевателей" император Павел возвел Суворова в княжеское Российской империи достоинство с титулом *Италийский*, «да сохранится в веках память дел Суворова», и повелел «в благодарность подвигов этих гвардии и всем российским войскам, даже и в присутствии государя, отдавать ему все воинские почести, подобно отдаваемым особе императорского величества».

"Не знаю, кому приятнее, – писал Суворову

Павел I, – Вам ли побеждать или Мне награждать Вас, хотя мы оба исполняем свое дело. Я как *государь*, Вы как *полководец*; но Я не знаю, что Вам давать, – Вы поставили себя выше всяких наградений, а потому определили Мы Вам почесть военную... Дстойному дстойное!" – прибавлял государь в заключение своего рескрипта.

В Англии давно уже на всех праздниках провозглашали тосты за здоровье *избавителя Италии*, сочиняли ему оды и гимны, выбили в честь его медаль... Но особенное удовольствие доставила императору Павлу награда, пожалованная Суворову королем сардинским, который возвел его в сан главнокомандующего фельдмаршала сардинских войск и в гранды[383] Сардинии, с титулом и степенью *кузенов*[384] королевских (*cousin du roi*) и прислал ему ордена Аннонсиады, Маврикия и Лазаря. «Радуюсь, что Вы делаетесь Мне роднею, – писал после этого император Павел Суворову, – ибо все владетельные особы между собою роднею почитаются».

"Славе легко породниться с царями!" – вос-

клицали поэты. "Я разделяю с другими благодеяния Ваши, – писал фельдмаршалу король неаполитанский. – Вы открыли Мне дорогу в царство Мое, Вы утвердите меня на Моем царстве".

А между тем среди всех этих побед и оваций завистливый и мелочно мстительный Тугут готовил исподтишка Суворову новые козни и ковы.

## XXIV. Перед Альпами

**10** больших выигранных сражений, 25 взятых крепостей, 80 тысяч пленных французов, около 3 тысяч французских орудий, 200 тысяч ружей и полное очищение от неприятеля всего Пьемонта и Ломбардии – вот что было трофеями и результатом суворовских действий в Италии. В четыре месяца сделано было то, над чем почти четыре года трудился Наполеон Бонапарт. И все это свершилось при самых невыгодных обстоятельствах, в каких только мог находиться главнокомандующий союзных войск, окруженный тайными шпионами Тугута и явными недоброжелателями – друзьями и холопами того же австрий-

ского премьера. Мы уже говорили, насколько предписания гофкригсрата связывали Суворова и мешали его военным планам. Беспре­станно подтверждали ему из Вены, чтобы он действовал как можно осторожнее, и негодо­вали, когда он насмешливо доносил, что по­лучил в Милане приказание идти за Адду, в Турине – позволение *действовать на Милан*. Суворов не без основания подозревал во всех действиях наших союзников своекорыстную подкладку. Когда же победы его освободили Италию, своекорыстие это обнаружилось вполне. «Добрые» австрийцы русскими рука­ми загребали жар в свою пользу. По взятии Турина Суворов в особой прокламации, со­гласно воле императора Павла, призвал наро­ды Италии к возвращению под власть закон­ных их государей, что как нельзя более совпа­дало с желаниями самих итальянцев. Но Вен­ский двор, вопреки этой прокламации, пото­ропился сейчас же учредить повсюду свои ав­стрийские управления, доходы и подати ве­лел собирать на Австрию; строго запретил на­родные восстания, организованные для осво­бождения страны из-под ига французов; му-

ниципальные стражи были обезоружены и заменены австрийцами; чиновники, присланные от сардинского короля, не допущены были к отправлению должностей – и это в то самое время, когда император Павел, действуя честно и по правоте сердца, велел Суворову звать в Турин законного государя и передать ему Пьемонт!..

Горько жаловался Суворов на все оскорбительные и бедственные распоряжения гофкригсрата и австрийских канцелярий, постоянно открывая в то же время все новые и новые козни Тугута.

"Я стою между двумя батареями – военного и дипломатическую; первой не боюсь, но не знаю, устою ли против другой, – писал Суворов с досадою. – Или дайте мне полную власть – и никто не мешай, или я прошу отзывать мне... Ради бога, отнимите у них перья, бумагу и крамолу!.. Запретите глупую переписку демосфеновскую[385]: она развращает подчиненных... Не они ли потеряли Нидерланды, Швейцарию, Рейн и преклоняли колена пред Бонапартом? Я начал поправлять – и глупую

системою меня вяжут!.. Деликатность здесь неуместна. Где оскорбляется слава русского оружия, там потребны твердость духа и настоятельность".

Видя неподатливость Суворова, дипломаты и стратегики Австрийского двора решились нанести ему окончательный удар. Победа при Нови поселила в них ложную уверенность, будто в Италии уже нечего более опасаться; да и, кроме того, присутствие русских все-таки мешало им прибрать Италию как следует к своим рукам и задушить ее втихомолку. Готовясь к завоеванию Генуи, с тем чтобы следующей весной вторгнуться во Францию и кончить войну в завоеванном Париже, Суворов вдруг получает из Вены неожиданный приказ – сдать команду над австрийской армией Меласу и идти с русскими войсками в Швейцарию. Венские политики целым рядом происков и хитрых убеждений успели взять согласие на это распоряжение и императора Павла. «Успехи французов против цесарцев начнутся с отбытием русских в Швейцарию», – утешал он фельдмаршала в

ответ на его жалобу. После этого Суворову, конечно, не оставалось ничего, как только покориться необходимости и выступить тем скорее, что Венский двор требовал выступления *безотлагательно*.

Новый план военных действий, изобретенный Тугутом, заключался в том, что союзные войска займут операционную линию между Немецким[386] и Средиземным морями, а русские сосредоточатся исключительно в Швейцарии, откуда австрийский эрцгерцог Карл, не дожидаясь даже прибытия Суворова, немедленно выступит к Среднему Рейну, между тем как герцог Йоркский с англичанами двинется туда же из Голландии. Таким образом, два слабосильных русских корпуса – Римского-Корсакова в Швейцарии и Германа в Голландии – одинаково предавались австрийцами на верную жертву: Корсаков – Массены, а Герман – Брюна. Достаточно сказать, что с уходом эрцгерцога Карла 24 тысячи Корсакова очутились против 84 тысяч французов, занимавших Швейцарию.

Это хитросплетение австрийского министерства составляло венец козней Тугута;



можно было рассчитывать на верное, что Герман с Корсаковым будут просто задавлены массами французов. Суворов же погибнет в альпийских ледниках и пропастях, в борьбе с непреодолимой природой, и тогда с уничтожением русских никто и ничто уже не помешает Австрии проглотить Пьемонт и Ломбардию.

Делать было нечего.

– Иду! – воскликнул Суворов, прочтя настойчивое предписание. – Иду! Но горе тем, кто посылает меня! Горе Австрии!.. Я бил, да не добил французов, и злоумышленники раскаются, но поздно!

Фельдмаршал знал все предстоявшие ему трудности, знал, что его армия встретит на пути своем такие места, где два человека едва могут пройти рядом, где и думать нельзя ни о повозках, ни об артиллерии, где нечего рассчитывать на какие-нибудь средства продовольствия, где, наконец, придется штыками пролагать себе дорогу сквозь узкие горные теснины, уже загражденные французскими отрядами; знал он также и то, что Массена не станет дожидаться его прибытия, а, пользуясь

уходом эрцгерцога Карла, поспешит разбить Корсакова, что и случилось на самом деле.

Все распоряжения к походу были сделаны с обычной быстротой. Обозы и артиллерия должны были направиться кружным путем, водой, а при армии оставлено только двадцать пять горных орудий, которыми навьючили мулов. Австрийское полевое интендантство успокоило Суворова, что ему нечего заботиться о перевязочных средствах, так как для него уже заготовлено в Таверне[387] до полутора тысяч вьючных мулов.

Усиленными маршами пришли русские войска 4 сентября в Таверну. Перед ними высились снежные вершины Альп. Но каковы же были удивление и досада Суворова, когда ни в Таверне, ни в окрестностях не оказалось ни одного мула! Этот новый подвох австрийской политики решительно ставил в тупик русского фельдмаршала, пред самыми глазами которого возвышался хребет Монте-Ченаре, непроходимый ни для каких провиантских повозок и доступный только мулам. Суворов видел, что даже при его расчете на семидневный поход от Таверны до Швица не

было никакой возможности двинуться без мулов. Теперь уже ему самому приходилось остановиться и ждать пять суток, то есть медлить, разрушая тем свою собственную диспозицию, от своевременного выполнения которой зависело, быть может, спасение Римско-Корсакова. Но на этой-то остановке, собственно, и строились расчеты наших "добрых" союзников. Этого-то только им и нужно было.

Суворов горько жаловался в письме императору Павлу на все эти далеко не двусмысленные штуки, но с солдатами поневоле высказывался иначе.

– Вот там, – говорил он им, указывая на подымавшиеся с севера утесы, – там безбожники французы... Их мы будем бить по-русски... Горы велики, есть пропасти, есть водотеки, а мы их перейдем – перелетим! Мы русские! Бог нами водит. Лезши на горы, одни стрелки стреляй по головам врага, – стреляй редко, да метко, а прочие шибко лезь в россыпь. Взлезай, бей, коли, гони, не давай отдыху. Просящим пощада: грех напрасно убивать. Помилуй бог! Мы русские – Богу молимся. Он

нам помощник; царю служим, он на нас и надеется, и нас любит... Чудо-богатыри! Чада Павловы! Кого из нас убьют – царство небесное!.. Церковь Бога молит. Останемся живы – нам честь, слава, слава, слава!

Впрочем, солдаты очень хорошо понимали, чего не договаривает и даже вовсе не высказывает "отец". Имя Тугута в войсках наших произносилось с проклятием, как чума, и было известно не только офицерам, но и каждому рядовому.

Маленький городишко, пока в нем поневоле оставалась главная квартира русской армии, кипел жизнью и многолюдством. По главной улице беспрестанно тянулись передвигавшиеся части войск, скакали в разные стороны посыльные казаки, кучки обывателей стояли там и сям в своих характерных костюмах и с обычной жестикуляцией оживленно разговаривали между собой либо с военными; пестрые юбки кокетливо мелькали в улицах, хорошенькие личики любопытно выглядывали из окошек, из-за калиток, из зелени виноградников... Множество разного офицерства появлялось с бивуаков потол-

каться по городу, закупить чего-нибудь в лавках, пообедать в ресторации, поразузнать новости и слухи из главной квартиры, которая, как и всегда в подобных случаях, становилась центром всех интересов и стремлений. Почти все дома заняты были постоем, но для гостей с бивуаков жители охотно уступали на несколько часов помещение в своих квартирах. Все обыватели превратились на это время в торговцев: кто продавал лепешки, кто вино, виноград, сыр, фрукты... В двух-трех трактирах была такая теснота от офицеров, что новые посетители с трудом протискивались внутрь.

Повсюду стоял шум и гомон, и было во всем этом нечто таборное, оживленно-страстное, жгучее и беззаветно-веселое. Здесь раздаются нежные звуки мандолины, там свинью волокут за ноги, и визжит она благим матом; с ближайшего бивуака звуки кавалерийской трубы несутся, в другом конце барабан грохочет "сбор на кашницу"; тут взрывы хохота, там русская ругань или немецкая брань, итальянская песня под аккомпанемент гитары и разухабистая всероссийская "барынька" с "кома-

ринским". В трактирах играли в банк, в фараона и в кости. Кучи золота и серебра мгновенно переходили из рук в руки, и в этой битве на зеленом поле преимущественно отличались австрийские чиновники полевое интендантства. Эти господа жили и одевались роскошно, пили шампанское, разъезжали в комфортабельных экипажах, возили за собой любовниц, проигрывали и выигрывали десятки тысяч...

Русские офицеры насчет шампанского и вообще вина тоже в грязь лицом не ударяли: последняя копейка шла ребром, а вследствие игры между ними и австрийцами нередко происходили ссоры. Вообще наши на господ австрийцев смотрели теперь не только косо, но даже враждебно; союзники, конечно, платили нам тем же, однако не мы первые подали к тому повод.

Зайдя как-то раз закусить в один из трактиров, Черепов столкнулся там с Поплюевым и еще кое с кем из знакомых офицеров. Сели за общий стол, заболтались за кружками вина, а потом придвинулись к тому концу, где австрийский шикарный офицер метал банк,

окруженный тесной толпой союзного офицерства, и стали следить за игрой. Черепов поставил карту и мало-помалу увлекся. Вскоре кошелек его оказался пуст. С досады за проигрыш и с понятным желанием отыграться он расстегнул из-под камзола свой кожаный черес[388], в котором хранились все его деньги, и положил его на стол перед собой. Но вскоре и из череса исчез последний червонец.

Василий Иванович сел, подпершись рукой, и задумался.

– Herr Oberst[389], ваша карта? – спросил щеголеватый австриец.

– У меня нет карты... Я не играю больше, – с внутренней досадой и потому отрывисто проговорил Черепов.

– Зачем так? – с тонкой усмешкой прищурился на него банкомет.

– Затем, что я проиграл все, до копейки, и теперь ничего больше не имею.

– Ба-а! Пока у человека есть мундир на плечах и, наконец, собственная жизнь, он не может сказать, что ничего не имеет, – фатовато возразил австриец.

Черепов внутренне дрогнул, почувствовав

кровное оскорбление. Он хмуро повел глазами на окружающих и в упор остановил свой твердый взгляд на блистательном офицере.

– Русские мундиром не торгуют и отнюдь не позволяют себе ставить его на карту, – сказал он веским и спокойным голосом. – А что касается до жизни, то извольте, я готов, но с тем, что ежели кто из нас проиграет, тот всадит себе пулю в лоб сейчас же, здесь, на месте.

Опешивший фанфарон смутился и стал было вежливо и мягко объяснять, что он хотел вовсе не то сказать и не так понять...

– Без объяснений! – перебил его Черепов. – Чего там не так понять! Я отлично понял, что вы мне сделали вызов, и я его принял. Надеюсь, и все здесь поняли это точно так же?

– Конечно, вызов! – подтвердили несколько русских офицеров.

– Господа австрийцы, ваше мнение? – спросил кто-то.

Те отвечали молчаливым пожатием плеч и в замешательстве только переглядывались между собой.

– Камрад! – обратился меж тем Черепов к



какому-то казачьему офицеру. – Вы, кстати, при пистолете. Заряжен он у вас?

– Непременно, полковник.

– В таком разе одолжите-ка его сюда на минутку.

И Черепов, внимательно осмотрев кремень[390] и полку, положил врученный ему пистолет на стол между собой и австрийцем.

– Ну-с, милостивый государь, теперь я к вашим услугам. Не угодно ли!

Он вынул наудачу первую попавшуюся карту. Это была трефовая восьмерка.

Австриец, принужденно улыбаясь, начал метать.

В комнате водворилась вдруг мертвая тишина. Все присутствующие тесно столпились вокруг стола и, затаив дыхание, напряженно следили, как ложатся карты.

– Направо – налево... направо – налево...

– Дана! – сорвался вдруг общий крик, когда наконец выпала роковая восьмерка...

Австриец побледнел. Черепов не мигнул даже глазом: лицо его оставалось спокойно.

Бросив карты, смущенный фанфарон опустил руки и молчал, как школьник, пойман-

ный на месте.

Противник выжидательно смотрел на него вопросительным взглядом.

– Herr Oberst, ведь это шутка? Без сомнения? Да? – тревожно обступили его австрийцы, сделавшиеся вдруг очень милыми и любезными. – Не правда ли? Вы не потребуете от молодого человека подобной жертвы!

– Я не шутил, господа, ставя мою жизнь на карту, – холодно и твердо возразил им Черепов, – и если бы я проиграл жизнь, то не принял бы ее в подаяние от противника; а затем, государь мой, – обратился он к банкомету, – так как пистолет до сих пор не разряжен вами, то оставляю ваш поступок на вашу совесть.

И, сухо раскланявшись с австрийцем, он удалился из трактира.

– Василий Иванович... Друг... Благодетель! – остановил его вдруг на пороге кинувшийся за ним вдогонку Поплюев. – Вот это так!.. Это по-русски, растак их душу!.. По-русски... Хорошо, голубчик!.. Хорошо! – растроганно сюсюкал он своим заплетающимся лепетом, горячо и крепко пожимая руку Черепову.

ва. – Вы все проиграли? И "гельд ништу"[391], значит?

– Ни копыа не осталось... Да ну их! Это все равно! – нетерпеливо махнул рукой Черепов, сходя со ступеней.

– Минутку!.. Минутку, сударь, – остановил его Прохор. – У меня до вас преусердная просьба... Не откажите.

– Что прикажете?

– Будьте столь добры, возьмите у меня займы!

– Убирайтесь, Поплюев!

– Ах, ах, камрад!.. Это уж, извините, не по-товарищески... Чего нам кичиться! Свои люди – сочтемся! У меня тысяча червонцев – возьмите пятьсот!.. Бога ради!.. Умоляю, не обидьте меня!.. Если не возьмете, то сим вы доказуете только ваше ко мне презрение, а я дворянин такой же, как и вы... И за что же?...

– Ну, ин быть по-вашему! Давайте! – согласился Черепов.

– Друг!.. Товарищ!.. Вот... Вот это так! – восторженно кинулся к нему на шею Поплюев. – Благодарствую вам, сударь!.. От всей моей признательной души благодарствую!.. А тот

шельмец, – драматически указал он жестом на трактир, подразумевая австрийца, – пускай в презрении влачит злосчастные дни!.. Ну а теперь выпьем!

И растроганный Прохор был совершенно счастлив.

Стоустая молва в тот же день разнесла по ступок Черепова по всему русскому стану, и Милорадович, этот "Баярд[392] своего времени", с восторгом рассказал о нем Суворову.

– Поединщик?! – весело встретил Черепова фельдмаршал, когда тот по должности явился к нему на следующее утро. – За мундир жизнь на карту?! Молодец! Помилуй бог!.. Павлово чадо!.. Спасибо, что за честь российского мундира постоял и не дался в обиду *нихтбеш-тимтзагеру*[393]... А за то, что в запрещенную игру покусился, ступай под арест немедленно!

Таков был неожиданный финал суворовского приветствия. Но арест Черепова продолжался недолго: перед обедом дежурный адъютант принес ему на гауптвахту его шпагу и от имени фельдмаршала передал, что "Светлейший ожидает его спартанской похлебки и

железной каши кушать".

## XXV. Чёртов мост

После долгого размышления по поводу того, как быть без мулов, великому князю Константину Павловичу блеснула счастливая мысль – употребить под вьюки казачьих лошадей. Искренно поблагодарив его высочество за добрый совет, Суворов тотчас же приказал спешить полторы тысячи казаков, а их коней навьючить провиантом. Устранив таким образом все помехи, русская армия двумя колоннами двинулась 10 сентября к Сен-Готарду. Авангардами командовали Багратион и Милорадович.

Утро этого дня было пасмурно и ненастно. От Таверны до Сен-Готарда шли трое суток, в течение которых дождь не переставал лить ливнем, а резкий северный ветер с гор пронизывал насквозь. Войска располагались на бивуак под кровом сырых холодных ночей, дрогли от стужи, мокли от слякоти и до рассвета поднимались в поход. Вся армия тянулась гусем по узеньким тропинкам, то взбираясь на высочайшие горы, то спускаясь в

пропасти; часто и вовсе не видали тропинок, а так, махали себе наудалую; часто переходили вброд глубокие быстротеки, выше колен в воде, а два раза и по пояс ее было. Одна крутизна, выше и длиннее прочих, умучила войска до устали душевной.

Переходы были нескончаемые: с ранней зари до глубоких сумерек всё шли и шли ускоренным шагом, и на узкой торной тропе многие из солдат, оскользнувшись, неслись кубарем вниз и разбивались об острые камни; много вьюков вместе с лошадьми погибло в пропастях. Один офицер, весело разговаривая и перекликаясь с товарищами, вдруг полетел стремглав вместе со своей лошадью с такой отвесной высоты, что дух занимало при одном взгляде вниз. Сверху не видать было даже и места, на которое он упал... Солдаты только перекрестились за упокой его души и, не останавливаясь, двигались далее. Каждый заботился лишь о собственном спасении, потому что помощь подать было невозможно. Кто поскользнулся или оступился — мог считать себя мертвым. И на этих-то вершинах свистали вихри и редела осенняя буря,

низвергая с вершин страшные камни и глыбы, падение которых раздавалось в горах громовыми раскатами; снежные лавины обрушивались на тропу и хоронили под собой случайно подвернувшихся солдат, тогда как следующие люди должны были перебираться через массу лавины, утопая в рыхлом снеге. Шумные водопады до того заглушали воздух, что в пяти шагах не слышать было иногда голоса человека, кричавшего изо всей мочи. Метель порою совершенно заметала след предшествовавшего путника, и делалось это мгновенно, так что все переходили опасное место чисто наудалую. Много и погибло при этом...

Иногда в один день русской армии случилось проходить все климаты и испытывать все возможные погоды. Нередко на высоте горы, покрытой вечным льдом и снегом, все войско начинало костенеть от чрезмерной стужи и резкого ветра. Даже местные проводники трепетали в этом "холодном аду" и наконец разбежались. Горизонт был сжат громадными теснинами, небо было хмуро – ни единого солнечного луча! – и вся природа как

будто злобствовала. Каждый солдат, отягченный своею ношей и утомленный до изнеможения, должен был еще взлезать на каждую гору, как на штурм крутого вала или отвесной стены. Многие из офицеров вовсе не имели ни вьюков, ни верховых лошадей: скатав шинель через плечо, они несли сами в узелке насущное пропитание и все свое походное имущество. "Чудесно и непостижимо, как не истощилось мужество и неутомимость войск! – восклицает очевидец этих ужасов. – Один, изнемогший под тягостию всех сих изнурений, мог бы остановить ход всей колонны"[394].

Но тут был живой пример перед глазами – сам Суворов. Среди всех этих ужасов верхом на казачьей лошаденке, едва влачившей ноги, фельдмаршал все время ехал подле солдат, удивляя всех легкостью своей одежды: обыкновенный мундир, белый камзол, такие же панталоны с полуботфортами, круглая большая шляпа с опускными полями, взятая у какого-то капуцина, и ветхий, ничем не подбитый синий плащ, или епанча, которая досталась ему еще от отца и всей армии из-





вестна была под названием «родительской», – вот и все, что имел на себе Суворов, забывший, казалось, свои семьдесят лет.

Обок с ним тащился на казачьей же кляче некто Антонио Гамма, старичок из Таверны, у которого в доме фельдмаршал основал свою главную квартиру во время невольной пятидневной остановки. Очарованный до восторга характером и образом русского полководца, Антонио дал ему обещание следовать за ним в горы и, бросив в Таверне жену с детьми и внуками, сдержал свое слово. Он служил отличным проводником для армии и облегчал суворовскому штабу сношения с местными жителями.

Русские войска одновременно приблизились к неприятельской позиции с двух противоположных сторон и ночь на 13 сентября провели неподалеку от Сен-Готарда, вершину которого занимал отряд неприятеля.

Сен-Готард был почти недоступен со стороны Италии: единственная тропинка, едва-едва проходима для вьючных, извилисто поднималась по крутому свесу горы и, взбегая до самой вершины Сен-Готарда, где, на высоте

6800 футов, стоял странноприимный дом капуцинских монахов, несколько раз пересекала два горных потока, глубокие ложбины которых бороздили кручу. Но все эти препятствия не остановили, однако, формальной атаки русских. Три раза штурмовали они недоступные скалы и наконец взяли снежную вершину Сен-Готарда. Французы в поспешном отступлении спустились к деревне Госпиталь[395].

Суворов сейчас же поехал в странноприимный монастырь, у ворот которого его встретили все капуцины и сам семидесятилетний приор, белый как лунь. Он отслужил по просьбе фельдмаршала благодарственный молебен, а затем пригласил его и всю свиту в братскую трапезную, где Суворов с большим аппетитом ел монашеский обед из картофеля и гороха и весело разговаривал с приором на разных языках. Образованный приор был в большом удивлении от разнообразных знаний и начитанности русского полководца.

Отдохнув несколько времени на снегах Сен-Готарда, русские спустились к деревне Госпиталь, атаковали здесь неприятеля и,

уже ночью, в совершенной темноте, ворвались в самую деревню, откуда французы бросились бежать. Видя невозможность преследовать их войсками, которые едва держались на ногах от чрезмерного истомления, Суворов отрядил в погоню один только полк генерала Белецкого (Бутырский), а прочие полки оставил на бивуаке в Госпитале, к чему, между прочим, побуждала его и неизвестность о результатах, добытых Розенбергом, который командовал второю колонною, направленною в обход, для овладения деревней Урзерн[396].

Результаты эти были удачны не менее суворовских. Подойдя к Урзерну, Розенберг начал стягивать и устраивать свои полки на уступе высокой горы, у подошвы которой расположились французы, готовые к бою. Пока весь корпус успел собраться на уступ, густой, непроницаемый туман уже повис над всею окрестностью, и медлить далее было нельзя. Розенберг отдал войскам приказание: как можно тише сойти с горы и разом ударить на французов. Но спуск был так ужасно крут, что солдаты невольно остановились перед ним в недоумении. Видя эту нерешительность и ко-

лебание, Милорадович вышел вперед и обратился к солдатам:

– Коли вы так, то смотрите же, как возьмут в плен вашего генерала! – крикнул он решительным голосом и с этими словами вдруг покатился с уступа на спине.

Этот отчаянно лихой пример электрически подействовал на людей: вслед за Милорадовичем русские войска *скатились* – в буквальном смысле этого слова – в долину и, дав по неприятелю дружный залп, с криком «ура!» кинулись на него в штыки. Этот натиск, не подозреваемый противником, был столь решителен и быстр, что французы, будучи смяты и охвачены с обоих флангов, бросились бежать левым берегом Рейсы[397], оставя в руках победителя 3 орудия. За наступившею темнотою ночи их невозможно было преследовать по незнакомой и крайне опасной горной местности, и потому Розенберг немедленно занял Урзерн, расположась около него лагерем. В Урзерне было нами захвачено 370 тысяч боевых патронов и дневной запас провианта, в котором мы терпели существенную нужду.

Так кончился наш *первый боевой день* в Швейцарии. Ночь на 14 сентября оба русских корпуса провели на расстоянии трех верст один от другого, хотя и без прямого сообщения между собою. Генерал Лекурб, наш противник, побросав большую часть своих орудий в Рейсу, успел, однако, в эту же ночь перелезть чрез страшный хребет Бетцберг, высотой до 7 тысяч футов, спуститься к деревне Гешенен, стать по ту сторону Чёртова моста и таким образом все-таки загородить русским дальнейшую дорогу.

Утром 14 сентября Суворов соединился с Розенбергом в Урзерне. В версте от этой деревни на пути нашей армии находилась так называемая Урнерская дыра (Urner Loch), то есть низкое подземное отверстие в восемьдесят шагов длиною, шириною же не более как настолько, чтобы пройти одному человеку и вьючному мулу. Таково оно было в те времена. Сам проход пробит между громадными утесами, отвесно восстающими из самого русла Рейсы. В трехстах шагах за Урнерскою дырою, на том же пути, находится знаменитый мост, которому сами местные обыватели дали

название *Чёртов* (Teufelsdrücke). Уже по самому названию можно приблизительно судить, что это такое. Чёртов мост – искусственная арка, как будто нечеловеческими усилиями переброшенная с утеса над бездною Рейсы на высоте 75 футов. Рейса в этом месте с громовым треском и с быстротою молнии, вздымая огромные тучи водяной пыли и брызг, бешено прыгает с высоты двухсот футов с уступа на уступ, с камня на камень и стремительно низвергается с ревом и пеною под Чёртов мост в глубокие пропасти.

В этих теснинах, казалось, сама природа как будто хотела испытать, действительно ли нет ничего невозможного для русских войск – и что же! Быстро появился Суворов пред Урнерскою дырою. Но едва головная колонна вступила в самое подземелье, как была встречена ружейными и пушечными выстрелами, тотчас же доказавшими, что пробиться сквозь эту страшную дыру физически невозможно. Тогда Суворов отряжает в обход две колонны – одну по правому, другую по левому берегу Рейсы.

Полковник Трубников с тремястами охот-





никами должен был нечеловеческими усилиями взобраться с правой стороны на скалы, висевшие над самою «дырою», а майор Тревогин во главе двухсот егерей, тоже охотников, спустился с двухсотсаженной высоты в самую Рейсу и, по пояс в воде перебравшись с невероятными усилиями через бурно-стремительный поток, начал карабкаться на горные кручи противоположного (левого) берега. За Тревогиным последовал полковник Свищев с целым батальоном. Кому довелось видеть воочию эти громады отвесных утесов, тот и теперь с трудом верит, чтобы войска (и в особенности совсем непривычные в горной войне) могли взбираться на такие неприступные крутизны. Трубникову удалось ранее левой колонны взобраться на скалы над Урнерской дырой, и неожиданное появление его здесь, над головой противника, до того изумило и встревожило французов, что передовой их отряд, опасаясь, как бы его не отрезали, немедленно же покинул свою позицию перед выходом из подземелья, а войска, стоявшие позади Чёртова моста, второпях начали ломать каменную мостовую кладку. Таким

образом, передовому их отряду уже не было отступления. Батальон Мансурова, пользуясь этой суматохой, прорвался сквозь Урнерскую дыру и бросился в штыки на французов. Припертые к краю пропасти, эти герои не сдавались. Они бросили свое орудие в Рейсу и вслед за ним большею частью погибли в ее кипучих волнах; остальные же были переколоты на месте.

Несмотря на огонь наших стрелков, французы, стоявшие за мостом, успели разобрать значительную часть мостовой арки. Образовавшийся провал был так широк, что не давал уже возможности перепрыгнуть через него на левый берег, где рассыпалась густая цепь неприятельских стрелков. За каждым камнем, за каждой скалой, и вдоль самой дороги, и внизу у реки, и наверху по горам – везде торчали ружейные дула, отовсюду летели меткие пули...

Русские войска, остановленные провалом, тоже поспешили окаймить свой берег стрелками и под защитой их огня прыгали со скал, пробирались к самому руслу Рейсы, карабкались на утесы, чтобы ловчее поражать непри-

ателя выстрелами. Живая перестрелка кипела с обеих сторон ущелья, все ребра гор подернулись дымом. Между тем охотники Тревогина и батальон Свищева уже достигли горных вершин противного берега и спускались оттуда в тыл неприятеля.

Вслед за ними генерал-майор Каменский со своим Архангело-городским мушкетерским полком, еще близ Урзерна перейдя на левую сторону Рейсы, взобрался на страшный хребет Бетцберг и грозил правому флангу противника. Это наконец заставило французов подумать о своем спасении, и они начали отступать от моста.

Черепов, посланный осмотреть, в каком состоянии находится переправа и есть ли хоть малейшая возможность перейти на ту сторону прямой дорогой, стоял около самого моста и разговаривал с майором Мещерским. Чуть лишь заметили они, что французы на той стороне подаются назад, начиная несомненную ретираду, как бросились с ротою солдат к сараю, случившемуся поблизости, и вмиг выдернули из его стен несколько бревен.

– Господа офицеры, давайте сюда свои шарфы! Все, сколько есть! Больше! Несите живее! – кричали они ближайшим товарищам. – Передавайте дальше, другим, чтобы шарфы сюда!.. Торопитесь...

И вот через несколько минут перед ними лежала куча офицерских шарфов. Узлами связав их один с другим, скрутили нечто вроде канатов и вплотную соединили несколькими из них три-четыре бревна, затем, закрепив импровизированным длинным канатом верхний конец этих бревен, стоймя поднесли их к самому краю провала и, уперев нижним концом в землю, осторожно опустили на шарфяном канате другой конец на противоположную сторону моста.

По этой-то зыбкой переправе первым перешел на тот берег майор Мещерский; за ним следовал ординарец-казак, а далее Черепов. Казак посредине потерял равновесие, мгновенно наклонился и стремглав полетел в кипящую бездну. Удержать его не было возможности. За Череповым, помогая друг другу, перешло еще несколько офицеров, бывших в голове колонны. Храбрый Мещерский едва сту-



пил на противный берег, как тут же был смертельно ранен и только успел сказать товарищам: «Не забудьте меня в реляции», — как уже опрокинулся со скалы и расшибся в бездне.

В это время полковник Свищев и майор Тревогин спустились с гор и погналы отступавшего неприятеля, положив вдоль узкой дороги до 280 французов.

Однако для перехода через Чёртов мост главных сил армии бревенчатая перекладина, брошенная через провал, была далеко не достаточна, требовалось что-нибудь более прочное. Эта работа была тут же поручена австрийским пионерам[398], находившимся при нашей армии. Но немцы до того медленно приступали к поправке поврежденной части моста и так методически измеряли и рассчитывали каждый вершок, что генерал Ребиндер, потеряв всякое терпение, приказал вызвать из наших полков людей, знающих плотничье дело. Таковых явилось до сотни. Им вручили австрийские инструменты, и они в ту же минуту принялись за работу по-своему: натаскали бревен, хворосту, досок, и в ка-

кой-нибудь час времени мост был отличнейшим образом исправлен. Немцы, изумленные быстротою русской работы, только поглядывали на готовый мост да приговаривали:

– Ja!.. Fertig!.. Das ist gut![399]

– То-то "гут"! – отвечал им русский солдатик, распоряжавшийся работой. – Вы бы и до вечера "гутели", а делу ходу бы не дали.

Ребиндер представил его Суворову, когда тот подошел осмотреть только что оконченный мост.

– Русский на всё пригоден! – воскликнул фельдмаршал. – Помилуй бог! На всё, на всё... И бить врага, и служить Богу и царю. У других этого нет, а у нас всё есть!

И он щедро наградил солдата деньгами.

Вся колонна немедленно же перешла Рейсу и следовала через деревню Гешенен к Вазену[400]. На всем этом протяжении Рейса несетя еще в виде бурного потока, а в некоторых местах низвергается водопадами. Дорога то и дело перекидывается с одного берега на другой. Несколько животрепещущих мостиков, испорченных неприятелем, чрезвычайно замедляли наступление русских, так

что главные их силы уже поздней ночью достигли Вазена, сделав в этот день переход только в двенадцать верст. Но зато и переход же!..

## **XXVI. В «царстве ужасов»**

**У**тром 15 сентября Суворов выступил далее, на Альторф[401]. Движение это происходило по столь же трудной дороге, представляющей одно непрерывное дефиле[402]. В Альторфе, занятом нами также с бою, Суворов рассчитывал найти австрийскую флотилию, готовую перевезти его войска через Люцернское озеро в Швиц, но флотилии не оказалось: французы, отступившие из Альторфа к Люцерну, успели захватить все средства к переправе. Со Швицем же не было отсюда никаких сухопутных сообщений, кроме двух тропинок, поднимавшихся на ужасающую высь Росшток и ведущих через снежный хребет в долину Муттенскую[403], по которой открывается путь к Швицу. Но тропинки эти в позднее время года доступны разве для одних лишь смелых альпийских охотников, привыкших с малолетства, в своих особенных,



острым железом подкованных башмаках, карабкаться по громадным утесам и пустынным ледникам.

Только тут, в Альторфе, увидел с ужасом Суворов, куда завели его австрийские колонновожатые – Вейротер, Рихтер и другие. Малочисленная русская армия была поставлена в безвыходное положение, и затаенная коварная цель Тугута казалась уже достигнутою. К довершению беспокойства Суворова не было еще никаких известий о Корсакове, для соединения с которым принесено уже столько жертв и совершено столько подвигов. Между жителями носились, впрочем, какие-то смутные слухи, будто бы еще накануне происходил упорный бой на Линте и союзники чуть ли не потерпели в нем поражение.

Что будет с отрядами Линкена и Готце, остававшимися пока еще в Швейцарии – до прибытия Суворова?! Что будет с Корсаковым, если сам Суворов не достигнет назначенного сборного пункта в Швице?! Что будет с ним, если даже опоздает он туда к условленному сроку?! Что будет, наконец, и с самой армией Суворова без тех запасов продоволь-

ствия, которые рассчитывал он найти в Швеице?! Уже в Альторфе армия эта терпела крайнюю нужду, несмотря на захваченные магазины, из коих на долю каждого солдата досталось по три пригоршни муки. Весь провиант, какой люди несли на себе, почти вышел, а вьючные не могли поспевать за колонною: бесконечной лентой растянулись они по всему протяжению дороги от самой Таверны до Альторфа. Части неприятельских войск, которые при отступлении бросились из долины Рейсы в боковые ущелья, могли ежеминутно отрезать их и окончательно предать русскую армию голодной смерти. Отступить было некуда: вся дорога, то есть по большей части едва проходима тропинка, была загромождена вьючными, да и неприятель все время преследовал бы и с тылу, и с фланга. Сам Лекурб, тоже отличавшийся необыкновенной решимостью, не допускал даже и мысли, что Суворов отважится вести свое войско далее — по тропинкам Росштока, оставив за собой 6 тысяч неприятеля.

И однако ж русский полководец, не колеблясь ни минуты, избрал именно этот путь, и

даже самую трудную из этих тропинок, потому что она прямее ведет к деревне Муттен [404], а он решился во что бы то ни стало добраться до условленного сборного пункта в Швице. Ни одной армии в мире не случилось еще проходить по таким страшным стремнинам!

Не потеряв ни одного дня в Альторфе, Суворов на рассвете, 16 числа, двинул на Росшток свои авангард под командой князя Багратиона. Постепенно тропинка делалась все круче и Уже, а местами и вовсе исчезала на скалах. Войска должны были взбираться поодиночке, гуськом, то по голым камням, то по скользкой глине. В иных местах приходилось карабкаться как бы по ступеням, на которых не умещалась и подошва ноги; в других мелкие шиферные камешки осыпались от каждого шага; далее приходилось выше колена вязнуть в рыхлом снеге, которым одета вершина хребта. Тяжело было и пешим взбираться на такую гору, но чего же стоило провести лошадей и мулов, навьюченных орудиями, зарядами и патронами! Бедные животные едва передвигали ноги, нередко они, как

и прежде, обрывались с узкой тропинки, летели стремглав с кручи и разбивались о камни, увлекая иногда и людей за собой.

Здесь, еще более чем прежде, каждый неверный шаг стоил жизни. Часто темные облака, проносясь по скатам горы, охватывали колонну густым туманом, обдавали холодной влагой до того, что люди были измочены, как пролившимся дождем. Погруженные в сырую мглу, они продолжали лезть ощупью, не видя ничего ни сверху, ни снизу; выбившись из сил, на время приостановятся, отдохнут – и снова начинают карабкаться. У всех почти солдат и офицеров избилась и обтрепалась здесь и последняя обувь. Сухарные мешки уже совсем опустели, так что нечем было и подкрепить истощенные силы. Но несмотря на крайнее утомление, полубосые, голодные войска русские все еще не теряли духа.

На всем этом переходе великий князь Константин Павлович шел пешком с авангардом князя Багратиона. Было уже далеко за полдень, когда голова авангарда добралась до вершины хребта. Спуск с него был не менее труден, чем подъем, – от шедших пред тем до-

ждей грунт сделался до того вязким и скользким, что во многих местах приходилось сползать по крутым скатам, где при малейшей неосторожности или неверно рассчитанном шаге ожидала неминуемая смерть в глубоких пропастях. Это поистине были картины из Дантова "Ада", и недаром сам Суворов в донесении своем назвал их "царством ужасов".

Одолев в течение двенадцати часов шестнадцать таких верст, на переход которых даже самые привычные охотники употребляют не менее восьми часов времени, Багратион к пяти часам вечера спустился с головой своего авангарда в Муттенскую долину, тотчас же атаковал французский пост пред деревнею Муттен, заставил сложить оружие и занял деревню. Несмотря на свою малочисленность, остальные части авангарда до того растянулись по узкой дороге, что собрались у Муттена только поздною ночью, и как ни были они утомлены, однако ж простояли всю ночь на позиции, в полной готовности к бою. В то время как голова авангарда уже давно достигла Муттена, хвост армии еще и не трогался из Альторфа. Все протяжении тропинки от того



до этого пункта представляло непрерывную нить людей и вьючных. В таком положении войска встретили ночь. «Счастливы были те, – говорит историк, – которые успели перебраться через вершину горы и расположиться на первой встретившейся площадке. Правда, и там ночлег не слишком был покойный; ночь холодная; ни одного деревца на дрова, но, по крайней мере, войска тут отдохнули. А каково было тем, которых ночь застигла еще на крутых скатах горы, на краях пропастей, где человеческая ступня не вполне уместилась!.. Много несчастных погибло на этом бедственном пути; одни изнемогали от холода и утомления, другие от голода; многие, прислонясь к выступу скалы на самом краю пропастей, при малейшем движении в забытьи или во сне обрывались и находили на дне их ужасную смерть. Страшный след армии обозначался множеством трупов людей, лошадей и мулов, разбросанных по всему протяжению пути. Зато переход русских чрез эти горы до сих пор еще живет в памяти местных жителей как предание полубаснословное. Показывая эту тропинку, едва заметную на ска-

лах и снежных пустынях, швейцарец говорит с благоговейным удивлением: „Здесь проходил Суворов“. На картах Швейцарии тропинка эта обозначается простою надписью: „Путь Суворова в 1799 году“»[405].

Движение в Муттенскую долину продолжалось два дня безостановочно, и это на протяжении всего шестнадцати верст! Русский арьергард беспрестанно и геройски отбивал настойчивые атаки неприятеля. По прибытии Суворова в Муттен окрестные жители доставили ему страшные вести. Теперь уже не осталось сомнений, что Корсаков совершенно разбит при Цюрихе и с огромной потерей отступил к Шафгаузену[406]; Готце разбит при Линце и сам пропал без вести; Елачич и Линкен тоже отступают; значительные силы неприятеля заняли Гларис, а сам Массена собирает армию свою к Швицу, чтобы запереть русским выход из Муттенской долины.

Дорого бы дал Суворов за верное доказательство, что слухи эти несправедливы, но – увы! – они не замедлили подтвердиться официальным донесением Линкена. В горестном безмолвии на несколько минут остановился



Суворов.

– Готце! – воскликнул он наконец с горечью. – Готце!.. Да они уж привыкли – их всегда били; но Корсаков, Корсаков!..

Прочтя это донесение, фельдмаршал убедился, что во всей Швейцарии нет уже *ни одной* части союзных войск, на содействие которой можно было бы рассчитывать, и что его собственный корпус, заброшенный в Муттенскую долину, окружен со всех сторон превосходным в числе неприятелем, который стережет решительно все выходы. Что делать? Где искать спасения? Добро бы еще собственные войска были обеспечены всем необходимым, но они находились в отчаянно страшном положении: изнуренные неимоверным походом, почти босые, без всякой теплой одежды и уже несколько дней в крайней нужде по части продовольствия. Взяв из Белинцоны[407] запас провианта только на одну неделю, Суворов рассчитывал, что этого количества ему хватит до Швица, а там уже надеялся открыть новые сообщения и в изобилии получить продовольствие от Готце и Корсакова. Теперь все эти расчеты рушились. Из тех же семи-

дневных запасов, которые везлись за его отрядом, много потеряно на пути, погибло в пропастях, потонуло в горных потоках, а сохранившиеся вьючные еще тянулись чрез снеговой хребет. В Муттенской долине у солдат не оставалось уже ни одного сухаря. Счастливыми считали себя те, которым удалось раздобыться несколькими картофелинами. Офицеры и генералы с радостью платили червонцами за каждый кусок хлеба или сыру. И однако же, несмотря на столь бедственное положение, русские войска не тронули ничего у жителей деревушки Муттен. Великий князь Константин Павлович приказал на собственные деньги скупить все, что было у них съестного, и раздать солдатам. Эта щедрость великого князя облегчила хоть на один день ужасное положение войска, а жители, приученные республиканцами к насильственным поборам, были крайне удивлены великодушием князя.

Здесь у Суворова впервые сжалось сердце. Гибель его армии казалась неизбежной; очевидная опасность глядела отовсюду. Восемнадцать тысяч русских солдат должны были

пропасть ни за грош – и эта мысль убивала фельдмаршала. Он только и был занят ею, не думая уже ни о самом себе, ни даже о принципах австрийской политики, которые тут-то и выказали себя во всей наготе. И вот в таком-то отчаянном положении, дорожа каждым часом, собирает он в тот же день, 18 сентября, военный совет, на который приглашает всех генералов и некоторых штаб-офицеров, за исключением австрийца Ауфенберга.

Первым явился на заседание князь Багратион и застал Суворова в полном фельдмаршальском мундире, со всеми орденами. Старик, не замечая вошедшего Багратиона, продолжал ходить по комнате быстрыми шагами и отрывисто бормотал сам с собой:

– Парады... разводы... Большое к себе уважение... Обернется – шляпы долой!.. Помилуй господи!.. Да, и это нужно, да вовремя... А нужней-то... это: знать, как вести войну; знать местность; уметь расчесть; уметь не дать себя в обман; уметь бить!.. А битому быть – немудрено!.. Погубить столько тысяч!.. И каких!.. И в один день... Помилуй господи!

Багратион из приличия тихонько удалил-

ся, оставя старика в том же глубоком раздумье.

Несколько времени спустя начали собираться приглашенные на совет, в том числе и Черепов. Пришел и великий князь. Все вместе вошли они к фельдмаршалу.

Суворов остановился, сделал поклон, зажмурил глаза, как бы собираясь с мыслями, потом, после минутного молчания, окинул всех своим быстрым огненным взглядом и начал говорить торжественно, с одушевлением.

– Корсаков разбит и прогнан за Рейн! – говорил он. – Готце пропал без вести, и корпус его рассеян! Елачич и Линкен ушли! Весь план наш расстроен!

Тут в сжатых, но резких выражениях исчислил Суворов все происки и козни против него, все гнусные интриги венского кабинета, в доказательство коварной политики Тугута приводил старания его удалить русских из Италии и преждевременное выступление эрцгерцога Карла из Швейцарии, имевшее неизбежным последствием поражение Римского-Корсакова. Наконец, и бедственное положение своей армии фельдмаршал припи-

сывал вине все тех же австрийцев. "Если бы не потеряны были пять дней в Таверне, – говорил он, – то случившиеся несчастья были бы предупреждены и Массене не удалось бы одержать побед, подготовленных для него коварной политикой нашего союзника". Чем далее говорил Суворов, тем больше приходил он в воодушевление, тем сильнее выражалось взволнованное состояние души его. Поступки австрийского кабинета называл он прямо вероломством и предательством. Далее, сравнивая положение свое в Муттенской долине с положением Петра I на Пруте[408], он находил одно и другое следствием измены союзников, с той разницей, что «Петру Великому изменил мелкий человек, ничтожный владетель... Грек!.. А государю императору Павлу Петровичу... изменил... Кто же?! Верный союзник России!.. Это не измена... Это явное предательство, чистое... без глупости... разумное, рассчитанное!..».

Излив таким образом негодование свое на Австрию, фельдмаршал перешел к очерку настоящего положения своей армии.

– Теперь мы среди гор, – говорил он, – окру-

жены неприятелем, превосходным в силах. Что предпринять нам? Идти назад – постыдно!.. Никогда еще не отступал я!.. Идти вперед к Швицу – невозможно: у Массены свыше шестидесяти тысяч; у нас же нет и двадцати. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать не от кого... Мы на краю гибели!

Произнося эти тяжкие слова, Суворов едва мог сдерживать порыв своего негодования, горести и волнения. Он был убит, растерзан, скорбь его отзывалась во всех присутствовавших. У каждого сжималось сердце.

– Теперь, – прибавил Суворов, – одна надежда на всемогущего Бога, другая – на высочайшее самоотвержение войск... Мы русские!.. С нами Бог!..

Словно искра электрическая пробежала при этих словах во всех слушавших. Заметив это действие, старик оживился.

– Спасите честь России и государя! Спасите сына нашего императора! – восторженно воскликнул он и с этими словами упал в слезах к ногам великого князя.

Никто не ожидал этой сцены; все были по-

ражены. Константин Павлович, рыдая сам, бросился поднимать старика, обнимал его, целовал... Все окружавшие чувствовали неизъяснимое волнение. Семидесятилетний полководец, испытанный в тысяче опасностей, непреклонный до упрямства, всегда изумлявший своей железной силой воли, теперь плакал от горя... До сей минуты никто еще никогда и нигде не видал Суворова плачущим.

Когда все несколько успокоились, генерал Дерфельден заговорил первый от лица всех русских начальников. Он ручался фельдмаршалу за неизменную храбрость и полное самоотвержение войска, готового идти безропотно, куда бы ни повел его великий полководец.

Выслушав Дерфельдена, Суворов вдруг поднял поникшую голову, открыл зажмуренные глаза и заговорил с оживлением:

– Надеюсь!.. Рад!.. Помилуй бог!.. Спасибо!.. Мы – русские! С помощью Божией мы всё одолеем! Разобьем врага!.. И победа над ним!.. Победа над коварством!.. Будет победа!

Эти слова, произнесенные как бы с проро-

ческой уверенностью, возвратили всем твердую бодрость духа. Началось совещание. Вопрос был в том, куда пробиваться: к Швицу или к Гларису[409]? Основательные соображения, высказанные великим князем, заставили согласиться Суворова и всех присутствующих на движение к сему последнему пункту. Решено было выступить завтра же (19-го), а генералу Ауфенбергу с его австрийским отрядом двинуться немедленно и сбить неприятеля с горы Брагель. Корпус Розенберга должен был оставаться в Муттенской долине и до тех пор прикрывать ее со стороны Швица, пока все вьючные не переберутся за Брагель.

По окончании военного совета все присутствовавшие начальники разошлись к своим войскам и объявили им о предстоящем бое с неприятелем.

– Только, чур, ребята, береги патрон! – предостерегали они людей. – Патронов у нас почти уже ничего не осталось.

– И не надо! На что их? – возражали солдаты. – Мы, ваши превосходительства, и без патронов-то еще вольготнее; по крайности, решать скорее станем, на штыках дойдем его!..



Это уж без сумления!

Несчастные события с Корсаковым и Готце были уже известны в русском лагере. Солдаты знали, в какой опасности находятся все они в эту минуту, и по-своему толковали об измене союзников, о бароне Тугуте, бранили австрияка и осыпали ауфенберговский отряд своими насмешками.

Но Суворов сумел скрыть пред ними отчаянно тревожное состояние своей души и поддерживал в людях бодрость. Усевшись на барабан около солдатского костра, велел он подать себе шкатулку, в которой всегда возил с собой все свои ордена и другие знаки монарших милостей, и медленно стал раскладывать перед собой все эти украшения, любовался ими и приговаривал: "Вот это за Очаков!.. Это за Прагу!" – и так далее. Обступившие его солдаты глядели на ордена, глядели и на своего седовласого "отца" и тихо переговаривались между собой:

– А что, братцы, старик-то не унывает?!

– Чего ему ныть-то!.. Не таковский!.. Ишь ты, разложил их, кавалериев-то этих, звона сколько!.. Смотри!.. "За Прагу", говорит...

– Есть там всякого, и за Прагу, и за прочее!.. Ничего, батюшка Александра Василич, и за Альпы получишь... Еще краше... Никто, как Бог!.. "Бог не выдаст, свинья не съест!.."

– Верно, детки!.. Помилуй бог, верно! – добродушно улыбался в ответ им Суворов.

Согласно диспозиции, выработанной на совете, Багратион рано утром 19-го числа выступил с авангардом из Муттена и, перейдя снежный Брагель, спустился в три часа дня в Клентальскую долину, где нашел отряд Ауфенберга уже готовым сдаться противнику. Войска Багратиона пришли в негодование от одного известия об этом. Пока он устраивал их к бою под огнем французских пуль и картечи, некоторые из австрийских офицеров генерального штаба сочли нужным предупредить великого князя Константина, что союзные войска поставлены здесь в самое опасное положение, и уговаривали его отъехать куда-нибудь назад, подальше. Великий князь с негодованием отвечал им, что именно в подобных-то обстоятельствах его присутствие и может быть в особенности полезно. Вместе с этими словами дал он шпоры и выехал пред

боевой линией.

– Мы со всех сторон окружены, ребята! – громко обратился он к людям. – Но вспомните, что завтра день рождения нашего государя и моего родителя! Мы должны прославить этот день победой или умереть со славой!

Восторженные клики раздались в рядах, и вслед за ними гренадеры с барабанным боем, без выстрела и прямо с фронта ринулись в штыки на французов.

Три раза атакуемый Багратионом, неприятель отступал все далее и далее, потеряв уже более четырехсот человек убитыми и пленными; но, получив подкрепление из Глариса, занял у Клентальского озера такую сильную позицию, что всякий подступ к ней стоил и нам больших потерь. В этой самой позиции, за несколько месяцев пред тем, ничтожная горсть швейцарской милиции остановила целую французскую колонну. После нескольких безуспешных подступов наступившая темнота и крайнее утомление войск заставили Багратиона отложить атаку до следующего утра.

Одна только ружейная перестрелка в передовых цепях продолжалась еще некоторое

время.

Стояла уже глубокая ночь, когда русская армия подтянулась к своему авангарду у Клентальского озера. В этот день было пройдено ею более двадцати верст; но Бетцберг после Росштока не казался уже нашим солдатам особенно страшным, хотя и на этом переходе погибло еще много вьючных. На ночь войска оставлены были в виду неприятельской позиции, и приказано им стоять как можно тише, не разводя огней, а ночь меж тем была холодная: проливной дождь перемежался хлопьями снега, и мгlistый туман до того сгустился, что в двух шагах едва уже было видно товарища. Солдаты, дрожа от холода и сырости, промокшие насквозь, голодные, почти босые, не ложились спать.

Вдруг в темноте обнаружилось какое-то движение на бивуаке.

– Где князь Петр? Где Петр? – спрашивал кто-то.

Это был сам Суворов, в своей "родительской" епанечке, плохо одетый, обмоклый, прозябший... Багратион, завернутый в бурку, поднялся с мокрой земли и встретил фельд-

маршала.

– Князь Петр, я хочу, непременно хочу ночевать в Гларисе... Мне и вот им, – говорил старик, указывая на солдат, – пора отдохнуть... Нам холодно и голодно, Петр... Подумай!.. Непременно хочу ночевать в Гларисе!

– Мы скоро будем там, – отвечал Багратион. – Головой ручаюсь вам, ваша светлость, вы будете ночевать в Гларисе! – уверенным и звонким голосом прибавил он, как бы утешая старика, измученного за этот день и физически, и нравственно.

– Так будем?... Ну, спасибо, князь Петр! Спасибо, голубчик!.. Хорошо!.. Помилуй бог, хорошо! – повторил Суворов, провожаемый Багратионом до какого-то овечьего хлева, предоставленного на сей раз фельдмаршалу, где он и провел остаток этой ночи вместе с великим князем Константином.

Наутро, 20-го числа, бой возобновился еще впотьмах, вскоре после полуночи. Французы, встревоженные перестрелкой двух столкнувшихся патрулей, разом открыли огонь по всей своей линии. Русские войска, мгновенно встрепенувшись, как будто по установленно-

му сигналу, разом кинулись вперед "на ура!" и ударили на республиканцев с фронта и правого фланга. Не видя впотьмах местности ни под ногами, ни пред собой, они прямо с яростью стремились на одну цель, которая обозначалась для них вспышками неприятельских выстрелов. Встречая республиканские войска, расположенные по косогору, наши бросались на них в штыки и свергали их с кручи. В жару боя многие и сами, срываясь с утесов, стремглав летели в пропасть. Узкая дорога между подошвами круч и берегом озера была усеяна истерзанными, обезображенными трупами русских и французов, которые часто лежали рядом или один на другом, вцепившись друг в друга. Немногим удалось спастись, хватаясь за камни или деревья. Французы живо были выбиты из своей неприступной позиции. Их опрокинули и гнали до Нет-сталя, отсюда до Нефельса, потом до Молиса [410], где наконец прекратилось преследование. Багратион сдержал свое слово: Суворов действительно ночевал в Гларисе, занятом после шестнадцатичасового непрерывного боя, трофеями коего нам достались 2 неприят-

тельских знамени, 3 пушки и до 600 пленных.

В арьергарде, оставленном у Муттена, все это время тоже дрались и оттеснили противника до самого Швица, заставив его потерять 3 тысячи убитыми! И здесь точно так же бой доставил нам обременительные трофеи: 5 пушек и 1200 пленных с одним генералом (Лакуром). Необременителен был только эполет самого Массены, из литого золота, сорванный с его плеча унтер-офицером Махотиным.

23 сентября арьергард наш присоединился наконец к главным силам, и таким образом у Глариса собралось все, что оставалось еще от армии Суворова. Но в каком ужасном положении были эти остатки – оборванные, босые, без артиллерии, без патрона в суме!.. И что было делать с людьми, изнуренными беспримерным походом, постоянным голодом, ежедневным боем!.. Вьючные большею частью погибли, раненых не на чем было везти. А тут еще лопнула и последняя надежда Суворова на соединение с Линкеном: оказалось, что австрийский генерал без всякой необходимости давно уже отступил совсем за горы, в Граубинден[411], и даже Ауфенберг покинул

русские войска, уйдя 21 сентября по следам Линкена к Иланцу. В подобном положении нечего уж было думать о победах: впору было спасать только остатки армии и честь русско-го оружия.

Последовал вторичный военный совет. Путь долиной Линты[412], хотя и кратчай-ший для соединения с Корсаковым, нашли неудобным, потому что к этой же Линте дол-жен был выйти Массена со всеми своими си-лами. Другой же путь, на Иланц и Кур к Фельдкирху, хотя и кружной, был удобен в том отношении, что в Куре, занятом союзни-ками, войска могли заготовить провиантом. Таково было мнение великого князя, и Суво-ров с ним согласился. Войскам предписано выступить из Глариса в ту же ночь и следо-вать к Эльму. Авангард поручен Милорадови-чу, арьергард – Багратиону. Но до чего умень-шилась численная сила войск, можно было судить по отряду того же Багратиона, кото-рый состоял без всякой перемены из тех са-мых частей, что и при вступлении в Швейца-рию. Тогда в нем было 3 тысячи человек, те-перь же едва и до 1800 добиралось!.. Но вой-



ска за двое суток стоянки у Глариса, которая сама по себе была отвратительна, все-таки хоть обогрелись у костров, заштопали заплаты, зачинили кое-как обувь себе и офицерам. Нетрудно вообразить, каково было у них состояние последней, если даже генералы ходили в ботфортах без подошв и передов, заменяя те и другие лапами, обрезанными у своих же сюртуков.

Задолго еще до утра на 24 сентября армия Суворова тихо снялась с позиции перед Гларисом. Узнав об этом уже на рассвете, неприятель поспешил отрезать ей путь, но был отброшен штыками, и потому именно штыками, что нам больше нечем было драться. Стойкость и мужественное сопротивление арьергарда, который дрался на каждом шагу, поминутно кидаясь врукопашную и переходя в наступление, сделали то, что главные силы и остаток вьючных благополучно миновали теснину и, пройдя более двадцати верст, спокойно достигли Эльма.

Голодные люди арьергарда братски делились между собой ничтожными крохами хлеба, который находили в ранцах убитых фран-

цузов.

Черепов, посланный с поручением к Багратиону, исполнив, что было приказано, шагом возвращался по полю сражения и проезжал случайно мимо трех каких-то спешенных казаков, которые намеревались делиться булкой, только что добытой из французского ранца. Черепов был голоден и не без алчного выражения в глазах кинул взгляд на вкусную булку.

– Ваше скародие! – скороговоркой крикнул ему бойкий казачок из этой группы. – Чай, покушать желаете?... Не угодно ли?

И он протянул ему булку.

– Да вы сами голодны, братцы! – колеблясь, отказался было Черепов.

– Ничего, ваше скародие, мы еще раздобудемся, здесь в алиргарде этого добра – благодаря Господу – есть пока!

Взяв булку, Черепов захватил из кармана горсть червонцев и подал их своему нежданному благодетелю.

– Извините, ваше скародие, этого нам не надоть!.. Мы не для того! – смущенно заговорили казаки. – А вот ежели б милость ваша...

Кабы нам патрончиков... Коли есть у вас, то пожалуйста, – мы бы сейчас, этто, охоту на булки устроили.

В кобурах у Черепова было несколько запасных патронов, и он с удовольствием поделился ими с казаками.

– Как же это вы будете охотиться? – спросил он, убирая за обе щеки кусок французского хлеба.

– А вот сейчас. Только винтовочки набьем, сейчас и готово! – отвечал бойкий казачок, посылая заряд в дуло. – Которого примерно? – спросил он у товарищей, мотнув головой на цепь неприятельских стрелков, наступавших впереди, шагах в полутораста.

– Офицера не бей! У офицера ничего нет, – посоветовал смышленный товарищ. – А вот вишь, там, в этой кучке, унтер ихний идет – его и вали: у унтера, надо быть, есть наверно!.. Пожалуй, и сырку, а то и ветчинки раздобудемся.

Казак прилег, положил дуло на камень, прицелился – и в тот же миг намеченный капрал[413] завертелся на месте и упал ничком на землю.



– Готово! – воскликнул радостно ловкий стрелок. – Теперь только, чур, ребята, сторожи: как "на уру" на них побегим, так чтоб другие его не подобрал! Ну а теперича следующий!

И он опять стал заряжать винтовку.

Черепов дал шпоры и поспешил отъехать от продолжения этой охоты, обвинять за которую голодных, ожесточенных людей он в душе не чувствовал возможности.

На пути своего следования ему попало еще несколько подобных же кучек солдат, которые усердно шарили в ранцах убитых французов, тут же делясь найденным хлебом, и даже добродушно приносили начальникам часть своей добычи.

Однако и в Эльме не нашли себе русские войска желаемого отдыха: всю ночь оставались они под ружьем, наготове к бою, в состоянии ружейного выстрела от противника и при этой холодной ненастной темноте нигде не могли добыть дров, чтобы развести костры; а снег так и валил большими хлопьями... Этот "приятный" ночлег покинут был 25 сентября еще до света, и в пяти верстах за

Эльмом русские увидели перед собой страшный снеговой хребет Ринген-Копф (Паникс) [414], знакомый пока только авангарду Мило-радовича, который вовсе не ночевал в Эльме.

Путь, предстоящий теперь, был еще труднее, неизмеримо труднее, чем все прежние переходы.

Даже Росшток казался игрушкой в сравнении с Ринген-Копфом, крутой и продолжительный подъем которого как бы вдруг вырос перед глазами армии с первыми лучами рас-света. Подъемная тропинка, трудная сама по себе, сделалась совсем непроходимой от продолжительного ненастья. Люди вязли в грязи, едва вытаскивали ноги – и опять те же обрыва-нья и полеты стремглав в преисподние!.. Опять гибель последних вьючных! Здесь была потеряна в безднах вся остальная наша горная артиллерия, которую просто пришлось нарочно побросать в пропасти для облегчения животных, необходимых под перевозку раненых. Чем выше поднимались русские, тем круче и труднее становился подъем, а выпавший за ночь глубокий снег совсем занес дорогу. Густые тучи затянули всю поверх-

ность горы, так что люди карабкались наобум, ничего не видя пред собой. Проводники опять разбежались, пришлось самим под вьюгой искать себе дорогу, погружаясь в сугробы. С высоты гор слышались глухие раскаты грома, и по временам густой, непроницаемый туман рассекался блеском молний, и опять огромные камни, срываемые бурей, с грохотом катились в бездны. Русские вступили в область грозы, которая трещала вокруг, а через несколько времени молниеносные удары грома раздавались уже значительно ниже: грозовой пояс был пройден. И на этом-то ужасном переходе все без различия – солдаты, офицеры, генералы – были босы, изнурены и голодны. Промоченные до костей страшным ливнем, они вдруг были застигнуты снегом, метелью – и мокрая одежда покрылась на них ледяной корой.

Здесь в первый раз между солдатами раздался ропот.

– Ну, братцы, старик наш совсем, видно, из ума вышел! Завел невесть куда! – громко говорили солдаты, нимало не стесняясь присутствием самого Суворова, который ехал рядом.

– Помилуй бог! Они хвалят меня! – громко и с веселым смехом обратился он к окружающим. – Так точно хвалили меня они же и в Туретчине, и в Польше!

При этих словах люди невольно вспоминали, что "отец" всегда умел выводить их с честью и славой из самых безвыходных обстоятельств, и им стало стыдно за свое минутное малодушие. Бодрость была возбуждена снова.

В это время на одной из попутных скал увидели они надпись.

– Савелов! Ты дока на грамоту: разбери-ка, что оно тут обозначает? – обратился один из солдат к товарищу.

– А ляд его знает! Не по-законному писано, не по-русски! – отозвался вопрошаемый.

– Эта надпись гласит, что "здесь прошел пустынный", – пояснил им Черепов, случившийся рядом.

– Пустынный!.. Ишь ты, диковина какая, пустынный! Что ж тут такого?! – тотчас же весело стали переговариваться солдаты. – Насто, поглядишь, эвона сколько пустынных идет, и ничего себе, шагаем!.. А у них сейчас, этто, надпись!.. Чудесно!.. Ей-богу!..



И такие-то суждения произносили люди, отродясь не видавшие гор, привыкшие с колыбели к простору родимых равнин, к раздолью степей необозримых! А подъем все выше да выше, все круче и тяжелее – и опять признаки уныния начинают замечаться на изнуренных лицах.

Вдруг, в эту самую минуту, ни с того ни с сего Суворов во всю мочь затягивает песню:

*Что девушке сделалось?  
Ай, что красной случилось?*

И далече передается вдруг разлившийся вокруг него гомерический хохот, и до крайности истомленные войска с новой бодростью карабкаются на новую кручу!

Целый день безостановочно тянулась колонна, одолевая кручу Ринген-Копфа, и только авангард Милорадовича успел засветло спуститься к деревеньке Паникс. Все остальные войска едва в сумерки достигли ледяной вершины хребта и тут были застигнуты темнотой. Вся колонна так и остановилась в том самом положении, в каком захватила ее ночь. Не имея никакой возможности идти далее и

совершенно выбившись из сил, солдаты сами приютились где попало: на голом снегу, на камнях, на ледяных глыбах или прислонившись к скале – и так провели целую ночь в ожидании рассвета. И тут еще, к довершению бедствия, поднялась вдруг такая стужа, что многие солдаты замерзли во сне, на вершине Паникса, и обледенелая дорога сделалась чрезвычайно скользкою. Темно-синее небо сквозь ясный горный воздух морозно играло бесчисленным множеством ярких звезд; студеный ветер гудел среди ледника, и вместе с его воем раздавались иные ужасные звуки: то был горячечный, полупомешанный бред, рыдания, вой и скрежет, вопли и стоны умирающих пленных французов... Русские, как более привычные к суровому климату, переносили эти ужасы легче, и если умирали, то делали это тихо.

Здесь воистину была настоящая адская ночь ужасов. На заре розоватый луч восходящего солнца заиграл переливами радужных цветов на окрестных ледяных вершинах и золотисто обагрил густые тучи, клубившиеся далеко внизу, под ногами.

"Ку-ку-ри-ку-у-у!" – раздался вдруг громкий петуший крик в одном из концов русского стана.

– Ну-у!.. Загорланил старый петух! – быстро загомонили промеж себя солдаты. – Вставай, ребятки, вставай, шевелися!.. В поход пора!

"Квох-ох, кво-кво-кво-квох!" – в ответ на петуший крик весело послышалось с разных сторон куриное кудахтанье – и солдаты живо, со смехом, подымались со своего ледяного ложа, отбивая на месте трепака с холоду и отряхивая с себя налет морозной пыли.

– Ну, ну! Вставайте, вставайте, курицыны дети!.. Живо! Ишь, батька-то как петухом орет!.. Благим матом! Стало быть, время!

И люди, оправясь да поразмяв члены, набожно и спешно крестились на восток, откуда большим диском подымалось багряное солнце, и еще поспешнее становились в ружье и выстраивались. Унтер-офицеры наскоро делали расчет по рядам, примечая, кто жив, а кто остался почивать вечным сном в ледниках Ринген-Копфа. Но вот барабан загрохотал "подъем", где-то впереди раздалась команда – и головная часть колонны двинулась с горы

по обледенелому спуску. Этот спуск вполне стоил подъема, если даже не был еще хуже. На каждом шагу теряя последних лошадей и мулов, армия около полудня спустилась кое-как по гололедице и с величайшей опасностью к деревне Паникс, где был дан ей небольшой привал, и затем, уже по более отлогой местности, полки направились к городу Иланцу.

Крупной рысью обскакивая их на этом переходе, Суворов весело кричал солдатам: "Здравствуйте, чудо-богатыри, витязи русские!.. Чада Павловы, здравствуйте!"

И ответный крик ратников от души, от сердца, с любовью вырывался у всякого:

– Здравия желаем, отец, батюшка Александр Васильевич!

И долго громкое "ура!" бесконечными перекатами от батальона к батальону, от полка к полку провожало старика по дороге и не смолкало даже и тогда, когда его капуцинская шляпа и развевавшийся "родительский" плащ совсем уже терялись впереди из виду...

И сам Суворов, и каждый ратник равно чувствовали и сознавали, что в эту минуту

было спасено более чем жизнь: спасена была честь оружия русского.

## XXVII. Царственный сват

**27** сентября совершенно уже босая армия пришла в город Кур, где кончились ее невзгоды и опасности. Высокий снеговой хребет стоял между нею и неприятелем, фланги прикрывались австрийскими отрядами, а в самом Куре найдены были изобильные запасы продовольствия, дров и боевого снаряжения. Здесь был истинно светлый праздник: на улицах все генералы, офицеры и солдаты братски обнимались и целовались, поздравляя друг друга с жизнью и спасением. Мгновенно оживился весь русский стан. В котлах варилась похлебка с говядиной, солдаты резали свежий хлеб, курили трубочки-носогрейки, давно уже не дымившие табачком, фельдфебели распорядились около бочонков с водкой и делили ее по «братским крышкам»... Утомление и горе были забыты. Люди принялись чинить обувь, справлять амуницию и уже шутили над только что минувшими страданиями. К вечеру по всему бивуаку гудели

бубны, звенели медные тарелки, и ротные песенники в кругах распевали веселые песни.

Суворов приказал позвать к себе Черепова. Когда последний вошел к фельдмаршалу, он застал там двух-трех высших генералов и начальника походной канцелярии, Е. Б. Фукса, который сидел за письменным столом и приготавливался что-то писать.

– Ну, пиши же реляцию, – говорил ему Суворов, – всё пиши, достойное примечания... всё!

– Для сего кисть моя не имеет красок, – пожал тот плечами. – Да и на что тут реляция! Для потомства довольно и сего: *«Русские перешли Альпы – и Россия имеет Аннибала!»*

– Го-го!.. Помилуй бог! – захолопал в ладоши Суворов и принялся скакать по комнате. – А! Вот и он! – вскричал вдруг старик, увидав Черепова. – Очень рад, что пришел!.. Хорошо!.. Отлично!.. В сей час получишь поручение!

– Что прикажете, ваша светлость? – почтительно спросил Черепов.

– А вот-вот, сейчас... Пиши же, Егор, пиши, голубчик, скорее!.. Время не ждет!

Но литературное перо Фукса уже и без того

быстро бегало по листу бумаги.

– Вот тебе ордер к кригсцальмейстеру[415], – продолжал Суворов, подавая Черепову клочок бумаги, на котором тут же написал за своей подписью несколько слов. – Беги ты с ним к казначею, получай прогоны, изготвься и через час будь здесь. Егор, реляция будет готова?

– Поспеет, – утвердительно кивнул Фукс, не подымая глаз от своей бумаги.

– О, помилуй бог!.. У тебя живо!.. Все живо! Ну, хорошо!.. Итак, голубчик, – опять повернулся старик к Черепову, – лети, мчись... птицей в Петербург... к государю... с реляцией... А будет спрашивать, расскажи ему сам все, что видел... что перенесла армия... все... все, без утайки!.. Ступай же за прогонами!

Черепов поклонился и вышел.

Через час у крыльца главной квартиры стояла уже немецкая почтовая бричка[416], и краснощекий швейцарский почтальон с бичом в руке и медным рожком за спиной молодцевато красовался на козлах. Черепов в четверть часа успел купить себе новые сапоги и дорожный, подбитый ватой плащ да ко-

жаную подушку; набил кисет табаком, уложил в кожаную сакву[417] две перемены белья, бутылку рому, две-три булки с куском копченой ветчины и, совершенно готовый в путь, явился в назначенный срок к фельдмаршалу.

– Ну вот, и ты готов, и реляция готова! – весело воскликнул Суворов. – Поезжай же с Богом!.. Вот тебе сумка курьерская, вот открытый лист... Вот пакет... Государю!.. В собственные руки!.. Ну всё, кажись?...

– Всё, ваша светлость, – подтвердил начальник канцелярии.

– Ах да!.. Поди-ка сюда на минутку! – как бы домекнувшись о чем-то, кивнул Суворов Черепову и повел его за собой в другую комнату, где они очутились наедине.

– Есть ли у тебя деньги? – тихо спросил старик, затворив за собой дверь.

– Как же, ваша светлость! Прогоны мне в тот час же выданы.

– Прогоны!.. Помилуй бог!.. Я не о том... Прогоны! Помимо прогонов есть ли?

– Найдется еще малая толика.

– Да вдосталь ли?



– Хватит, ваша светлость! – беззаботно махнул рукой Черепов.

– То-то!.. Хватит!.. Ты не церемонься: коли нужно, возьми у меня... Я никому не скажу... Потом сочтемся.

– Ей-ей, хватит, ваша светлость!.. Недосуг только расстегиваться, а то я показал бы.

– Ну, коли так, то не теряй времени!.. Помилуй и сохрани тебя Боже!.. Поезжай, поезжай, голубчик!.. Господь с тобой!

И, трижды перекрестив Черепова, старик поцеловал его и выпроводил за дверь, положив на плечо ему руку.

Черепов, благословясь, вскочил в бричку, почтарь хлопнул бичом – и быстрая пара бойкой рысью тронулась по улице, кипевшей горожанами и нашим солдатством.

Не отъехали и трех верст от города, как Черепов, истомленный несколькими бессонными ночами, закутавшись в плащ да прикорнув плечом и головою к своей кожаной подушке, спал мертвым сном под однообразный стук колес подпрыгивающей брички.

После выхода Суворова из Альп вся Швейцария



царя снова очутилась в полной власти французов. Дела нерешительных австрийцев на Рейне и в Италии были ничтожны. И вот те самые люди, которые всячески старались исторгнуть победу из рук Суворова, стали теперь уговаривать его начинать снова вместе с ними военные действия. Эрцгерцог Карл предложил было ему сначала охранять Грау-

бинден, пока не получатся новые повеления от венского гофкригсрата. Суворов пришел в негодование. «Воинов, увенчанных победами и завоеваниями, дерзают назначать сторожами австрийских границ!» – писал он Ростопчину и немедленно решил перейти в Фельдкирх, назначив Корсакову пункт соединения с собою в Линдау. Здесь произведен был обмен пленных между русскими и французами, после чего соединившиеся остатки двух русских армий расположились между реками Иллером и Лехом.

Меж тем эрцгерцог Карл, все еще не теряя надежды снова привлечь Суворова к военным действиям, предложил ему личное свидание. Суворов отказался, сказав, что эрцгерцог может сообщить ему на письме, что почетным нужным. Тот опять прислал доверенное лицо, графа Колоредо, с требованием свидания. Недовольный повелительным тоном письма, старик сухо отвечал посланцу:

– Эрцгерцог Карл, если он не при дворе, а в лагере, – такой же генерал, как и Суворов, кроме того, что Суворов гораздо старше его своей опытностью. И притом передайте его

высочеству, что я не знаю обороны: умею только атаковать и двинусь вперед, когда сам признаю удобным, и тогда уж не остановлюсь в Швейцарии, а пойду прямо во Франш-Конте. Скажите, что в Вене во дворце я буду у ног его высочества, а здесь, на войне, я, по меньшей мере, равен с ним и ни от кого не приму уроков.

"Чего хочет от меня эрцгерцог? – писал он тогда же П. А. Толстому. – Он думает обволшебить меня своим демосфенством... А у меня на бештимтзаген[418] ответ готов. Он дозволил исторгнуть у себя победу. Мне 70 лет, а я еще не испытал такого стыда. Да возблистает слава его! Пусть идет и освободит Швейцарию – тогда я готов".

Эрцгерцог оскорбился и в длинном письме принялся доказывать, что никак не он, а Корсаков и сам же Суворов виноваты в потерях. "Все тактики согласны с этим", – прибавил он в заключение.

И не пощадил же его старик за эту выходку в своем прямом ответе.

"Царства защищаются, – писал он, – завоеваниями бескорыстными, любовью народов, правотою поступков, а не потерей Нидерландов и гибелью двух армий в Италии. Это говорит Вам солдат, который прослужил шестьдесят лет, водил к победам войска Иосифа II и победою утвердил за Австрией Галицию, – солдат, не знающий ни демосфеновской болтовни, ни академиков бессмысленных, ни совета карфагенского[419]. Я не ведаю ребяческих соперничеств, демонстраций, контрмаршей. Мои правила: *глазомер, быстрота, натиск*".

Но так как эрцгерцог настаивал и требовал от русских помощи, то Суворов созвал в Линдау новый военный совет из своих сподвижников, и этот совет решил единогласно, что, *"кроме предательства, ни на какую помощь от цесарцев нет надежды, чего ради наступательную операцию не производить"*.

Император Павел был немедленно же извещен фельдмаршалом об этом решении.

Взмыленная тройка подкатила к одному из дворцовых подъездов.

– Курьер! Курьер из армии! – тотчас же

разнеслось по всем коридорам, этажам и апартаментам – и курьер немедленно же был введен в кабинет государя.

– Злые или добрые вести? – быстро спросил император.

– Вести геройские, – почтительно и твердо ответил посланец, подавая запечатанный пакет.

Государь нетерпеливо сломал печать и жадно погрузился в чтение реляции.

– Слава богу!.. Честь оружия спасена и армия тоже! – воскликнул он, осеняя себя крестным знамением, и снова перечитал реляцию.

– Ты находился все время там? При фельд-маршале? – спросил он.

– Все время, ваше величество, и был очевидным свидетелем невероятных трудов и подвигов армии.

Государь с несколько большим вниманием окинул взглядом всю фигуру курьера.

– Господин полковник Черепов! – воскликнул он с улыбкой. – Ну что ж, удалось ли вам в бою схватить за тупей фортуна?

– Моя фортуна в руках вашего величества, – ответил, склонив голову, Черепов.

– Недурно сказано! – усмехнулся император. – Итак, ты видел всё?... Сам был свидетелем? Расскажи!.. А впрочем, нет! – перебил он самого себя. – Пойдем сперва к императрице, порадуем ее доброй вестью, и там заодно ты расскажешь.

И он повел Черепова на половину государыни.

– А что ваше сердце, господин полковник? – нежданно спросил вдруг император. – Все так же ли продолжает хранить чувствительность к известной особе?

– Да, государь, и поднесь [420] люблю ее! – открыто сказал Черепов.

– И что ж, намерены делать предложение?

– Желал бы с охотой всего сердца, но...

– Все еще не осмеливаетесь?

– Да, ваше величество!

– Где чересчур уж смел, а тут робок нехстати, – заметил с улыбкой император. – Ну хочешь, я буду твоим сватом? Для меня, надеюсь, отказа не будет.

И с этими словами они вошли в кабинет императрицы.

Государыня у окна занималась акварель-

ного живописью. Княгиня Ливен, бывшая в тот день дежурной статс-дамой, сидя за креслом ее величества, держала на коленях какую-то вязальную работу, а дежурная фрейлина читала вслух государыне вновь вышедшую повесть Карамзина. При входе императора обе последние дамы почтительно поднялись с места. В эту минуту, быстрым взглядом окинув всю женскую группу, Черепов чуть не вскрикнул от восторга: в дежурной фрейлине узнал он графиню Елизавету, которая, тоже подняв глаза на вошедших, вдруг вся вспыхнула от неожиданной радости.

– Я знал, зачем вел вас сюда! – как бы вскользь заметил ему государь с самой милой улыбкой и прямо направился к императрице. – Добрые вести!.. Славные вести!.. Старик наш неразлучен с геройством! – сказал император и сам стал громко читать реляцию Суворова.

Вслед за тем он заставил Черепова рассказать о всех виденных им подробностях альпийских битв и переходов. Безыскусственный, но правдивый и оживленный рассказ в устах очевидца был увлекательно-ярок и вме-



сте с тем прост и невольно хватал за душу. Государь сжимал губы и нервно мял в пальцах сложенную бумагу, когда передавались ему все мрачные подробности предательских козней наших добрых союзников; императрица невольно стерла слезу, слушая о том, что перенесено было русской армией на ледяных вершинах и в глубине темных пропастей этого "царства ужасов"; но лица царственной четы засветились удовольствием и радостью, когда рассказ дошел до спасения армии, до эпизодов ее перехода в Кур, до выражения того чуждого, геройского духа, которым оживлено было все войско в самые ужасные дни. Переданы были также и многие подробности о великом князе Константине, о его самоотвержении в Клентальской битве, о его боевых трудах, лишениях и живом участии к солдатам, с которыми делился он всем, чем только мог и что имел при себе. Этот последний рассказ вполне возвратил государю его светлое, довольное настроение духа.

– Благодарю!.. Спасибо! – сказал он приветливо Черепову и вслед за тем вдруг обратился к графине Елизавете. – Не правда ли, что не

много красавиц отказались бы от чести быть женами подобных героев?

– Если только герои захотят обратить на них внимание, государь, – скромно заметила девушка.

– О, в этом я совершенно уверен! И потому... – Он весело окинул взглядом Черепова и Лизу. – И потому, сударыня, я позволяю себе просить вашей руки для генерал-майора Черепова. Надеюсь, ни вы, ни ваш батюшка не откажете нам в этой чести?

Радостно-смущенная Лиза сделала глубокий поклон государю и, вся зардевшись, безмолвно подала жениху свою руку.

## XXVIII. Лучи бессмертия и славы

Следствием своекорыстной политики Венского двора и всех коварств Тугута был разрыв нашего союза с Австрией.

«Вашему Величеству, – писал государь Павел Петрович императору Францу II, – уже должны быть известны последствия преждевременного выступления из Швейцарии армии эрцгерцога Карла, которой, по всем соображениям, следовало там оставаться до соединения фельдмаршала князя Итальянского с генерал-лейтенантом Корсаковым. Видя из сего, что Мои войска покинуты на жертву неприятелю тем союзником, на которого Я полагался более, чем на всех других; видя, что политика его совершенно противоположна Моим видам и что спасение Европы принесено в жертву желанию расширить Вашу монархию; имея притом многие причины быть недовольным двуличным и коварным поведением Вашего министерства (которого побуждения не хочу и знать в уважение высокого сана Вашего Императорского Величества),

Я с тою прямою, с которой поспешил к Вам на помощь и содействовал успехам Ваших армий, объявляю теперь, что отныне перестану заботиться о Ваших выгодах и займусь выгодами собственными своими и других союзников. Я прекращаю действовать заодно с Вашим Императорским Величеством, дабы не действовать во вред благому делу...»

Это письмо было передано императору Францу II чрез русского посла Колычева, заменившего графа Разумовского. Прочитав его, Франц до того смутился, что не умел даже скрыть свои ощущения перед нашим послом, который после аудиенции у императора австрийского имел свидание с бароном Тугуттом. Когда Колычев объявил ему, что русским войскам предписано возвратиться в Россию, Тугутт сначала не хотел даже этому верить. Черты лица его, всегда холодные и неподвижные, тоже не могли скрыть живого смущения; но потом, придя несколько в себя, австрийский министр начал вдруг выхвалять доблести русских войск, заслуги полководца их и старался выведать у Колычева, не может

ли Суворов хотя повременить на некоторое время выступлением из Германии, в той надежде, что гнев императора Павла, быть может, еще смягчится и повеления его будут отменены. После первого испуга Тугут старался успокоить себя той мыслью, что император Павел в действительности не решится привести в исполнение свою угрозу. Однако же надежды Венского двора, давно уже, впрочем, затеявшего втайне отдельные переговоры с французской Директорией, в скором времени окончательно обрушились.

Копия с письма к австрийскому императору была препровождена государем к Суворову при особом рескрипте, где, между прочим, значилось: "Вы должны были спасти царей; теперь спасите российских воинов и честь Вашего государя", а в следующем за тем рескрипте государь писал, что более "не намерен жертвовать своими войсками для корыстолюбивых и бесстыдных видов двора Венского". Суворов, конечно, не претендовал на разрыв с австрийцами, коварство которых чуть не выморило всю его армию и было главной причиной поражения Корсакова.

Император Павел очень хорошо понимал последнее и хотя отставил Корсакова от службы, но, получив донесение о выходе русских из Швейцарии, писал Суворову 29 октября:

*«Весьма рад, что от Вашего из Швейцарии выступления узнает эрцгерцог Карл на практике, каково быть оставлену не вовремя и на побиение; но немцы люди годные: всё могут снести, перенести и унести».*

«Действуя на пользу общего дела престолов, Я не должен, однако, терять из виду безопасность и благоденствие Моей империи, в чем отдам отчет пред Богом и пред всеми подданными Моими», – писал государь принцу Конде, извещая об отозвании своих войск в Россию.

Распорядясь о немедленном выступлении русской армии из Баварии и о движении ее «умеренными маршами» к пределам своего Отечества, государь формально приказал *платить за все* на пути чрез австрийские владения, а деньги на путевые расходы просить взаимобразно у курфюрста баварского Мак-

симилиана. «Теперь главный предмет Мой, – извещал он Суворова, – есть возвращение Ваше в Россию и охранение ее границ».

Действующую армию предназначалось расположить под непосредственным начальством Суворова, на западной окраине империи, а ему самому повелевалось "иметь пребывание, яко в средоточии маетностей[421] его, – в местечке Кобрине[422]".

Известясь об этой высочайшей воле, Суворов сказал:

– Я бил французов, но не добил. Париж – мой пункт. Беда Европе! – И послал племянника своего, князя Горчакова, занимать у курфюрста баварского миллион гульденов[423].

Швейцарский поход по справедливости считается не только у нас, но и в Европе венцом воинской славы Суворова. Граф Ростопчин в письме к нему в следующих выражениях высказывал свое мнение об этом походе: "Ваше последнее чудесное дело удостаивают в Вене названием *une belle retraite*[424]. Если б они (то есть австрийцы) умели так ретироваться, то давно бы завоевали всю вселенную".

– Belle retraite! – воскликнул со смехом Суворов. – Помилуй бог!.. Здесь нет de belles retraites – разве в пропастях!

Император Павел по тому же поводу писал ему в рескрипте от 29 октября:

*«Побеждая повсюду и во всю жизнь Вашу врагов Отечества, не доставало Вам одного рода славы – преодолеть и самую природу. Но Вы и над нею одержали ныне верх: поразив еще злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою и завистию против Вас вооруженных».*

Спасение русского войска в самой ужасной и труднейшей из местностей Швейцарии было во мнении государя величайшей заслугой. Выслушав реляцию, он тут же возвел Суворова в звание генералиссимуса и сказал при этом графу Ростопчину: «Это много для другого, а ему мало – ему быть ангелом», – и в рескрипте, которым объявлялась старику эта новая милость царская, было изображено: «Награждая Вас по мере признательности Моей и ставя на высший степень, чести и героизму предоставленный, уверен, что возвожу





на оный знаменитейшего полководца сего и других веков». В то же время император пове-

лел отлить статую Суворова и в честь его воздвигнуть монумент в Петербурге, на Марсовом поле[425].

В числе самых деятельных и полезных участников Швейцарского похода был великий князь Константин Павлович, которому Суворов в донесении своем государю отдал полную дань справедливости, за что великому князю пожалован был титул *цесаревича*. Все частные начальники и отличившиеся офицеры по представлению генералиссимуса получили щедрые награды.

Вся Европа дивилась и рукоплескала Суворову. Ораторы, поэты слагали ему похвалы. Державин, воспевший некогда Измаил и Прагу, сделал швейцарские подвиги предметом новой своей оды, которая исполнена самобытными красотами: своенравными, как гений Суворова, дикими, как природа Швейцарии. Воспевая подвиги русских, Державин [426] изобразил Валгаллу[427] и древнего героя Севера[428], указующего на Суворова:

*"Се мой, – гласит он, – воевода,  
Воспитанный в огнях, во льдах,  
Вождь бурь полночного народа —*

## *Девятый вал в морских волнах!"*

«Хохочет ад!» – восклицал Державин, рисуя битвы в Альпийских горах и представляя Сен-Готард исполином, который касается «главой небес, ногами ада» и с ребер которого

*Шумят вниз реки!..*

*Пред ним мелькают дни и веки,  
Как вокруг волнующийся пар...*

Эта ода заключалась мыслию, что отныне вековыми обелисками русских подвигов пребудут сами Альпийские горы.

Вместо миллиона гульденов у курфюрста баварского нашлось всего 200 тысяч, которые и были немедленно доставлены генералиссимусу. Затем вся русская армия сосредоточилась в Аугсбурге. Здесь прислали к Суворову почетную стражу.

– Зачем это?! Помилуй бог!.. Не надо!.. Меня охраняет любовь народная! – сказал он, отсылая караул.

Около месяца прожили в Аугсбурге русские, и время, проведенное здесь, прошло для них шумно и весело. Множество генералов, министров, путешественников стекалось сю-

да со всех концов Европы, чтобы видеть Суворова, хоть мельком, но воочию взглянуть на него. Все благоговело пред героем Италийским. Из Аугсбурга русская армия двинулась далее двумя колоннами – одна через Богемию, другая – через Моравию. Сам Суворов следовал при первой. В городке Вишау встретил его хор детей, пропевший в честь его гимн. Старик прослезился, перецеловал маленьких певцов, усадил их у себя за стол, потчевал разными лакомствами и сам пел с ними.

1 декабря Суворов прошел Нитенау и вступил в Прагу, столицу Богемии, где, во исполнение высочайшего повеления двигаться "умеренными маршами", приготовился дать войскам своим продолжительный отдых и остался здесь на целый месяц. Сюда приехали к нему генерал Беллегард – со стороны императора австрийского и лорд Минто – со стороны короля английского для новых попыток уговорить его сражаться. Старик был и сам не прочь от этого, только не вместе с австрийцами. Множество знатных людей, министров, дипломатов, генералов и дам окружали его и

здесь, как в Аугсбурге. Здесь, среди героев, которых водил к победам, среди уполномоченных агентов государей, искавших его внимания и согласия, Суворов в последний раз явился в полном блеске славы и почестей.

В Праге же помолвил Суворов и своего сына с принцессой Курляндской. По вечерам у него происходили многолюдные и шумные собрания. Затеял он тут справлять русские Святки, завел святочные игры, фанты, жмурки, жгуты, подблюдные песни, сам пел и бегал, и мешался в толпе гостей, с точностью исполняя все, что назначалось ему проделывать, когда вынимался его фант, водил хороводы, заставлял немцев выговаривать трудные русские имена и мудреные слова и слушать рассказы о славной плясунье – боровичской исправничихе и, наконец, пускался в танцы. "Люди – вправо, – пишет очевидец, – а он – влево; такую причинял кутерьму, суматоху, штурм, что все скакали, прыгали и сами не знали куда"[429]. И замечательно, что знатнейшие богемские дамы, австрийские генералы, даже английский посланник при Венском дворе и множество чужестранцев

путались вместе с русаками в наших народных играх. Суворов был очень доволен, если при игре в жгуты особенно больно доставалось по спине австрийским генералам. «Пониже бы их хорошенечко! Пониже!» – приговаривал он, хлопая в ладоши.

Сюда же в Прагу, явился художник Миллер, присланный от курфюрста саксонского с просьбой о позволении списать с Суворова портрет для Дрезденской галереи. Старик очаровал Миллера своими разговорами. Ласково встретив его, он стал словами изображать свой нравственный портрет.

– Ваша кисть изобразит черты лица моего, – говорил он художнику, – они видны; но внутреннее человечество мое сокрыто. Итак, скажу вам, любезный господин Миллер, что я проливал кровь ручьями. Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего, во всю жизнь мою никого не сделал несчастным, ни одного приговора на смертную казнь не подписывал; ни одно насекомое не погибло от моей руки. Был мал, был велик (при этом Суворов вскочил на стул); в приливах и отливах счастья уповал на Бога и был непоколебим (тут он сел на

стул); непоколебим, как теперь!.. Вдохновитесь вашим гением и начинайте!

– Твой гений вдохновит меня! – воскликнул в восторге художник.

Умолкнув, Суворов терпеливо выдерживал неподвижную позу – и прекрасный портрет его, списанный Миллером, до наших дней хранится в Дрезденской галерее.

В это время оживлял Суворова не суетный блеск, окружавший его, не величие, в каком являлся он в представлении своих современников, – оживляла его надежда явиться снова, но уже самостоятельно, среди громов битвы и победы. Любимой и самой заветной мечтой его было победить и умереть в бою, но не на постели.

Высочайший рескрипт от 29 декабря застал его еще в Праге. "Князь! – собственноручно писал государь. – Поздравляю Вас с Новым годом и желаю его Вам благополучна, зову Вас к себе. Не Мне тебя, герой, награждать! Ты выше мер Моих; но Мне чувствовать сие и ценить в сердце, отдавая тебе должное".

Удовлетворяя желание государя, генералиссимус простился с войсками: он просле-

зился – и ничего не мог сказать от волнения... Ряды солдат тоже безмолвствовали и были грустны, словно предчувствуя, что видят "отца" уже в последний раз в своей жизни. Суворов сдал начальство генералу Розенбергу и спешил выехать из Праги. Но пред отъездом, возражая еще раз на новые планы, представленные ему Беллегардом и Минто, он выразился напрямик, что "все эти планы красноречивы, да не естественны, прекрасны, да не хороши", и на прощание высказал им мысль весьма замечательную.

– Если хотите еще раз воевать с Францией, – сказал он, – то воюйте хорошо, ибо война плохая – смертельный яд. В этом случае лучше и не предпринимать ее! Всякий, изучивший дух революций, был бы преступником, если б умолчал об этом. *Первая великая война с Францией должна быть также и последнею.*

Спустя пятнадцать кровавых лет Европа в 1812 году убедилась в вещих словах Суворова.

На другой день он выехал из Праги в сопровождении небольшой свиты. По дороге, в моравском городке Нейтитченке, где умер и похоронен австрийский фельдмаршал Лау-



дон, пожелалось ему взглянуть на гробницу этого замечательного человека. Погрузясь в глубокую задумчивость, долго стоял он и смотрел на длинную латинскую эпитафию, где в подробности и до последних мелочей исчислены были дела, чины, титулы и отличия Лаудона.

– К чему такая длинная надпись! – произнес он наконец в раздумье.

Рядом с ним стоял Фукс, ловя на лице великого старца все оттенки сокровенных дум, волновавших его душу в эту замечательную минуту.

– Нет! Когда я умру, – продолжал Суворов, обратясь к своему спутнику, – завещаю тебе волю мою: когда я умру, не делайте на моем надгробии похвальной надписи. Напишите просто, всего три слова: *«Здесь лежит Суворов»* – с меня и довольно!

## XXIX. Смерть великого деда

Доехав до Кракова, Суворов почувствовал себя дурно. Он через силу поехал на бал, данный в его честь, но среди пышной толпы видимо казался утомленным и грустным; здесь уже не было в нем ни обычных его остроумных выходок, ни оригинальностей. На другой день у него открылась болезнь, известная под названием «*фликтены*»; сыпь и водяные пузыри покрыли все его тело. Он поспешил добраться до Кобрина, где находилась его «маетность», и как ни торопился в Петербург, однако, против воли, должен был лечь в постель. Император Павел, встревоженный известием о болезни своего генералиссимуса, прислал к нему лейб-медика Вейкарта.

«Молю Бога, – писал он, – да сохранит мне героя Суворова. По приезде Вашем в столицу увидите Вы вполне признательность к Вам Вашего государя, которая, однако ж, никогда не сравнится с Вашими подвигами и великими заслугами, оказанными Мне и государству».

Ежедневно скакали курьеры из Кобрина в Петербург с депешами о состоянии здоровья Суворова. Медики советовали ему пользоваться водами, но он вообще пренебрегал медициной, не терпел лекарств и лечился по-своему.

– Помилуй бог! – отвечал он на все эти советы. – Посылайте на воды здоровых богачей, игроков, интриганов, а я ведь болен не шутя... Мне надобны деревенская изба, молитва, баня, кашлица да квас.

Однако, известясь о воле государя, который желал, чтобы больной следовал предписаниям медика, Суворов подчинился приказаниям Вейкарта. Однажды как-то велел он денщику своему Прошке отыскать свою старую аптечку, подаренную ему Екатериною II.

– Я только хотел поглядеть на нее; она надобна мне только на память, – оправдывался он, когда Вейкарт сердито отнял у него ящичек.

Предписано было ему одеваться теплее, а он не хотел и отговаривался тем, что "я-де солдат!".

– Вы генералиссимус, – возразил ему Вейкарт.

– Так-то так, да солдат с меня пример берет! Вот что! – отвечал несговорчивый Суворов.

Никак не могли также убедить его есть скоромное в Великий пост. Однако Вейкарт значительно помог своему пациенту. Почувствовав облегчение, старик усердно принялся ходить в церковь, по обыкновению, пел на клиросе, читал часослов[430] и Апостол, клал положенные поклоны. Вспыльчивый Вейкарт беспрестанно сердился на него, доказывая, что все это изнуряет его физические силы, а Суворов, в отместку за ворчливость, заставлял говорить его по-русски, ходить вместе с собой в церковь, есть постное и от души смеялся досаде немца-врача, который всячески старался отбояриться от такого непривычного ему образа жизни. Слыша о непрерывной благосклонности государя, Суворов говорил с чувством: "Вот *это* вылечит меня лучше Ивана Ивановича Вейкарта!" Он все еще деятельно занимался перепиской, пересматривал и проверял списки наград, заботливо спраши-

вая: не забыт ли кто? Но по временам, чувствуя безнадежность своего здоровья, говорил, что лишь бы добратся до Питера, увидеть государя, а потом – умирать в деревню! Советовали ему просить у императора еще какое-нибудь материальное обеспечение для себя и детей.

– Как!.. Мне испрашивать еще что-нибудь у щедрого монарха!.. Да это подло, совестно, грех! – с негодованием воскликнул бескорыстный старец.

Но в другие часы забывал он о своей деревне и говорил о военных делах, о битвах; мечтал о новом походе в Италию, во Францию, в Париж, где, по его убеждению, только и мог быть положен действительный конец деспотическим действиям республиканцев; создавал новые планы освобождения Европы, писал письма к государям и знаменитым современникам; разговаривал о приготовлениях к триумфальному въезду его в Петербург.

– Дайте, дайте мне только увидеть государя! – восклицал он, с удовольствием слушая рассказы о том, как нетерпеливо ждут его в столице, какие почести придумывает ему им-

ператор, как готовит для него помещение в Зимнем дворце, хочет встретить его, как римского триумфатора, со всей гвардией, при громе пушек и колокольном звоне.

Читая письмо государя, где он писал, что "радуется приближению часа, когда обнимет героя всех веков", старик оживал, молодец, веселился и торопил приготовления к своей дальнейшей поездке.

Наконец Вейкарт разрешил ему отправиться в путь, но с тем, однако, чтобы не проезжать в сутки более 25 верст. Суворов не мог уже, как прежде, лететь на перекладных, в ямской телеге. Теперь его везли в дормезе, на перине, обложенного подушками, в сопровождении врачей. Багратион свидетельствует, что «переход через Альпийские горы в ненастное время, а более всего неудовольствия от гофкригсрата и враждебного Тугута, из зависти и злобы нанесенные, и их козни сильно подействовали на здоровье Александра Васильевича». Крепкая натура боевого старика долго боролась с болезнью, но наконец последняя взяла-таки верх.

Не переставая заботиться о состоянии здоровья своего полководца, император Павел тем не менее отдал 20 марта 1800 года следующий высочайший приказ: "Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел при корпусе своем, по старому обычаю, неперменного дежурного генерала – что и дается на замечание всей армии".

Этим приказом особа генералиссимуса поставлена была выше выговора, который вместо него сделан был как бы всему русскому войску.

Суворов почувствовал это тонкое различие, и тем сильнее было его огорчение.

Приказом этим воспользовались враги и недоброжелатели Суворова, чтобы оклеветать его пред государем и повсюду распусть слух, что не почести, но гнев и негодование государя ожидают его в Петербурге, что встречи, готовленные ему, отменены и войскам не велено отдавать ему почестей, высочайше дарованных за италийские подвиги... Эта новая и вполне удавшаяся интрига была не без участия тайных клеветов[431] Тутута.

Слухи о ней дошли и до Суворова, когда он

остановился в Вильне. В нескольких станциях за этим городом свита генералиссимуса с изумлением и страхом увидела в нем внезапную перемену к худшему. Припадки болезни возобновились и усилились. Он не мог ехать далее и остановился по дороге в бедной литовской корчме[432]. Его внесли в хату и положили на лавку. Сопровождавшие его лица не могли удержаться от слез при виде изможденного старика, прикрытого простынею и почти умирающего. «Боже великий! За что страдаю?!» – тяжело вздыхал он по временам, прерывая свою молитву и подавляя стоны.

Но железная натура его еще раз взяла верх над болезнью. Все были обрадованы, когда Суворов, кое-как перемогшись, начал снова свое путешествие и особенно когда приехал он в Ригу. Здесь застал его первый день Пасхи. Через силу надел он полный мундир со всеми орденами, отслушал заутреню и обедню и разговелся у рижского губернатора.

Остальное путешествие до Петербурга тянулось две недели и походило как бы на похоронное шествие. Толпами высыпал к нему на встречу народ, но, опасаясь потревожить его



покой, не решался приветствовать героя своими кликами и, обнажив головы, провожал его в торжественном безмолвии, плакал и крестился, молясь за недужного старца. Едва шевелясь и видимо угасая, Суворов все еще шутил и с тихой улыбкой говорил иногда: "Ох, устарел я что-то!.."

В Стрельне ожидали его друзья и родные. Дормез генералиссимуса был окружен здесь множеством петербуржцев, нарочно съехавшихся сюда встретить народного героя. Почти все глаза полны были слез, когда увидали умирающего старика – тень великого Суворова. Слабым голосом говорил он с окружавшими его. Дамы и дети подносили ему цветы и фрукты; он благодарил дам, просил матерей приподнимать к себе детей и благословлял их дрожащей рукой.

К нему приблизилась молодая чета и за ней высокий, но уже дряхлеющий старик в военном генеральском мундире.

Суворов поднял глаза, и во взоре его на мгновение вспыхнул светлый луч удовольствия и радости.

– Вася... Василий... мой... Черепов!.. Здравст-вуй, голубчик... Царь наградил тебя... Знаю!.. Хорошо... Помилуй бог!.. Спасибо ему за это! – проговорил он полным чувства, дрожащим голосом и протянул исхудалую, костлявую руку.

Черепов в сильном волнении и с любовью приник к этой руке сыновним поцелуем. Сердце его сжалось мучительной тоской, и слезы сами невольно наворачивались на глаза: таким ли оставил он Суворова несколько месяцев назад, в Куре, когда старик отечески целовал и благословлял его в дальнюю и спешную дорогу!..

– А это кто ж с тобой? – спросил Суворов, указав глазами на молодую даму, стоявшую рядом.

– Жена моя, рожденная графиня Харитоновна-Трофимьева, – представил Черепов Лизу.

– Жена!.. Хорошо!.. Поздравляю... У, да какая ж красавица!.. Любите его, сударыня, – прибавил старик, – любите... Он честный солдат и человек... Он достоин сего... Вы не дочь ли графа Илии?... Знавал я его некогда... в молодости... товарищи были.

– Да, я дочь его... Да вот и он сам, мой ба-  
тюшка! – представила ему Лиза стоявшего за  
ней дряхлого генерала.

– А-а!.. Граф Илия!.. Здорово, друг! – привет-  
ливо проговорил Суворов, озаряясь страдаль-  
чески-светлой улыбкой. – Дай руку!.. Устарели  
мы немного... А помнишь Куннерсдорф?... На-  
лёт на Берлин с Тотлебенем?... Вместе были...  
Лихое время!.. Молодость!..

И, пожав руку графа, он от слабости томно  
закрыв веки и погрузился в мягкие подушки.

20 апреля, в одиннадцатом часу вечера, ти-  
хо въехал Суворов в Петербург через воздвиг-  
нутые для встречи его триумфальные ворота  
и принял скромную почесть заставного кара-  
ула, вышедшего к сошкам по причине позд-  
него часа в силу устава без ружей. Не заезжая  
в Зимний дворец, остановился он в доме пле-  
мянника своего, графа Д. И. Хвостова, на Ека-  
терининском канале, близ церкви Николая  
Морского, и там почувствовал себя сразу до  
того плохо, что тотчас же безмолвно лег в по-  
стель.

Государь, узнав о приезде Суворова, немед-

ленно прислал к нему его сподвижника, князя Петра Ивановича Багратиона, провести о здоровье и поздравить с приездом. Багратион застал старика в постели, едва дышавшего от изнурения. Часто впадал он в обморок; ему терли спиртом виски и давали нюхать.

Пришедши в себя, он взглянул на Багратиона, и в его больших глазах не блеснул уже взгляд жизни. Долго смотрел он, как будто припоминая его, и наконец узнал.

– А-а!.. Это ты, Петр!.. Здравствуй!

И замолчал, забылся.

Минуту спустя взгляд его сознательно опять остановился на Багратионе, который, пользуясь мгновением, поспешил передать ему все, что приказал государь.

Суворов при этом как будто оживился.

– Поклон... мой... в ноги... царю... сделай, Петр!.. Ух... больно! – с усилием проговорил он, и застонал, и впал в бред.

Багратион донес государю обо всем и пробыл при его величестве за полночь. Меж тем каждый час доносили императору о ходе болезни Суворова.

– Жаль его! – с глубокой грустью сказал го-

сударь между многими о нем речами. – Жаль! Россия и я со смертью его теряем многое... Да, мы потеряем много, а Европа – всё!

Наутро явился к генералиссимусу горячий поклонник его, вице-канцлер граф Ф. В. Ростопчин, и привез собственноручное письмо Людовика XVIII, при котором князю Италийскому препровождались ордена Святого Лазаря и Святой Богородицы Кармельской. Суворов просил прочитать письмо и, взяв ордена, спросил:

– Откуда присланы?

– Из Митавы[433] – отвечал Ростопчин.

Горькая улыбка мелькнула на устах страдальца.

– Как – из Митавы? – проговорил он. – Король французский должен быть в Париже!

И как бы сомневаясь, так ли ему прочитали, просил еще раз прочесть письмо, и когда услышал слова: "Примите, герой великий, знаки почестей от несчастного монарха, который не был бы несчастным, если бы следовал за Вашими знаменами", – крупные слезы блеснули на глазах его. Старик перекрестился, поцеловал кресты орденов и безмолвно

опустил их на колени.

С каждым днем, с каждым часом недуг все усиливался; давнишние привычки и оригинальности Суворова исчезали одна за другой.

Медленно, тихо и безропотно угасал закаленный старый солдат...

Память заметно начинала изменять ему, так что часто забывал он названия местностей, прославленных его недавними боевыми подвигами, забывал даже и самые эти победы. Но по временам светлое сознание возвращалось, и тогда он старался крепиться, вставал с постели, присаживался в большие кресла, заставляя двигать их по комнате, и даже занимался турецким языком, причем вспоминал свои походы в Турции; но вдруг нить воспоминаний этих прерывалась – он умолкал, голова его грустно никла на грудь, и тогда с глубоко скорбным вздохом вырывались у него слова:

– Зачем не умер я там, на полях Италии...

Услышав однажды от племянника, что до него есть дело, Суворов вдруг совершенно ободрился и твердым голосом произнес:

– Дело?... Я готов!

Когда же все "дело" объяснилось тем, что барон Бюллер желал получить пожалованный ему баварский орден непременно из рук знаменитого генералиссимуса, Суворов грустно опустил голову и слабо, едва внятным голосом промолвил:

– Хорошо... Пусть войдет...

Наконец врачи потеряли всякую надежду.

Чувствуя приближение смерти, Суворов 5 мая призвал духовника, исповедался, причастился и с ясным спокойствием духа простился со всеми окружающими его. Наступила ночь, и с нею – бред предсмертный. В беспмятстве умирающий герой отдавал разные военные приказания, твердил о Генуе, истолковывал стратегические планы свои... Бред продолжался и утром, и последними словами Суворова были: "Генуя... Сражение... *Вперед!*" – а во втором часу дня 6 мая 1800 года, в день святого Иова Многострадального, великий и тоже многострадальный человек тихо испустил последнее дыхание.

Глубокое и тяжелое впечатление произвела весть о смерти Суворова в столице, в войсках, в отечестве. Многие инвалиды, его со-

ратники, и все русские полки служили панихиды по усопшем "отце", и эти люди, бесстрашно и хладнокровно глядевшие с ним вместе на смерть, так близко и так часто, в кровавых боях, теперь неутешно плакали, как дети...

Император, до глубины души огорченный смертью русского полководца, послал своего генерал-адъютанта передать родным покойного, "что наравне с Россией и с ними разделяет скорбь о потере великого человека".

На другой день массы народа теснились около дома, где скончался народный герой; и тихо, благоговейно входили, один за другим, посетители в траурную залу, где стоял на катафалке гроб Суворова. Лицо его до того было спокойно, что он казался не мертвым, а только уснувшим. Кругом на бархатных подушках сверкали все ордена и многочисленные знаки отличий генералиссимуса. Люди всех званий и состояний, не только петербуржцы, но и нарочно приехавшие из других городов, хотели взглянуть еще раз на почившего и поклониться его бранным останкам. В числе их замечали множество старых инва-



лидов, которые плакали и молились... И все трое суток таким образом толпился русский народ у этого дубового гроба.

Настало ясное, теплое утро 9 мая. По улицам из Малой Коломны медленно тянулся похоронный поезд Суворова. Все духовенство столицы предшествовало гробу, стройные клиры оглашали весенний воздух пением «Святой Боже». Все сановники, вся знать, военные и гражданские чины, сословия дворянское и купеческое, представители науки, литературы и всех искусств и неисчислимое множество народа шли позади печальной колесницы. Далее следовали войска со знаменами, обвитыми черным флером. Глухо и монотонно били похоронный марш барабаны, сопровождая мерным и медленным своим боем печальные звуки мелодических флейт. Далее стройно раздавался мрачный марш кавалерийских хоров, а еще далее, позади траурных эскадронов, тяжело громыхали по мостовой артиллерийские орудия. Бесчисленные толпы теснились на улицах вплоть до самой Александрово-Невской лавры. Окна, балконы и даже

крыши домов усеяны были народом. Державин шел за гробом и выразил скорбь свою о кончине героя, подвиги которого долго служили ему предметом поэтических песнопений. «Северны громаы в гробе лежат!» – так слагал он о смерти Суворова.

*Кто перед ратью будет, пылая,  
Ездить на кляче, есть сухари?  
В стуже и в зное меч закаляя,  
Спать на соломе, бдеть до зари?*

Император Павел, окруженный блистательной свитой, верхом выехал на угол Невского и Садовой. Задумчиво стоял он близ Публичной библиотеки, ожидая приближающуюся процессию, и, когда она поравнялась с ним, его величество снял с головы шляпу.

– Прощай!.. Прости!.. Мир праху великого! – сказал он в полный голос, отдавая низкий поклон усопшему, – и все видели, как в эту минуту текли слезы по лицу государя.

В воротах лавры шествие затруднилось. Опасались, что высокий надгробный балдахин не пройдет под ворота, и уже хотели было снимать его.

– Вперед! – закричал вдруг старый грена-



дерский унтер-офицер, прошедший все походы вместе с Суворовым. – Не бойсь-те, пройдет! Он везде проходил!

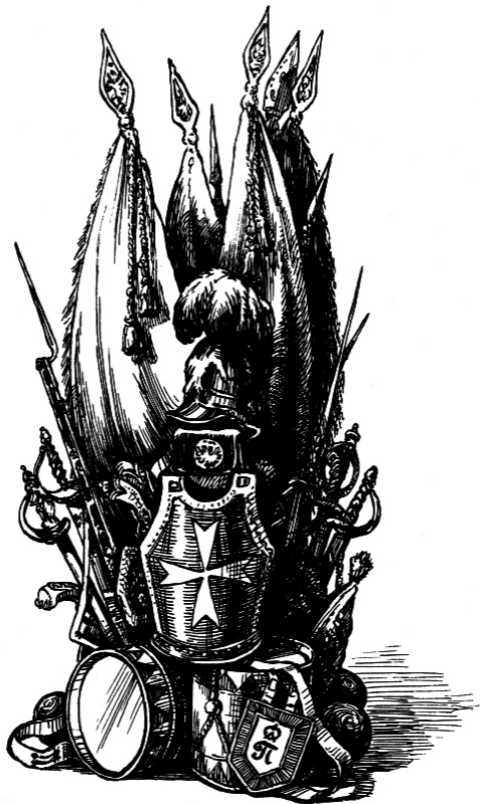
И вот по слову старика инвалида разом двинулись вперед – и действительно колесница вместе с балдахином "прошла" на монастырский двор вполне благополучно.

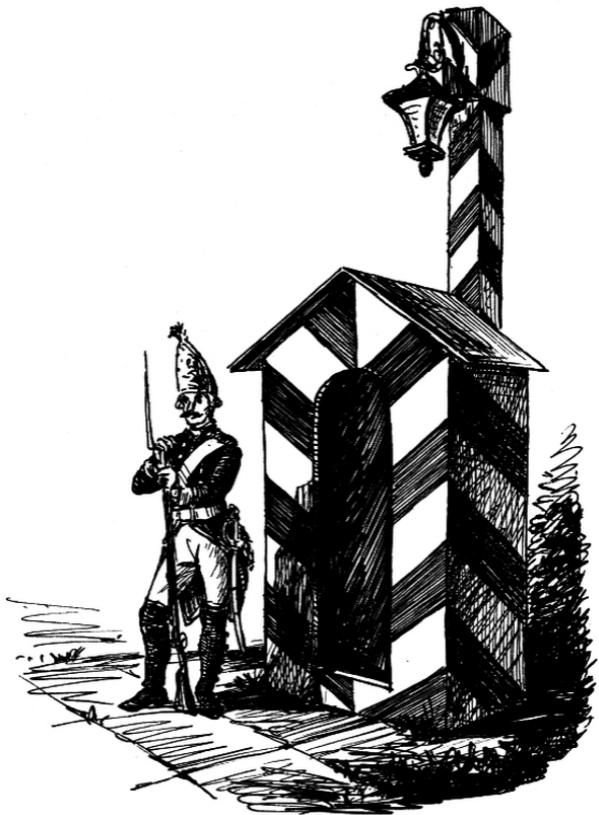
Обряд отпевания совершал митрополит Амвросий. В последний раз загремели Суворову грозные пушки и зарокотали ружейные залпы, когда, с провозглашением «вечной памяти», гроб полководца на руках его соратников был опущен в могилу, которую покрыла скромная плита с простою надписью: «Здесь лежит Суворов».

Это большие люди хоронили своего великого человека.



Здѣсь  
ЛЕЖИТЬ  
СУВОРОВЪ.





# Примечания



# 1

*Форéйтор* – кучер, сидящий на передней лошади при упряжке цугом (*нем.*).

[^^^]

## 2

*Кафишёнк* – человек, обслуживающий вельможу за столом (от Kaffee – «кофе» и schenken – «угождать»; нем.).

[^^^]

# 3

Зубова. (Здесь и далее примеч. В. В. Крестовского.)

[^^^]

# 4

*Третевадни́* (третьёводни) – три дня назад.

[^^^]

# 5

*Будувáр* – искаж. будуар – женская комната, кабинет дамы (*фр.*).

[^^^]

*Софи́я* – город, который был построен в 1780–1782 гг. по указу Екатерины II недалеко от императорской резиденции Царское Село для проживания придворных служителей. В 1808 г. вошел в состав г. Царское Село. В феврале 1937 г. последний был переименован в г. Пушкин, и София является районом этого города.

[^^^]

*Шёнкель* – внутренняя, обращенная к лошади часть ноги всадника от колена до щиколотки, при помощи которой всадник управляет лошадью (нем.).

[^^^]

## 8

*Лошадь под верх* – способ упряжи: уздечка с кожаным ремнем для опущения головы лошади.

[^^^]



*Шпáнская му́шка* – жук семейства нарывников, которого использовали для лечения.

[^^^]

А, это вы, мой милый Ростопчин! Сделайте одолжение, поезжайте за мной! Мне нравится быть с вами (*фр.*).

[^^^]

*Вёршник* – едущий верхом, конник.

[^^^]

*Синодальное* – от Синод – собор высших духовных лиц (гр.).

[^^^]

*Апоплексический удар* – инсульт.

[^^^]

*Статс-секретарь* – секретарь при особе государя (нем.).

[^^^]

«*Модельное войско*». – Павел I командовал в Гатчине гарнизоном, состоящим из нескольких небольших батальонов по модели образца прусской армии – и в муштре, и в обмундировании.

[^^^]

*Камердiнер* – комнатный слуга (нем.).

[^^^]



Анна Степановна.

[^^^]

*Исповедь* – таинство покаяния (гр.); *глухая исповедь* – обряд, который проводит священник над умирающим, находящимся без сознания.

[^^^]

*Паникаділо* – церковная люстра, подвесной светильник (гр.).

[^^^]

*Канделябр* – большой подсвечник с украшениями (фр.).

[^^^]

*Амвѡн* – место перед иконостасом, где читаются проповеди (*гр.*).

[^^^]

*Анало́й* – столик в православной церкви, на который во время богослужения кладут книги, ставят иконы и крест (*гр.*).

[^^^]

Все даты в книге даны по старому стилю. —  
*Ред.*

[^^^]

Боже, что за варварская фамилия! (фр.)

[^^^]



*Андреевская лента* – один из знаков ордена Святого апостола Андрея Первозванного; ее носили через плечо.

[^^^]

Николай Алексеевич, генерал-поручик и гвардии полковник.

[^^^]

*Индé* – кое-где.

[^^^]

Развод.

[^^^]

Е. Ф. Комаровский, впоследствии граф и генерал-адъютант.

[^^^]

Три устава о воинской службе были изданы уже 29 ноября 1796 г.

[^^^]

*Куафjюра* – прическа или головной убор (*фр.*).

[^^^]

*Экзерциции* – военные упражнения (*лат.*).

[^^^]



*Пудрамáнтель* – парадный мундир; красивая одежда (от Puder – «пудра» и Mantel – «пальто»; нем.).

[^^^]

*Во́яж* – поездка, путешествие (фр.).

[^^^]

*Камра́д* – друг (гол.).

[^^^]

«Таврída» – Таврический дворец в Санкт-Петербурге.

[^^^]

*Плюма́ж* – опушка из перьев на шляпе (фр.).

[^^^]

*Сибаритская* – от сибарит – праздный, изнеженный роскошью человек (*лат.*).

[^^^]

*Фланіровать* – прогуливаться без цели,  
праздно прохаживаться (*фр.*).

[^^^]

*Егерь* – солдат или иной чин егерского полка  
(нем.).

[^^^]



*Цуг* – шестерка лошадей в упряжи (нем.).

[^^^]

*Магна́т* – человек, владеющий очень большим состоянием (*лат.*).

[^^^]

В полковом приказе было сказано, чтобы под  
знамя нарядить подпрапорщика.

[^^^]

*Корнёт* – первый офицерский чин в кавалерии (фр.).

[^^^]

Буфóнить (искаж. от «буфф») – шутить (*ит.*).

[^^^]

*Літки* – вечеринка с угощениями.

[^^^]

Фрúштык – завтрак, закуска (нем.).

[^^^]

*Устерсы* – искаж. устрицы.

[^^^]



*Кампанія 1788 года.* – Речь идет о русско-шведской войне 1788–1790 гг.

[^^^]

*Гренадёры* – отборные пехотные и кавалерийские части (*фр.*).

[^^^]

Как ныне у лейб-гвардии Павловского полка.  
*(Здесь и далее автор имеет в виду начало  
1870-х гг. – Ред.)*

[^^^]

*Мушкетёр* – солдат, вооруженный мушкетом, старинным ружьем крупного калибра с фитильным замком (*фр.*).

[^^^]

*Эспонтон* – маленькая пика, которую носили офицеры (фр.).

[^^^]

*Аліниеман* – площадь для парада (нем.).

[^^^]

*Фунт* – старая русская мера веса, равная 409,5 г.

[^^^]

*Инвали́дный* – от инвали́д – здесь: отслуживший воин, неспособный к службе в связи с увечьем, ранами, дряхлостью (*лат.*).

[^^^]



*Верста́* – старая русская мера длины, равная 1,07 км.

[^^^]

*Respekt* – привет (фр.).

[^^^]

*Прістав* – должностное лицо в полиции, представленное для надзора за кем-либо.

[^^^]

*Дворéцкий* – служитель в барском доме, управляющий хозяйством. *Дворецкий* – служитель в барском доме, управляющий хозяйством.

[^^^]

*Κορέυ* – ΚΟΒΙΙΙ.

[^^^]

*Четвері́к* – старая мера веса сыпучих продуктов, равная 26,24 л.

[^^^]

*Явятельный* – действительный.

[^^^]

*Переворот 29 июня 1762 года.* – В этот день Екатерина II пришла к власти, свергнув с престола с помощью гвардии своего супруга, императора Петра III.

[^^^]



Это принцип, мой дорогой! Это – другое дело!  
(фр.)

[^^^]

*Зазна́ть* – ПОЗНАКОМИТЬСЯ.

[^^^]

*Августейшая бабка и родитель.* – Имеется в виду императрица Елизавета Петровна и Петр III.

[^^^]

*Негóция* – здесь: предложение материальной помощи (*лат.*).

[^^^]

«Энциклопедисты» – группа передовых мыслителей во Франции, объединившихся вокруг «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (35 тт., 1751–1780), которую издавали Д. Дидро и Д'Аламбер.

[^^^]

Целовать ручку папа (*фр.*).

[^^^]

*Сіверкий* – от сівер (сіверка, сіверко) – холодный, северный ветер.

[^^^]

*Презэнт* – подарок, приношение (фр.).

[^^^]



*Маэстóзо* – торжественно, величаво (*ит.*).

[^^^]

«*Мартын Задека*» – книга предсказаний и толкования снов Мартина Задеки (вероятно, псевдоним), впервые изданная в 1770 г. в г. Базеле (Швейцария).

[^^^]

*Камчатная* – сделанная из камки, шелковой узорчатой ткани (*тюрк.*).

[^^^]

*Метастáзио* Пьéтро (1698–1782) – итальянский поэт и драматург-либреттист.

[^^^]

*Клавесин* – старинный струнный щипковый клавишный музыкальный инструмент (*фр.*).

[^^^]

*Казачок* – в дворянском быту мальчик-слуга.

[^^^]

*Людская́* – помещение для слуг в барском доме.

[^^^]

*Францвэйн* – плодовая водка (искаж. фр.).

[^^^]



*Подорóжная* – письменное свидетельство, дающее право на получение почтовых лошадей.

[^^^]

*Камзól* – длинный жилет (фр.).

[^^^]

*Басон* – тесьма для украшения одежды (*фр.*).

[^^^]

*Рóба* – здесь и далее: домашнее и нарядное платье.

[^^^]

*Сажень* – старая русская мера длины, равная 2,13 м.

[^^^]

*Антилёръ* – искаж. артиллерия.

[^^^]

*Артикул* – воинский устав, уложение (лат.).

[^^^]

*Пóдлые люди* – в XVIII в. так уничижительно называли слои городского населения, принадлежавшие по рождению к низшему сословию.

[^^^]



*Донча́к* – конь донской породы.

[^^^]

*Реду́тец* – небольшое укрепление, окруженное рвом и валом (*фр.*).

[^^^]

*Фальконёт* – старинная пушка небольшого калибра (*ит.*).

[^^^]

*Гайдук* – слуга, выездной лакей в богатом помещичьем доме в XVIII–XIX вв. (венг.).

[^^^]

*Вакх* – в греческой мифологии одно из имен бога виноградарства Диониса.

[^^^]

*Сати́р* – одно из низших божеств в греческой мифологии.

[^^^]

*Пáлевый* – соломенный цвет, бледно-желтый с розовым оттенком (*фр.*).

[^^^]

*Петимéтр* – щеголь (фр.).

[^^^]



*Што́фный* – сделанный из штофа, плотной шелковой или шерстяной ткани (*нем.*).

[^^^]

*Архимандрит* – настоятель монастыря (гр.).

[^^^]

*Чефра́с* – название вина.

[^^^]

*Шляхта* – мелкое польское дворянство.

[^^^]

*Аршин* – старая мера длины, равная 71,12 см.  
(тюрк.).

[^^^]

*Церемониймейстер* – распорядитель, наблюдающий за порядком во всех торжественных случаях (нем.).

[^^^]

*Капельмейстер –*  
*(нем.).*

руководитель

капеллы

[^^^]

*Фейерверкмейстер* – офицер, специалист по пороху для устройства фейерверков (*нем.*).

[^^^]



*Кухмэйстер* – заведующий кухней (нем.).

[^^^]

*Шталмейстер* – придворный чин в некоторых монархических государствах (нем.).

[^^^]

*Гофмэйстер* – с начала XVIII в. один из старших придворных чинов в России; здесь: распорядитель в помещичьей усадьбе (нем.).

[^^^]

*Эволюция* – процесс изменения, развития  
(лат.).

[^^^]

*Бруствер* – земляная насыпь на наружной стороне окопа (нем.).

[^^^]

*Померáнец* – вечнозеленое цитрусовое дерево родом из Южной Азии, с кисло-горькими плодами (нем.).

[^^^]

*Кувёрт* – столовый прибор (фр.).

[^^^]

*Есмы – мы есть.*

[^^^]



В *случай* *выходит* – приходит неожиданная удача.

[^^^]

*Респектовать* – ВЫКАЗЫВАТЬ ПОЧТЕНИЕ, УВАЖЕНИЕ (фр.).

[^^^]

*Рéгент-семинари́ст* – воспитанник музыкального класса в духовном училище (*лат.*).

[^^^]

*Камертón* – звук в музыке, принятый за образцовый (нем.).

[^^^]

*Кантата* – музыкальное произведение торжественного, лирического или эпического характера (*ит.*).

[^^^]

*Тюни́ка* – искаж. туника – у древних римлян род рубашки из льна или шерсти длиной до колен, которую носили под тогой.

[^^^]

*Полонез* – польский торжественный танец, получивший широкое распространение в Европе в XVIII в. (*фр.*).

[^^^]

# 120

*Аллегрéтный* – от аллéгро – легкий темп в музыке (*ит.*).

[^^^]



*Канта* – хвалебная песня (ит.).

[^^^]

*Амфитрион* – в греческой мифологии сын Алкея, царя тиринфского. Миф о нем послужил сюжетом для трагедии Софокла и пьесы Мольера.

[^^^]

*Невместно* – неуместно.

[^^^]

*Кондіція* – уговор, условие, сделка (фр.).

[^^^]

*Учливый* – здесь: услужливый, доброжелательный.

[^^^]

*Эскóрт* – сопровождение (нем.).

[^^^]

*Погребѣц* – дорожный ларец.

[^^^]

*Фальшфейер* – бумажная трубка, набитая горящим составом, для подачи ночных маяков или сигналов (нем.).

[^^^]



*Жу́пел* – то, что внушает страх, ужас и отвращение, чем пугают кого-нибудь.

[^^^]

*Канчук* – ременная плетъ, нагайка.

[^^^]

*Маркіровать* – ставить клеймо, марку (*фр.*).

[^^^]

*Протопón* – жалованное звание, сан священника (гр.).

[^^^]

*Исправник* – начальник уездной полиции.

[^^^]

*Околóток* – здесь: окружающая местность, окрестность.

[^^^]

*Сенáт* – в России в 1711–1917 гг. высший государственный орган, подчиненный императору.

[^^^]

*Иерей* – официальное название православного священника (гр.).

[^^^]



*Причт* – церковный штат, приписанный к определенному церковному приходу (*гр.*).

[^^^]

*Дормез* – старинная дорожная карета, приспособленная для сна в пути (*фр.*).

[^^^]

Н. И. Новиков (1744–1818), держатель московской университетской типографии, издатель «Московских ведомостей», «Экономического магазина» и многих книг, оживлявших русскую литературу того времени, был обвинен в мартинизме, в основании тайного общества и приговорен к заключению в крепости. Его друзья и сотрудники, между которыми были Юрий и Николай Никитичи Трубецкие, тоже потерпели при этом.

*Мартинизм* – мистическое учение, распространенное среди масонов в XVIII в. (названо по имени его создателя Мартинеса Паскалиса; 1700–1774)

[^^^]

*Франкмасон* (от фр. franc ma'çon – «вольный каменщик») или масон – член религиозно-этического движения, возникшего в XVIII в. в Англии и распространившегося во многих странах, в том числе в России.

[^^^]

А. Н. Радищев (1749–1802) – автор известного «Путешествия из Петербурга в Москву»(1790), книги, за которую он был сослан в Сибирь.

[^^^]

*Тадэуш Костюшко* (1746–1817) – руководитель  
Польского восстания 1794 г.

[^^^]

*Курáтор* – руководитель; ректор (*фр.*).

[^^^]

*Пи́им* – ПОЭТ (ст. – рус).

[^^^]



*Куртаг* – прием во дворце (нем.).

[^^^]

*Рекрутский набор* – набор новобранцев для военной службы.

[^^^]

Еще за несколько лет до смерти императрицы Екатерины II цены на хлеб не только в Петербурге, но даже и по всей России поднялись до 8 и 9 рублей за куль. Это было причиной общей дороговизны на все жизненные предметы и вызывало неоднократные жалобы и ропот как в обществе, так и в народе. Одной из первых мер императора Павла I были указы от 10 и 18 декабря 1796 г. о понижении цен на хлеб и о замене хлебной подати денежной.

[^^^]

*Бурмістр* – староста из крестьян, поставленный помещиком для управления вотчиной (нем.).

[^^^]

*Зёмский заседатель* – чиновник земства, губернского или уездного органа местного самоуправления России с XVIII в. до 1917 г.

[^^^]

По званию Санкт-Петербургского генерал-губернатора великий князь Александр должен был лично подписывать все подорожные и билеты на выезд из столицы.

[^^^]

*Кирáса* – металлические латы, надевавшиеся на спину и грудь (*фр.*).

[^^^]

*Пала́ш* – длинная и прямая сабля с широким и обоюдоострым к концу клинком (*пол.*).

[^^^]



*Дрѳги* – карета, повозка.

[^^^]

*Аничкин мост* – Аничков мост в Санкт-Петербурге.

[^^^]

*Шпиц* – шпиль на здании (нем.).

[^^^]

На месте его император Павел воздвиг по собственному плану и рисункам в один год с небольшим замок св. Архангела Михаила. Этот замок имел вид крепости, окружен был водяными рвами и валами, на которых стояли пушки, и служил жилищем императору в последний год его царствования. Подъемные мосты вели во внутренность замка. Освящен он был 8 ноября 1800 г.

[^^^]

*Палé-Рояль* – королевский дворец в Париже, построенный в XVII в.

[^^^]

Ротонда, где ныне помещается библиотека  
Главного штаба.

[^^^]

Зала этого театра ныне занята общим архивом Главного штаба.

[^^^]

Отца покойного В. Кажинского, капельмейстера Александрийского театра.

[^^^]



Отец Василя Васильевича Самойлова.

[^^^]

*Рядчик* – подрядчик, не берущий для себя работ, а только поставляющий рабочих.

[^^^]

*Вóльные дома* – дома частных владельцев.

[^^^]

*Партикулярные дома* – частные дома, где устраивались балы и другие увеселения (лат.).

[^^^]

*Эпикурéйский материализм* – философское учение, названное в честь греческого философа-материалиста Эпикура (341–271 гг. до н. э.), отрицавшего божественное сотворение мира и развивавшего теорию счастливой жизни на земле, свободной от человеческих страданий.

[^^^]

*Цейхгауз* – воинский склад (нем.).

[^^^]

Рунд – караул (нем.).

[^^^]

*Съезжая* – полицейская часть.

[^^^]



*Кенкét* – комнатная лампа (фр.).

[^^^]

Золотая молодежь (*фр.*).

[^^^]

Мир живет примером государя (*лат.*).

[^^^]

*Эпоха Возрождения (фр. Ренессанс)* – период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы в XIV–XVI вв., переходный от средневековой культуры к культуре Нового времени.

[^^^]

*Фемíда* – богиня правосудия в греческой мифологии; правосудие.

[^^^]

*Персидская война.* – Имеется в виду поход русских войск в 1796 г. в азербайджанские провинции Ирана в ответ на вторжение персидских войск в Грузию в 1795 г.

[^^^]

*Ордона́нс* – здесь: правительственный орган (фр.).

[^^^]

*Шлафрók* – домашний халат (нем.).

[^^^]



*Пароль* – секретное слово или набор символов, предназначенных для подтверждения личности или полномочий (*фр.*).

[^^^]

*Шв́альня* – швейная мастерская.

[^^^]

*Наипаче* – особенно, более всего, важнее всего.

[^^^]

*Генерáл-анше́ф* – военный чин: полный генерал одного из родов войск.

[^^^]

*Стамэд* – шерстяная ткань.

[^^^]

*Плутонг* – стрельба мелкими залпами (*пол.*).

[^^^]

*Пуэн-де-вю* – точка зрения (фр.).

[^^^]

*Пуэн-д'анпю́и* – точка отсчета (фр.).

[^^^]



*Наивящий* – наилучший, наивысший.

[^^^]

*Флигель-адъютант* – офицер в должности адъютанта при государе (нем.).

[^^^]

*Втуне* – все, без пользы, напрасно.

[^^^]

*Ка́мер-лакéй* – старший лакей при императорском дворе (*нем.*).

[^^^]

*Флёр* – прозрачная шелковая ткань (*фр.*).

[^^^]

*Чёрнеть* (чернь) – здесь: черная серебряная  
нить.

[^^^]

*Глазёт* – золотая или серебряная парча (фр.).

[^^^]

*Шишák* – шлем, каска с гребнем или хвостом.

[^^^]



*Генерáл-фельдцейхмéйстер* – главный начальник артиллерии в России в XVIII–XIX вв. (нем.).

[^^^]

*Рекогносцировка* – обследование маршрута;  
разведка (лат.).

[^^^]

*Епанча* – длинный широкий безрукавный плащ.

[^^^]

*Намёт* – шатер, большая раскидная палатка.

[^^^]

Место печали (*лат.*).

[^^^]

*Лити́я* – молитвенное священнодействие об упокоении душ усопших (*гр.*).

[^^^]

*Камергёр* – почетное придворное звание  
(нем.).

[^^^]

*Камер-юнкер* – низшее придворное звание  
(нем.).

[^^^]



*Семилётняя война* (1756–1763) – война между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией и Португалией – с другой.

[^^^]

*Бéлое духовéнство* – немонашествующее сословие церковнослужителей.

[^^^]

*Чёрное духовѣнство* – сословие церковнослужителей, принявшее обет монашества.

[^^^]

... *стояли шпалёрами...* – то есть в один ряд, в шеренгу, по обе стороны (*нем.*).

[^^^]

*Литургія – обедня (гр.).*

[^^^]

*Архиерей* – в церковной иерархии лицо высшей (третьей) степени священства (*гр.*).

[^^^]

*Игу́мен* – настоятель монастыря (*гр.*).

[^^^]

*Ектенія* – название ряда молитвенных прошений при богослужении в православной церкви (*гр.*).

[^^^]



*Консіліум* – обсуждение, обмен мнениями  
(лат.).

[^^^]

*Под сурдiнку – тайком, втихомолку.*

[^^^]

*Робеспьер* Максимили́ён (1758–1794) – руководящий деятель Великой французской революции (1789–1794).

[^^^]

*Комитет общественной безопасности* (1792–1795) – один из комитетов Национального конвента – высшего органа Первой французской республики.

[^^^]

... к *Казанской*... – Икона Казанской Божией Матери была перенесена из Москвы в Петербург в 1708 г. и находилась в церкви Рождества Богородицы.

[^^^]

*Статс-да́ма* – высшее придворное звание женщины из привилегированного сословия, состоявшей в свите царствующей особы (гол.).

[^^^]

Впоследствии графиня и княгиня, воспитательница императорских дочерей, женщина, которая, по свидетельству современников, была одарена самыми редкими качествами ума и характера. Откровенная и твердая, она заставляла самого императора уважать ее мнение.

[^^^]

*Фрэйлина* – придворная должность для девушек и женщин аристократического происхождения в свите императрицы (нем.).

[^^^]



Болотов А. Т. Любопытные и достопамятные деяния и анекдоты государя императора Павла Петровича // Русский архив 1864 г. 2-е изд. С. 708.

[^^^]

Болотов А. Т. Указ. соч. С. 708.

[^^^]

*Лыта́ть* – проводить время праздно.

[^^^]

*Вертопра́шить* – ветреничать, жить безрас-  
судно, легкомысленно.

[^^^]

*Бегунѐц* – лошадѐ.

[^^^]

Там же.

[^^^]

*Дмі́триев Иван Иванович* (1760–1837) – русский поэт.

[^^^]

*Ротмистр* – офицерский чин в кавалерии, соответствующий капитану в пехоте; командир эскадрона (*пол.*).

[^^^]



*Reprimánd* – выговор (фр.).

[^^^]

*Абши́д* – отставка (нем.).

[^^^]

Болотов А. Т. Указ. соч. С. 708.

[^^^]

*Паллиативный* – имеющий характер полумеры, приносящий лишь временное облегчение (лат.).

[^^^]

*Бригадёр* – в русской армии XVIII в. военный чин между полковником и генералом (*нем.*).

[^^^]

Болотов А. Т. Указ. соч. С. 708.

[^^^]

Указ объявлен Военной коллегии президентом ее, графом Салтыковым.

[^^^]

*Герóльдия* – департамент в составе Сената, заведовавший родословными делами до 1917 г. (нем.).

[^^^]



Болотова. Т. Указ. соч. С. 708.

[^^^]

*Преторианцы* – императорская гвардия, игравшая большую роль в дворцовых переворотах (*лат.*).

[^^^]

*Лейб-кампанцы* – офицеры, состоящие при императоре (нем.).

[^^^]

*Пóртер* – сорт крепкого черного пива (англ.).

[^^^]

*Пénковая пiпka* – курительная трубка, сделанная из пенки – легкого огнестойкого пористого минерала.

[^^^]

*Гауптва́хта* – помещение для караула, а также для арестантов (*нем.*).

[^^^]

*Сюркун* – в картах: перекрышка (*фр.*).

[^^^]

*Исполáть* – хвала, слава (*гр.*).

[^^^]



*Опрічь* – кроме; особо, отдельно; сверх, не считая чего.

[^^^]

*Профóс* – военный парашник, убирающий в лагере все нечистоты (*лат.*).

[^^^]

*Тра́фить* – метить (нем.).

[^^^]

*Ошуро́к* – остаток, поскребыш.

[^^^]

*Φαραόν* – название карточной игры (гр.).

[^^^]

*Червонец* – русская золотая монета.

[^^^]

*На мелок* – запись в долг мелом на доске.

[^^^]

*Канapé* – диван, софа (фр.).

[^^^]



*Голлándчик* – червонец, отлитый на Санкт-Петербургском монетном дворе.

[^^^]

*Атанде́!* – «Я ставлю!» – возглас в карточной игре (*фр.*).

[^^^]

*Обла́тка* – мучной или бумажный кружок, запечатанный клеем.

[^^^]

*Портупе́я* – ремень (плечевой или поясной) для ношения оружия (*фр.*).

[^^^]

*Забр́ить лоб* – отдать в рекруты (солдаты):  
при этом подбрасывали лоб.

[^^^]

*Форту́на* – в римской мифологии богиня счастья, счастливого случая и удачи; здесь: судьба (*лат.*).

[^^^]

*Кэнги* – теплая обувь без голенищ.

[^^^]

*Кронвэрк* – большая наружная пристройка к крепости из двух бастионов и двух крыльев (нем.).

[^^^]



*Постильон* – почтальон (*ит.*).

[^^^]

*Циду́лка* – записка.

[^^^]

*Компромети́ровать* – поставить в трудное, неловкое положение перед кем-либо; опозорить (*фр.*).

[^^^]

*Фронт* – здесь: передняя сторона гауптвахты, занятая войсковой единицей (*нем.*).

[^^^]

*Сóшка* – подставка под ружье для прицела с упора.

[^^^]

*Алеба́рда* – пешее оружие: топор и копьё на длинном древке (*нем.*).

[^^^]

Дом этот сгорел в 1812 г., во время занятия  
Москвы французами.

[^^^]

Граф Е. Ф. Комаровский.

[^^^]



Известный плохой стихотворец, «певец Кубры», но очень добрый и прекраснейший человек, служивший постоянной потехой для литературных знаменитостей своего времени.

«*Пéвец Кúбры*». – Граф Хвостов владел имением Слободкой на реке Кубре и воспел эту реку в одах, за что и получил это прозвище.

[^^^]

Граф Е. Ф. Комаровский.

[^^^]

*Вертоград* – сад, виноградник.

[^^^]

*Порфи́ра* – длинная, пурпурного цвета мантия, надеваемая монархами в торжественных случаях (*гр.*).

[^^^]

Акт составлен был домашним образом еще в 1787 г.

[^^^]

*Ковчѣг* – окованный сундук для хранения чего-либо.

[^^^]

*Аннинская лента* – один из знаков ордена Святой Анны 1-й степени; ее носили через плечо.

[^^^]

*Десяти́на* – старая русская мера площади, равная 1,45 га.

[^^^]



*Клобу́к* – головной убор монахов, представляющий собой камилавку (шапочку-колпак), прикрытую покрывалом, нижняя часть которого спускается на спину (*гр.*).

[^^^]

*Ба́рщина* – при крепостном праве даровой принудительный труд крестьян на помещицкой земле.

[^^^]

*Тупе́й* – косица, часть парика (фр.).

[^^^]

*Цирце́я* – в греческой мифологии волшебница с о. Эя; коварная обольстительница.

[^^^]

*Rané* – сорт нюхательного табака (фр.).

[^^^]

*Контрдáнс* – бальный танец, в котором танцуют друг против друга (*англ.*).

[^^^]

Дорогая (*фр.*).

[^^^]

*Мэ́нтор* – руководитель, учитель, наставник  
(лат.).

[^^^]



*Метресса* – здесь: содержанка, любовница  
(фр.).

[^^^]

*Менуэт* – бальный танец плавного характера, построенный в основном на поклонах и реверансах (*фр.*).

[^^^]

*Антрашэ* – прыжок в танце (фр.).

[^^^]

*Бостон и дофин* – названия карточных игр.

[^^^]

*Пиндар* (ок. 518–442 или 438 гг. до н. э.) – знаменитый греческий поэт-лирик, сочинял оды, гимны, песнопения.

[^^^]

*Мадригáл* – короткое хвалебное или любовное стихотворение, посвященное даме (*фр.*).

[^^^]

Великий князь Константин Павлович был тогда командиром лейб-гвардии Измайловского полка.

[^^^]

*Татищев* Василий Никитич (1686–1750) – русский историк, государственный деятель.

[^^^]



*Пугач* – Пугачев Емельян Иванович  
(1740–1775) – предводитель Крестьянской вой-  
ны 1773–1775 гг.

[^^^]

*Шамхал* – титул феодальных владельцев Дагестана. Упразднен в 1867 г.

[^^^]

*Остерман* Андрей Иванович (1686–1747) – русский государственный деятель при императрице Анне Иоанновне.

[^^^]

*Миних* Бурхард Кристоф (1683–1767) – русский военный и государственный деятель при императрице Анне Иоанновне.

[^^^]

*Берг-коллѣгия* – центральный орган по руководству горнозаводской промышленностью Российской империи в 1719–1807 гг. (нем.).

[^^^]

*Будировать* – проявлять недовольство, дуться  
(фр.).

[^^^]

*Метрдотель* – здесь: главный официант в ресторане, заведующий столом (*фр.*).

[^^^]

*Селадон* – воздыхатель, волокита (фр.).

[^^^]



Соперника (от *фр.* rival).

[^^^]

Мой милый! Это всего лишь дамский угодник!

*(фр.)*

[^^^]

Ну ты и шутник! (*фр.*)

[^^^]

*Юдóльная – суетная (цѣрк. – сл.).*

[^^^]

"*Великий Восток*" – так назывались масонские ордена в европейских странах и в России.

[^^^]

*Лóжа* – отделение масонской организации,  
место собраний масонов (*фр.*).

[^^^]

*Галу́н* – золотая или серебряная тесьма (*фр.*).

[^^^]

«Помни о смерти» (*лат.*).

[^^^]



*Льзя – можно.*

[^^^]

Почетный (*фр.*); здесь: почетный член, старейшина в масонской ложе.

[^^^]

*Длань – рука.*

[^^^]

*Сонм* – собрание, множество, сборище.

[^^^]

*Шандáл* – подсвечник (перс.).

[^^^]

*Соломóн* – царь Израильско-Иудейского царства в 965–928 гг. до н. э., построил *храм* в городе Иерусалиме.

[^^^]

*Неофит* – новый сторонник какого-либо учения; новообращенный в какую-либо религию (гр.).

[^^^]

*Гиероглиф* – искаж. иероглиф – фигурные знаки, обозначающие целые понятия и слова или отдельные слоги и звуки речи (гр.).

[^^^]



*Запѳн* – здеь: передник, фартук.

[^^^]

«Объединенные друзья» (фр.).

[^^^]

*Тайная канцелярия* (точнее – экспедиция при Сенате) – высший орган политического надзора и сыска в России (1762–1801).

[^^^]

Мертваго Д. Б. Русский архив 1867 г. С. 118.

[^^^]

Греч Н. И. Русский архив 1873 г. С. 697–699.

[^^^]

*Фельдъегерь* – курьер при правительстве в военном звании (*нем.*).

[^^^]

*...говорили-де о курносых.* – Разговор о них был опасным: под «курносым» могли подразумевать императора Павла I, так как он был очень курносым.

[^^^]

*Мальтійський орден.* – В XII в. в Палестине крестоносцы основали духовно-рыцарский орден иоаннитов. В XVI–XVIII вв. их резиденцией стал о. Мальта, отсюда – новое название.

[^^^]



*Приор* – должностное лицо в католических духовно-рыцарских орденах (*лат.*).

[^^^]

*Супервэст* – безрукавный кафтанчик (фр.).

[^^^]

*Фридрих-Вильгельм I* (1688–1740) – прусский король с 1713 г.

[^^^]

*Карусэли* – здесь: большое круглое здание для обучения езде на лошадях (*фр.*).

[^^^]

*Фут* – старая русская и английская мера длины, равная 30,48 см.

[^^^]

*Версáль* – дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма XVII–XVIII вв. близ Парижа, резиденция французских королей.

[^^^]

*Сан-Суси́* – дворцово-парковый ансамбль середины XVIII–XIX вв. в г. Потсдаме, летняя резиденция прусских королей.

[^^^]

Вы – якобинцы... не вы, а полк (*фр.*).

*Якобинец* – революционно мыслящий человек, вольнодумец (*фр.*).

[^^^]



*Тротт* – в выезде лошадей шаг за шагом (нем.).

[^^^]

*Ланса́да* – крутой и высокий прыжок верховой лошади (*фр.*).

[^^^]

*Τόκμο* – ТОЛЬКО.

[^^^]

*Ина́кое* – иное, другое.

[^^^]

*Тамбурный* – род вышивания в пяльцах, петля в петлю.

[^^^]

*Кóльми пáче* – тем более, особенно.

[^^^]

*Кампоформийский мир* (1797) – завершил победоносную для Французской республики войну против Австрии.

[^^^]

*Директoрия* (1795–1799) – коллегиальный орган исполнительной власти во Франции.

[^^^]



*Тешенский трактат.* – Имеется в виду Тешенский мир 1779 г., подписанный в г. Тешен (Силезия), который завершил войну за Баварское наследство.

[^^^]

*Раштáттские переговоры.* – Раштаттский мирный договор 1714 г. завершил войну за Испанское наследство.

[^^^]

*Апóстол* – книга деяний и посланий двенадцати учеников Иисуса Христа (*гр.*).

[^^^]

*Флигельман* – фланговый солдат, который выбегал вперед для показа приемов ружьем (нем.).

[^^^]

Этот вполне исторический факт известен из нескольких мемуаров, напечатанных в разное время, и, между прочим, в записках Н. И. Греча (см. «Русский архив 1873 г.»). Ф. В. Булгарин в своих «Воспоминаниях» (1846 г., ч. II), рассказывая о том же, говорит, что проделка с тупеем была совершена известным шалуном того времени Пикселем.

[^^^]

*Тщѣться* – стараться.

[^^^]

*Шёнбрунн* – дворец австрийских императоров в Вене.

[^^^]

*Кінбурн, Фокшаны, Рымник, Измайл* – места побед русских войск под командованием А. В. Суворова в Русско-турецкой войне 1787–1791 гг.

[^^^]



*Прага* – Во время Польского восстания 1794 г. русские войска под командованием А. В. Суворова успешно штурмовали Прагу – предместье Варшавы, после чего восставшие сложили оружие.

[^^^]

Высший военный совет, коего членами были тогда: Коллоредо, Туркгейм и Тигэ – покорные исполнители распоряжений штатского Тугута. Независимо от этих членов Тугут любил давать поручения по военным делам преданному ему Лауэру, которого все ненавидели.

[^^^]

Лагерниками (*нем.*), указчиками (*нем.*), наемниками (*англ.*).

[^^^]

*Мирабó* Онорé Габриéль Рикéти (1749–1791) – граф, деятель Великой французской революции.

[^^^]

Библия: Псалтирь: начало первого псалона  
Давида. – *Ред.*

[^^^]

*Оча́ков* – турецкая крепость, которую в декабре 1788 г. штурмом взяли русские войска под командованием фельдмаршала Г. А. Потемкина во время Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. В осаде крепости героически участвовал А. В. Суворов и был ранен.

[^^^]

*Обмишу́литься (Прост.)* – Ошибиться, сделать промах, попасть впросак.

[^^^]

Австрийский генерал.

[^^^]



Теперь г. Брешиа. (Здесь и далее указания о современных названиях географических пунктов – примеч. ред.)

[^^^]

*Морó* Жан Виктóр (1763–1813) – генерал армии Наполеона.

[^^^]

Теперь г. Треццо-сулл-Адда.

[^^^]

*Серрюрье́* Франсуа́ (1742–1819) – генерал армии Наполеона.

[^^^]

Теперь г. Вердерио Супериоре.

[^^^]

Что за человек! (*фр.*)

[^^^]

*Рескрипт* – особая форма письма монарха к должностному лицу, подданному с поручением, выражением благодарности, объявлением о награде и т. п. (*лат.*).

[^^^]

*Бивуáк* (бивáк) – временное расположение войск под открытым небом, привал (*фр.*).

[^^^]



*Клірос* – место в церкві для певців (*гр.*).

[^^^]

*Орден Марии Терезии* – военный орден, учрежденный австрийской эрц-герцогиней Марией Терезией (1717–1780) в 1757 г. Главным знаком ордена является *Крест*.

[^^^]

«Завтра я войду в тысячелетие!» (*фр.*). Игра слов: «Милан» и «тысяча лет».

[^^^]

Фукс Е. Б. Собрание разных сочинений. СПб., 1825–1826. С. 184.

[^^^]

*Фурлэйт* – солдат конного обоза (нем.).

[^^^]

Фукс Е. Б. Указ. соч. С. 184.

[^^^]

Фанагорийский гренадерский полк (ныне Суворовский) в это время находился на другом конце Европы, в составе голландской армии.

[^^^]

*Санда́л* – краситель красного или желтого цвета; получается из древесины сандалового и др. деревьев (гр.).

[^^^]



*Складенцы* – складные иконы.

[^^^]

*Фими́ам* – восторженная похвала, лесть (гр.).

[^^^]

*Диспозіція* – план расположения войск (лат.  
.).

[^^^]

*Капуцин* – католический монах нищенствующего монашеского ордена (*фр.*).

[^^^]

*Аббáт* – настоятель римско-католического монастыря (*лат.*).

[^^^]

Вот он! (*um.*)

[^^^]

*Па́тер* – католический священник (*лат.*).

[^^^]

Теперь г. Пескъера-дель-Гарда.

[^^^]



*Макдональд* Этьен Жак Жозеф (1765–1840) – генерал армии Наполеона.

[^^^]

*Дебуши́ровать* – выводить войско на открытую местность (*фр.*).

[^^^]

Теперь р. Треббия.

[^^^]

*Анниба́л* – искаж. Ганниба́л (247/246-183 гг. до н. э.) – карфагенский полководец, прославившийся победами над римлянами во 2-й Пунической войне (218–201 гг. до н. э.).

[^^^]

*Дефенсив* – искаж. дефензива – оборона, оборонительная тактика в войне (*фр.*).

[^^^]

Слова из реляции о Новийском сражении.

*Реля́ция* – донесение о военных действиях (лат.).

[^^^]

*Гранд* – наследственный титул высшего дворянства в Испании до 1931 г.

[^^^]

Кузён – двоюродный брат (*фр.*).

[^^^]



*Демосфён* (384–322 гг. до н. э.) – знаменитый древнегреческий оратор.

[^^^]

Имеется в виду Балтийское море.

[^^^]

Теперь г. Таверне.

[^^^]

*Чѣрес* – кошель.

[^^^]

Господин офицер *(нем.)*.

[^^^]

*Креме́нь* – камень твердой породы для высекания огня.

[^^^]

«Гельд нішту» – выражение из двух немецких слов: Geld – «деньги» и nichts – «ничего».

[^^^]

*Баярд* Пьер Терра́йль де (1476–1524) – французский военачальник, приобретший славу своими подвигами.

[^^^]



Беззаконнику, самодуру (*нем.*).

[^^^]

Фукс Е. Б. Указ. соч. С. 177.

[^^^]

Теперь коммуна Хоспенталь.

[^^^]

Теперь коммуна Урзерен.

[^^^]

Теперь р. Рейс.

[^^^]

*Пионёр* – в некоторых странах Европы и в России XVIII–XIX вв. то же, что сапёр (*фр.*).

[^^^]

Да!.. Готов!.. Хорошо! *(нем.)*

[^^^]

**400**

Теперь коммуна Везен.

[^^^]



**401**

Теперь коммуна Альтдорф.

[^^^]

*Дефилé* – узкий проход между препятствиями  
(фр.).

[^^^]

Теперь Муотенская долина.

[^^^]

**404**

Теперь коммуна Муотаталь.

[^^^]

Милютин Д. А. История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование императора Павла I. Т. I–III. СПб., 1857. Т.I. С. 234–235. – *Ред.*

[^^^]

**406**

Теперь коммуна Шаффхаузен.

[^^^]

Теперь г. Беллинцона.

[^^^]

*Петр I на Пруте.* – В 1711 г. Турция объявила войну России. Петр I двинулся навстречу туркам, ожидая подхода польского войска по договоренности с польским королем Августом II, но оно не пришло. 9 июня 44-тысячная армия Петра I была окружена, но вышла из окружения, так как великий визирь согласился подписать мирный договор.

[^^^]



Теперь коммуна Гларус.

[^^^]

Теперь коммуна Моллис.

[^^^]

# 411

Теперь г. Граубюнден, центр кантона (округа)  
в Швейцарии.

[^^^]

Теперь р. Линт.

[^^^]

*Капрáл* – младший командир во французской армии до начала XIX в. (*фр.*).

[^^^]

Теперь хр. Паникс.

[^^^]

*Кригсцальмейстер* – военный казначей  
(нем.).

[^^^]

*Брѣчка* – легкая повозка.

[^^^]



*Sáква* – искаж. саквояж – вид дорожной сумки с запором (*фр.*).

[^^^]

# 418

Требование, домогательство (от *нем.* bestimmt sagen).

[^^^]

*Совет карфагэнский.* – Во главе рабовладельческого государства Карфаген в Северной Африке (VIII–II вв. до н. э.) стояли Совет тридцати и Совет старейшин.

[^^^]

# 420

*Поднёсь* – по сей день, поныне.

[^^^]

*Маѣтностъ* – поместье, имение (*пол.*).

[^^^]

*Кóбрин* – теперь город в Брестской области Республики Беларусь.

[^^^]

*Гульден* – в XVII–XIX вв. серебряная монета и денежная единица Германии, Австро-Венгрии и некоторых других европейских стран (*гол.*).

[^^^]

Прекрасное отступление (*фр.*).

[^^^]



Монумент был открыт уже в 1801 г., в царствование императора Александра I, и первоначально поставлен на Царицыном лугу, а впоследствии перенесен на площадь к Троицкому мосту, которая с тех пор и называется Суворовскою.

[^^^]

*Державин* Гаврила Романович (1743–1816) – русский поэт-классицист.

[^^^]

*Валгáлла* – в скандинавской мифологии дворец бога Одина, обителище душ воинов, павших в бою.

[^^^]

*Се́вэр* – мифологическое имя древнего героя-воина со времен Древней Греции и Рима.

[^^^]

Фукс Е. Б. Указ. соч. С. 184.

[^^^]

*Часослѡв* – богослужебная книга в православии, содержащая тексты молитв по часам.

[^^^]

*Клеврét* – приспешник, приверженец (*лат.*).

[^^^]

*Корчма́* – постоялый двор или трактир в Белоруссии и на Украине.

[^^^]



*Мита́ва* – теперь г. Елгава (до 1917 г. – Митава) в Латвии.

[^^^]